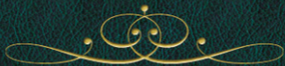


Лажечников И.



ПОСЛЕДНИЙ НОВИК
ТОМ 1

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Последний Новик. Т. 1: Роман. Часть первая, часть вторая // Мир книги, Москва, 2010
ISBN: 978-5-486-03601-9, 978-5-486-03590-6
FB2: Roland "Roland", 19.01.2018, version 1.0
UUID: 01ab8f7e-fa7b-11e7-a5c8-0cc47a1952f2
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Иванович Лажечников

Последний Новик. Том 1

(Россия державная)

Иван Иванович Лажечников (1792–1869) – русский писатель, драматург, мемуарист; зачинатель жанра исторического романа в русской литературе. Ему удалось не только достоверно передать быт и нравы, традиции и предания, предрассудки и заблуждения исторического прошлого, но и воплотить сам образ и дух эпохи, создать живые и полнокровные характеры многих исторических лиц.

В первый том данного издания включены I и II части исторического романа «Последний Новик», рассказывающего об одном из периодов Северной войны 1701–1703 гг. между Россией и Швецией – о борьбе Петра I за обладание Прибалтикой, необходимой России для выхода к берегам Балтийского моря. Царь Петр выступает как подлинный патриот, мудрый правитель, поборник просвещения, справедливый и простой в обращении с подданными. Действие повествования разворачивается в Лифляндии во время похода русских войск под командованием Шереметева. Герой романа входит в доверие к шведам, но тайно помогает русской армии, что способствует ее победе.

Содержание

#1	0005
Часть первая	0006
Глава первая Вместо введения	0006
Глава вторая Долина мертвецов	0024
Глава третья Крупный разговор	0052
Глава четвертая Кто они такие?	0067
Глава пятая Приготовления	0089
Глава шестая Повесть слепца	0109
Глава седьмая Видение	0132
Глава восьмая Замок Гельмет	0163
Глава девятая Домочадцы	0181
Глава десятая Ошибка	0204
Глава одиннадцатая Вести	0241
Часть вторая	0275
Глава первая Стан	0275
Глава вторая Посланник	0299
Глава третья Офицерская беседа	0322
Глава четвертая Совет	0362
Глава пятая Таинственный проводник	0389
Глава шестая Ночное посещение	0420
Глава седьмая Накануне праздника	0456
Глава восьмая Воспитатель и воспитанник	0482
Глава девятая Праздник	0500
Глава десятая Еще неожиданные гости	0532

Иван Иванович Лажечников
Последний Новик
Том 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги»,
Оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Часть первая

Глава первая

Вместо введения

*Вот новость для меня! – Да кто же тот шалун,
Кто смел, без моего и плана и совета,
Всю важность поддержать столь
трудного сюжета?
Тут надобен язык, приятный, легкий
слог!
Спросил бы у меня – и я б ему помог!
Комедия «Говорун», Хмельницкий*

Долго страдала Лифляндия под игом переменных властителей, пока не достигла нынешнего своего благосостояния. То рыцари немецкие, искавшие иные опасностей, славы и награды небесной, другие добычи, земель и вассалов, наступили на нее, окрестили ее мечом и первые ознакомили бедных ее жителей с именем и правами господина, с высокими замками, данью и насилиями; то власти, ею управлявшие, духовные и светские, епископы

и гермейстеры[1], в споре за первенство свое, терзали ее на части. То русские, считая ее искони своею данницею, нередко приходили зарубать на сердце ее древние права свои или поляки и шведы, в борьбе за обладание ею, душили первые силы ее общественной жизни. Война железною рукою повила ее вдоль и поперек всеми бедствиями своими. Вера без верования, с примесью идолопоклонства, невежество, бесчеловечие, самоуправство означили время существования Лифляндии до начала XVII века. Изредка оживлено было это время проблесками великих характеров – и цветущей торговли, прибавил бы я, если бы богатства ее придали тогда что-нибудь ее просвещению, а не послужили, как это случилось, к усилению ее развратной роскоши.

Только с именем Густава-Адольфа[2] соединяется воспоминание всего прекрасного и великого; он, в одно время защищая свободу мнений и подписывая устав Дерптского университета, бережно снял кровавые пелены с Лифляндии и старался утешить ее раны. Но счастье ее было кратковременно. Дочь Густава, этот феномен ума и странностей[3], хо-

тела только собирать дань удивления чуждых народов, а не любовь своего. Христина, покровительница ученых, отняла у Дерптского университета его земли; она хвалилась любовью к человечеству и за новые пожертвования страны отдала ее новыми налогами. Вслед за тем нивы лифляндские были истоптаны победами русских (при царе Алексее Михайловиче). Мир в Кардесе возвратил это спорное пепелище шведам, но не водворил в него долговременного спокойствия.

С царствованием Карла XI настали самые черные годы для лифляндского дворянства. Желая поправить расстроенные финансы Швеции, он повелел *редукцию*[4] имений, принадлежавших некогда правительству и правительством же подаренных частным лицам в потомственное владение во времена епископов, гермейстеров и королей. На этот предмет учреждена была *комиссия*. Рассуждению ее подлежало также узаконение великое и благодетельное, за которое надлежало бы человечеству благословлять память государя, творца этого узаконения, если б оно не смешивалось в одно время с своекорыстными ви-

дами. К тому же меры и способы исполнения были приняты несправедливые, насильственные и жестокие; исполнители преступили волю государя – и цель самых благотворительных видов правительства была потеряна. В позднейшее время предоставлено было миротворцу Европы[5] сделать важный приступ к соглашению человеколюбия с сохранением прав собственности, к сближению враждующих между собою одного класса народа с другим и тем собрать на себя еще при жизни, посвященной счастью великой империи, благословения лифляндских помещиков и земледельцев. Не так действовал своекорыстный Карл XI. За ужасными словами *редукция* и *ликвидация*[6] последовало дело, и отчины, без всякого уважения давности и законности, были отрезаны и отписаны на короля. Из шести с лишком тысяч гаков, бывших во владении частных лиц, с лишком пять тысяч были взяты в казну, тысяча с небольшим оставлены владельцам и при церквях. Против начетов этих трудно было спорить: их составлял любимец Карла, председатель редукционной комиссии граф Гастфер, запечатлевший имя

свое в летописях Лифляндии ненавистью этой страны; их утвердил сам государь, хозяин на троне искусный, хотя и несправедливый, который, подобно Перуну[7], имел золотую голову, но держал всегда камень в руках.

Оставалось угнетенным просить: они это и сделали, послав к королю от лица дворянства лифляндского депутацию с трогательным адресом о смягчении, хотя несколько, приговора его. Ответом были новые унижения. К большому несчастью их, один из членов депутации, Иоган Рейнгольд Паткуль[8], увлеченный красноречием правды и негодования, пылкостью благородного нрава и молодых лет[9], незнакомых с притворством, осмелился обвинить любимца королевского, Гастфера, в преступлении данной ему свыше доверенности. Паткуль осужден к отсечению правой руки, лишению имени, чести и жизни, а товарищи его: Фитингоф, Менгден и Буденброк – только к смерти. Вскоре приговор трем последним был заменен вечным заключением; наконец дарована им свобода. Первый же успел бежать от наказания в Швейцарию, где прожил несколько лет под чужим именем.

Между тем в отечестве его бедность и отчаяние во многих семействах были неизъяснимы: вспыхнул ропот, тайными путями перебежал по мызам и – погас со вступлением нового государя на престол шведский. Добрые лифляндцы умели терпеливо ждать у моря погоды.

В таком состоянии застал страну эту Карл XII, о котором сказать можно, что он рожден быть полководцем, но ошибкою судьбы призван царствовать. Вскоре от Бельта[10] до Вислы развеялись победоносные знамена его. Под эти призывные знаки чести спешили за вербовать себя молодые лифляндские дворяне, забыв угнетения шведского венца и горя жаждою вновь запечатлеть кровью своею благородство рыцарского происхождения, которому ни предки, ни потомки их не изменяли. Отцы новобранцев, отпуская к королю живые залогов преданности к нему Лифляндии, казалось, вверяли его великодушию свои и отечества надежды. Но двадцатилетний герой, окруженный восторженными раннею его славою офицерами и солдатами, переходя от торжества к торжеству, грезил только по-

бедами и мало заботился об утешительных ожиданиях своих подданных. Хотя и обещал он в 1700 году облегчить участь лифляндских помещиков, однако ж не думал никогда выполнить это обещание. Еще не забыта им была депутация 1692 года[11], обступившая трон отца его просьбами, похожими на требования; не забыт еще был смелый и красноречивый голос Паткуля. Он знал, что этот гордый лифляндец, унеся из-под секиры палача руку и буйную голову свою, служит тою и другою опаснейшему его неприятелю, – и поклялся в лице его унижить лифляндских дворян его партии и отмстить ему, хотя бы ценою славы собственной.

Провидению угодно было, чтоб на пути храбрых замыслов Карла остановил его соперник, явившийся с неожиданной стороны. Это был наш Петр I. Помня слова великого предка своего «*А Лифляндския земли не перестать нам достигать, докудова нам ее бог даст*»[12] и желая стать твердою ногою на берегу Балтийского моря, чтобы сзывать в свое отечество богатства и просвещение Европы, он бросил Карлу перчатку будто за оскорбле-

ние, сделанное ему рижским комендантом Дальбергом. Где ближе было им разведаться, как не в стране, которую оба они почитали своею отчиною? Здесь-то преобразователю России определено было получить от царственного учителя своего жестокий урок и здесь же показать, с каким успехом он им воспользовался. *«Я знаю, – говорил он после нарвской потери, – что шведы будут бить нас еще раз несколько; но теперь мы ученики их: придет время, что мы их побеждать будем».*

Карл приезжал, казалось, под Нарву выиграть заклад. Отважный, но слишком самонадеянный и малорассудительный, вместо того чтобы воспользоваться успехами своими и укрепиться в Лифляндии, он посвятил зиму в Лаисе забавам звериной охоты, побил мимоходом саксонцев под Ригою и отправился в другой край Европы пощеголять своей непобедимой армией, как дитя полученною им в дар острою саблю, которою в первый раз владеет и спешит рубить все, что ему навстречу попадет. Не так действовал противник его: он пользовался временем отдыха,

данного ему соперником счастливым, чтобы созидать войско и флот. Уже в конце 1701 года фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, с остатками полков, уцелевшими от лозы шведского героя, и с корпусами, вновь образованными, сторожил от Пскова лифляндскую грань. Схватками с малочисленными отрядами неприятеля знакомил он понемногу русского солдата с его силами, с потехою военных удач и воспитывал дух его к будущим победам. Уже зародыши русского флота брали смелость выходить из заливов Чудского озера и разгульем мимо шведской флотилии, притаившейся в устье Эмбаха, вызывать ее *на чистую воду*.

Сыну военачальника предоставлено было открыть кампанию: близ этого озера, под мызою Рапин, *волонтер* Михайла Борисович Шереметев разбил четвертого сентября 1701 года передовой отряд шведов. Потом сам фельдмаршал – в ответ на упрек своего государя: *«Полно отговариваться, пора дела делать!»* – отпраздновал первый день 1702 года первую знаменитую победой при Эррастфере[13], заставившей Петра I сказать: *«Благодарение Бо-*

гу! мы уже до того дошли, что шведов победить можем». Остальные месяцы зимы и всю весну военачальник осторожно высматривал силы неприятеля, выжидал их раздробления как последствия разносторонних слухов, лукаво пущенных в становья шведские, и, показывая некоторую робость, *надеялся* усыпить северного льва[14] у ворот самой Лифляндии. Может быть, Шереметев – распорядитель и герой в поле, Фабий или Кутузов[15] тех времен – простер эту осторожность слишком далеко и мог бы потерять плоды своих соображений, если б имел противника более сметливого и смелого, нежели каков ему дан был Карлом XII.

Мы видели, что нетерпеливый характер государя разогрел душу военачальника упреком. Четыре слова кстати – и в этих словах заключалась победа. Шереметев доказал, что достоин понимать их, что имеет все качества хорошего военачальника, и потом, опять увлеченный умом осторожным, холодным, погрузился в соображения, благоразумные, полезные, это правда, но уже слишком долго выдерживаемые. На этот раз полководец вы-

веден был из бездействия внушениями Рейнгольда Паткуля, генерал-кригскомиссара и ближайшего советника его.

Надо оговорить, что Паткуль, приговоренный к казни, бежал из Швеции на берега Женевского озера. Оттуда, скучая праздною неизвестностью, перешел ко двору польского короля и неприятеля Карла XII, Августа[16], но, и при этом государе, вялом, ненадежном, неславолюбивом, найдя круг действий своих тесным, вступил в службу к Петру I. Скоро исполнинские дела, простота, твердость и величие души русского царя привязали к нему навсегда благородного лифляндца. С другой стороны, тому, кому нужно было все вновь творить в России, любившему, чтобы между мыслью его и исполнением не было холодных промежутков, часто уничтожающих самые лучшие намерения, нужны были и люди с пылким, предприимчивым характером. Он скоро полюбил нового своего подданного, умевшего понять его. Можно сказать, что Паткуль был достоин всей вражды Карла и доверия Петра: оба чувства эти умел он равно питать, равно оправдывал. При дворе нового го-

сударя своего он был хитрый, проницательный министр, быстрый исполнитель его видов, вельможа твердый, хотя иногда слишком нетерпеливый, не знавший льстить ни ему, ни любимцам его, выше всего почитавший правду и между тем неограниченно преданный его выгодам и славе. Политические расчеты Паткуля, последствиями оправданные, доказывают, каким дальновидным умом он обладал. Он первый утвердил русского монарха в мысли завоевать для себя Лифляндию: он видел, что исполнение мысли этой было не по силам колебавшегося духом Августа и что одному Петру можно было сдержать и понести ее на исполинских раменах своих. С каким восторгом, развертывая перед Великим план свой, прочел он в одном его взоре отпадение родного края от Швеции и присоединение его к возраставшему могуществу России. Этим гениальным взором Паткуль был уже отмщен за наследственные оскорбления двух шведских королей.

Вывожу его на сцену моего романа в одну из занимательных эпох его жизни: здесь-то он всего себя посвятил мщению, чувству, ко-

торое господствовало в нем над высокоостью помыслов и деяний и, может статься, было единственным их источником. Не только рукою действует он против отрядов шведских, он работает сердцем и головой, приводит в движение все сокровенные пружины ухищренной политики, даже не всегда разборчивой, чтобы подрывать основание шведского могущества. Для достижения своей цели изыскивает он все средства и ни одного не отвергает. Часто действия свои сопровождает чудесностью; досаждая делом врагам, он любит еще посмеяться над ними смелыми проказами, нередко приводящими его жизнь и честь в опасность, от которой только имя его, дорогое патриотизму, изобретательный ум и преданные друзья могут его освободить.

На границе псковской, в середине Лифляндии, Паткуль имеет друзей, преданных, подкупленных, оболыщенных, ему усердно содействующих; в знатнейших домах лифляндских агенты и лазутчики его всякого звания неусыпно обо всем разведывают и передают ему сведения о движениях шведов и замыслах их партий. Немногочисленные, но верно

избранные, хитрые, благоразумные, испытанные в верности к нему, они свили гнездо врагов для Швеции в сердце самой Лифляндии. Осторожно разбужено ими чувство прав собственности, сие непобедимое в человеке чувство. Уже шепчет оно мщению, что час его настал. Сначала робко вкрадывается неудовольствие в дворянские дома; потом, усиливаемое войною без цели, без пользы для отечества, смелее говорить начинает в гостиных. Политика занимает всех: военных, студентов, женщин, купцов, духовных. Судят о действиях шведского правительства, начинают и осуждать их. Недоверие, потом некоторая холодность возрождаются между шведами и лифляндцами. Благоразумнейшие из последних предугадывают уже, что самое положение Лифляндии, отделяя ее морем от Скандинавского полуострова, должно, рано или поздно, прикрепить ее нравственно к России, как она физически прикреплена к матерiku ее. Они видят, что Карл явно пожертвовал отечеством их своенравному героизму; но предпочитают остаться верными законному правительству и предоставляют жестокостям вой-

ны решить судьбу их и выбор нового владыки. Многие, даже из почитателей короля, идут уже за торжественной колесницей его, как за великолепной похоронной процессией. Одна молодежь не охлаждается в энтузиазме к нему и готовится в честь его переломить не одно копьё.

В эти смутные времена Лифляндии генерал-вахтмейстер[17] Шлиппенбах, главный начальник шведских войск, оставленных на защиту Лифляндии, беспечно расположился на квартирах от Сагница до Гельмета. Небольшим конным отрядом наблюдал он близ Розенгофа, на берегу Шварцбаха, дорогу от Новгородка Ливонского (Нейгаузена), готовый протянуть крыло свое в помощь Дерпту или Риге либо, в случае неудачи, обезопасить себя уходом в одну из этих крепостей. Силы его ослаблены гарнизонами в них и несогласием начальников. Между тем, ободренный осторожностью русского полководца, которая начинала казаться ему робостью, решил он неожиданно напасть на него в нейгаузенской долине и тем загладить стыд Эррастферской битвы.

В таком состоянии, к первым числам июля 1702 года, были дела Лифляндии, колеблемой, как дерево, опаленное грозой и вновь оспори-ваемое противными ветрами. Последними тяжкими опытами должна она была искупить свое будущее благосостояние.

Вот несколько слов, необходимых для пояснения происшествий, о которых я рассказывать намерен.

На случай вопроса, почему избрал я сценой для русского исторического романа *Лифляндию*, которой одно имя звучит уже иноземным, скажу, что ни одна страна в России не представляет народному романисту приятнейшего и выгоднейшего места действия. Крым, Кавказ выигрывают, в сравнении с Лифляндией, красотами местной природы, но потеряют перед ней историческими воспоминаниями. В палладиумах[18] наших, Троицком монастыре, Нижнем Новгороде, Москве, разгуливало уже вместе с истиной воображение писателя, опередившего меня временем, известностью и талантами своими. Другие края России бедны или историей, или местностью; но в живописных горах и долинах Лиф-

Ляндии, на развалинах ее рыцарских замков, на берегах ее озер и Бельта русский напечатлел неизгладимые следы своего могущества. Здесь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы; здесь русский воин положил на грудь свою первое крестное знамение за первую победу, дарованную ему Богом над образованным европейским солдатом; отсюда дивная своею судьбою и достойная этой судьбы жена, неразлучная подруга образователя нашего отечества и спасительница нашего величия на берегах Прута[19]; здесь многое говорит о Петре беспримерном. Вот причины моего предубеждения к Лифляндии! Эррастфер, Гуммельсгоф, Мариенбург[20], Канцы, Луст-Эланд – ныне *имена* мест, едва известные русским, между тем как в них происходили те великие явления, о которых идет дело. К этим-то местам хотел бы я пробить свежую, цветистую дорогу; хотел бы, чтобы любовь к народной славе, посещая их, с гордостью указывала на них иноземцу и чтобы сердце русского билось сильнее, повторяя их имена. Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне. В краю чужом оно

отсвечивается сильнее; между иностранцами, в толпе их, под сильным влиянием немецких обычаев, виднее русская народная физиономия. Даже главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе, сердцем или судьбой влекутся необоримо к России. Везде родное имя торжествует; нигде не унижено оно – без унижения, однако ж, неприятелей наших того времени, которое описываю. Вот чего хотел я достигнуть, помещая героя моего в Лифляндии!

Доволен буду, если решу задачу, предложенную мне сердцем, и вместе доставлю моим читателям приятное прохождение времени.

Глава вторая

Долина мертвецов

*И стала та страна с тех пор
Добычей запустенья...
И все как мертвое окрест:
Ни лист не шевелится,
Ни зверь близ сих не пройдет мест,
Ни птичка не промчится.
Но полночь лишь сойдет с небес —
Вран черный встрепенется,
Зашепчет пробужденный лес,
Могилы потрясется;
И видится бродяща тень
Тогда в пустыне ночи...
«Двенадцать спящих дев», Жуковский*

На пути от Мариенбурга к Менцену (иначе названному *Черною мызою*) останавливаясь не раз любоваться живописными видами, обстающими вас с седьмой версты и преследующими за Ней-Розенгоф. Дорога большею частью идет по горам и между гор, разнообразных, как игра воображения. То протягиваются они в прямой цепи, подобно волнам, которых ряды гонит дружно умеренный

ветер; то свивают эту цепь кольцом, захватывая между себя зеленую долину или служа рамой зеркальному озеру, в котором облачка мимолетом любят смотреться; то встают гордо, одинокие, в пространной равнине, как боец, разметавший всех противников своих и оставшийся один господином поприща; то пересекают одна другую, забегают и выглядывают одна за другой, высятся далее и далее амфитеатром и, наконец, уступают первенство исполину этих мест, чернеющему Тейфельсбергу. Почти каждая гора имеет свой особенный вид, свою привлекательность. На острой конечности одной стоит роца букетом, по другой разлилась, как по шлему, косматая грива; третью черный сосновый бор оградил стеной зубчатой. Там кустарник окудрявил голову горы; здесь обвил ее венцом или смело вполз на нее в разных кривизнах. Эту картину оживляют разостланные по отлогостям полосы яровой зелени или золотой жатвы, красивые мызы с их розовыми кровлями, гордо озирающие окрестность, рассыпанные там и сям одинокие хижинки, которые лепятся к бокам гор, как ласточкины гнезда, или стоят

смиренно за щитом подножия их с частоколами и овощными садами. Почти во всю дорогу до Менцена (тридцать шесть верст) не перестает оглядываться на вас кирка опекаленская – будто провожает и охраняет вас святыней своей от нечистого духа, который, по словам народа, поселился с давних времен на Тейфельсберге (*Чертовой горе*) и пугает прохожих только ночью, когда золотой петух опекаленского шпиля из глаз скроется. Вид с высоты Ней-Лайтценской мызы очарователен: панорама ее на несколько десятков верст обставлена разнообразием гор, озер, роцц и селений. С трудом отрывается путешественник от этого места. Немного далее за мызою горы понижаются и заменяются скучным лесом и болотцами; но при появлении речки Вайдау, у грани, стоящей на мосту ее и разделяющей уезды Верровский[21] от Валкского, природа дарит вас приятностями уединенных долин, обведенных извилинами этой речки и образуемых провожающими ее двумя цепями холмов. Всех приятнее долина близ мызы Ней-Розенгоф (в недавнем еще времени называемой *Катериненгоф*).

В начале XVIII столетия, по дороге от Мариенбурга к Менцену, не было еще ни одной из мыз, нами упоминаемых. Ныне она довольно пуста; а в тогдашнее время, когда война с русскими наводила ужас на весь край и близкое соседство с ними от псковской границы заключало жителей в горах, в тогдашнее время, говорю я, едва встречалось здесь живое существо.

Несмотря на эти опасения, в одно из первых чисел июля 1702 года, в некотором расстоянии от появления речки Вайдау, пробиралась сквозь мрачный лес красноватая карета, запряженная двумя рыжими лошадками. День был жаркий. Полуденное солнце, в одинаком величии своем протекая по голубой степи неба, на котором ни одно завистливое облачко не смело заслонить его, лило горящие лучи свои прямо на темя земли. Ленивый ветерок пересекал эти лучи по временам и только на мгновения обдувал раскаленную ее поверхность. Расслабленная природа, казалось, потеряла движение: едва струились изредка верхи деревьев; неохотно переливались волны зреющей жатвы; медленно текли во-

ды, как будто потоки растопленного хрустала. Все живущее спешило куда-нибудь укрыться от палящего зноя. Птицы прятались в рощах и на дне густых нив; стада бежали в воды, а где воды не было, бедные животные, оцепенев, с поникнутыми головами, одно в тени другого, искали малейшей прохлады.

С трудом ползла карета сквозь пески, нередко попадающиеся на пути. По щегольской отделке ее, особенно заметной в золотых обводках с узорами около огромных рам в виде несомкнутой цифры восемь, в золотых шишках, украшающих углы империала[22], в колонцах по двум передним углам кузова и розовом венке в голубом поле, изображающем на дверцах герб ее обладателя, можно было судить, что она принадлежала зажиточному барону. Две рыжие лошадки, эзельской породы, по-видимому сильные, почти отказывались тащить ее; шоры на них были взмылены. Колеса экипажа едва вертелись, погружая ободья свои в песчаную топь. Не видно было, кто сидел в нем, потому что розовые шелковые шторы были опущены. Кучер, в треугольной шляпе, нахлобученной боком на глаза, в

кафтানে, которого голубой цвет за пылью не можно бы различить, если бы пучок его, при толчках экипажа, не обметал плеч и спины, то посматривал с жалостью на свою одежду, то с досадою стогнял бичом оводов, немилосердно кусавших лошадей, то, останавливая на время утомленных животных, утирал пот с лица. Заметно было, что жалостный возничий мучился за себя и за них. По правую сторону кареты ехал верхом на тощем, высоком коне офицер, под пару ему долговязый и сухощавый. На нем был мундир синего цвета[23]; треугольная шляпа, у которой одна задняя пола была отстегнута, кидала большую тень на лицо, и без того смуглое; перчатки желтой кожи раструбами своими едва не доставали до локтя; к широкой портупее из буйволово́й кожи, обхватывавшей стан его и застегнутой напереди четверугольной огромной медной пряжкой, привешена была шпага с вальжанным эфесом, на котором изображены были пушка дулом вверх и гранаты; кожаные штиблеты с привязными раструбами довершали эту фигуру. Если бы не двигалось под нею высокое животное, она по важности сво-

ей походила бы на монумент. Офицер был в полном вооружении: ручки пистолетов торчали из чушек; к седлу прикреплен был карабин. Путешественники погружены были в глубокое молчание. Наконец возникший прервал его, сначала глубоким: уф! потом, видя, что это восклицание не имело желаемого действия, униженно снял шляпу и, обратившись к офицеру, сказал:

– Воля ваша, господин цейгмейстер[24]...

– Сначала покройся, не то испечешь лысую голову твою, как яйцо, а потом начинай свою речь, – перехватил его важным голосом путешественник, ехавший верхом.

Кучер опустил шляпу в знак благодарности, потом надел ее и продолжал:

– Воля ваша, господин цейгмейстер, мои лошади не горшки, а я не горшечник, чтобы их жарить в этом пекле. Госпожа баронесса настрого приказала побережь их, во-первых, потому, что она любит всех животных, от лошади до кошечки, от попугая до чижичка, как вы изволите знать; во-вторых... эка бестия овод сел на самый крестец Арлекина!.. эти зверьки привезены с острова Эзеля на боль-

шом судне, как бишь его звали?

Кучер наморщился и поколотил себя пальцем по лбу, как бы выбивая оттуда память.

– Мимо название! потом?

– Потом они подарены баронессе дядей жениха...

– Фюренгофом?.. Неужели он в жизнь свою хоть раз дарил?

– Был с ним этот промах! Поохал, может статья, ночек с сотню, да с конюшни нашей воротить рыжаков уж было нельзя. Что к нам попало, то пропало. О чем бишь я говорил? да! об рыжаках. Вот видите, они подарены баронессе нашей дядей жениха нашей молодой госпожи... смекаете, сударь... госпожи, которую, как вы знаете, господин цейгмейстер... (увидя, что овод кусает лошадь) собака! крокопийца! перелетел на Зефирку!.. которую, заметьте, она любит, как самое себя, или себя в ней любит (из кареты послышался хохот, да и на лице угрюмого офицера мелькнула усмешка; однако ж начавший речь, не смешавшись, продолжал). Но я сам им не злодей, то есть рыжакам, Арлекину и Зефиру; говорю то есть, чтобы ваша милость не подумала, что я гово-

рю о баронессе или о ком-нибудь из почтеннейшей фамилии Зегевольдов. Нет, я им не только не злодей, но люблю их и уважаю, во-первых...

– Ни первых, ни вторых, пустомеля! Твои слова как татары в сражении: рассыпаются в стороны так, что наш рейтар[25] не знает, которого и как настичнуть. Думает уловить под палаш одного, а попадается другой. Без обиняков, скорее, к делу.

– Я хотел сказать, что лошади устали.

– Ну!

– Да уж они и нуканья не слушают, сударь. Мы проехали от Мариенбурга (тут кучер начал считать что-то по пальцам), да! именно, на этом мостике ровно четыре мили, что мы проехали. До Менцена еще добрая и предобрая миля; будут опять пески, горы, косогоры и бог знает что. Вздохните хоть здесь, на мосту, бедные лошадки, если уж к вам так безжалостливы. И пушке в сражении дают отдых, а вы все-таки создание Божье!

– Ты с ума сошел, Фриц! Да кто ж, доннерветтер[26], мешает нам остановиться в ближайшей долине и покормить лошадей?

В это время одна из розовых штор у правого окна кареты поднялась, и ручка, которой удивительную белизну позволяла видеть спущенная по кисть перчатка и короткий, не доходящий до локтя рукав, по моде тогдашних времен, опустила стекло. Молодая прелестная женщина выглянула из окошка и, подозвав к себе рукой офицера, шепнула ему:

– Ради бога, Вульф, упросите господина пастора остановиться в долине, о которой я вам на днях рассказывала.

Офицер не отвечал ничего, но кивнул дружески в знак согласия, остановил своего коня, неуклюжего и неповоротливого; потом, дав ему шпоры, повернул к левой стороне кареты, наклонился к ней и осторожно постучался пальцами в раму. В ответ на этот стук выглянуло из окна маленькое сухощавое лицо старика со сверкающими из-под густых бровей серыми глазами, с ястребиным носом, в парике тремя уступами, рыже-каштанового цвета, который, в крепкой дремоте его обладателя, сдвинулся так, что открыл лысину вразрез головы.

– Я слышал все сквозь дремоту, – сказала

это новое лицо, поправляя свой парик, – и одобряю от души Фрицево желание и ваше согласие, любезный господин цейгмейстер. Мне самому так жарко, как бы я принял потогонительное. Да где ж вы думаете остановиться?

– В долине, напротив которой стоит на горе крест, – отвечал офицер, – лучшего места для отдыха нельзя найти до Менцена.

Улыбка бежала уже на губы Фрица, но он не дал ей вылиться наружу.

– В *Долине мертвецов*, господин пастор? помилуйте! – закричал он с ужасом, вытянув шею, как испуганный журавль, стоя на часах.

Молодая женщина засмеялась от души; пастор с улыбкой произнес:

– Давно ли стали мы так трусливы, Фриц? и что за новую сказку сплели здешние жители? – Потом он присовокупил вполголоса, качая головой и уставя перед маленьким лбом указательный палец правой руки. – Какое-нибудь старое поверье, грубое невежество! остатки идолопоклонства! Так! церковь далеко – духовный пастырь также. Надо придумать, как это вывести; надо разобрать это, взять меры, средства. Это наша обязанность,

наш долг! Всего лучше прибрать сильный текст из «Латышской Библии», мною изданной[27]. Но речь не о том: расскажи-ка, Фриц, откуда выкопал ты название этой долины?

– Сказкой своей ты сократишь нам путь до назначенного места, – примолвила сидевшая в карете.

– Опять-таки до назначенного места, – отвечал угрюмо кучер, – вы все шутите, фрейлейн. Хорошо еще, что мы едем в полдень; другое бы заговорили, кабы проезжали Долину мертвецов ночью до кочетов. Тогда в ней деются такие чудеса, что и... кого бы назвать бесстрашнее всех?.. да, например, кто бесстрашнее шведского офицера?.. и у того, с позволения сказать, господин цейгмейстер, побегут мурашки по коже, когда увидит бесплотного барона этой долины. Осмелюсь вам поперечить, господин пастор, – со всем уважением к вашему сану, – это не сказка, не выдумка, а... (озирается со страхом кругом и вглядывается пристально в густоту леса) я доложу вам, во-первых, о том, что видел своими глазами. Вы знаете, что я не люблю труса праздновать.

– Знаем, знаем! – закричали в один голос духовный отец и военный. – Но бывают сверхъестественные силы... – прибавил с притворным ужасом последний, давая пастору знак головой, чтобы он подтвердил его слова.

– Конечно, бывают... мы сами не можем все отвергнуть, чтобы...

– Чтобы, любезный папахен, вы не стоворились с любезным братцем попутать меня, – возразила девушка, лукаво улыбаясь. – Это вам не удастся. Может быть, приличнее мне, женщине, бояться. Вульф это часто твердит и дает мне в насмешку имена мужественной, бесстрашной; но он позволит мне в этом случае вести с ним войну, чтобы не быть в разладе с моею природой. Рабе останется тем, чем была еще дитею.

– Речь не о том, – прервал с некоторым нетерпением пастор. – Послушаем, что расскажет нам вожатый наш в царство теней.

– Готовы слушать! – вскричали в один голос офицер и девушка.

– Прошу всепокорнейше внимания, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, – произнес важно Фриц, раскланиваясь на обе сторо-

ны шляпой, – и верьте, что конюший баронессы, который, во-первых, никогда еще не лгал, особенно перед столь почтенными господами...

– Во-вторых, начнет теперь, – сказала сидевшая в карете.

– Слушай же, Кете! – вскричал сердито пастор, и та, к которой он обращался с этим восклицанием, смиренно опустила длинные черные ресницы на прекрасные черные глаза, полные огня и остроумия.

– Только без пунктиков, Фриц, без пунктиков, которыми ты любишь зарубать свою речь, – примолвил офицер.

– Прошу извинения, господин цейгмейстер! (Фриц снял униженно шляпу и, по знаку своего повелителя, опять надел ее.) – Привычка пуще неволи; топи ее в море слов, а все где-нибудь вынырнет. Вот, например, господин Ле... Лио... ох! эту фамилию забываю вечно.

– Фамилию мимо!

– Он был в старые годы закройщик, ныне лифляндский дворянин с прибавкою фон.

– Лифляндский дворянин? – прервал с

горькой усмешкой старик, сидевший в карете и терявший вовсе терпение. – Неправда! Лейонскрон из числа тех восьми графов, двадцати четырех баронов и четырехсот двадцати восьми дворян шведских, которых угодно было королеве Христине – не тем бы ее помянуть! – вытащить из грязи. Надо называть каждую вещь своим именем; всякому свое, Фриц!

– Сущая справедливость, господин пастор! Вот этот Лейонскрон был в чести, как вы изволите знать...

– Чтоб его...

– А все-таки имел привычку шевелить пальцами, как будто кроил ножницами, хотя бы на меня, грешного, кафтан. Так-то несет еще и от меня точностью фискального судьи [28], потому что, как вы изволите знать...

– Знаю, знаю!.. чтоб тебе... Минерва[29] привязала замок на рот! – пробормотал с сердцем пастор и, готовый вынести только последнюю осаду своего терпения, углубился в карету.

– Я прожил у одного фискала несколько лет, а он имел привычку говорить сначала

своим просителям, искавшим пропуска запутанному дельцу: *во-первых*, милостивый государь! Проситель смекал, приносил первое, тогда *во-вторых* не задерживалось в судейском горлышке, и дело пропускалось гладко и скоро, как лодка по наполненному шлюзу. Он так же строго взыскивал с меня, если я излагал ему дело о покупке овса, сена и прочего для лошадей не ясно, не по пунктам, как теперь...

– Что еще, проклятый болтун?

– Наш амтман[30] Шнурбаух взыскивает с меня, когда не прибавляю словечка *фон*, обращаясь к нему; а перед баронессою, поверите ли, господин цейгмейстер, стоит, как натянутая струнка!

– Ха, ха, ха! спесь рыцарей меча и низость бременских купцов, все вместе!.. Вот эти *patres patriae, defensores justitiae!*[31] – вскричал, коварно смеясь, путник, ехавший верхом.

– Низость бременских купцов? низость... Гм! – сердито проворчал пастор сквозь зубы. – Это говорит швед! в Лифляндии! ищет еще руки лифляндки!.. Прекрасно! бесподобно!

Девушка, видя, что между спутниками ее скоро загорится война не на шутку, поспешила еще вовремя тушить ее. Она обратилась к Фрицу с убедительной просьбой начать обещанную повесть. Догадливый кучер, сообразив время и длину пути, который им оставался до таинственной долины, спешил исполнить эту просьбу.

– В приходе Ренко-Мойс, – начал так Фриц свой рассказ, – неподалеку от развалин замка, жила когда-то богатая *Тедвен*, знаете, та самая, которая сделала дочери на славу такое платье, что черт принужден был смеяться. В этом замке живали и наши святые рыцари, и злодеи русские, и монахи, и едва ли, наконец, не одна нечистая сила, – да простит мне Господь! – вы хорошо знаете Ренко-Мойс, фрейлейн?

– Ринген[32], хочешь ты сказать? Как не знать мне? я только что не родилась в приходе рингенском.

– Припомните, за болотцем, в виду замка, пригорок. Вот на этом пригорке, в затишье от ветров, за щитком березовой роци, стояла лет сто тому назад худенькая избушка, одним

углом избоченясь, другим припав к земле. Силачу стоило только ее пошевелить, так она бы и развалилась. В этой избушке поселился, неизвестно откуда пришедший, мастеровой человек, именно сапожник, еще не старый, один-одинехонек. Душонка у него была дурная, потому, во-первых, что он нищему не подал в жизнь свою даже куска черствого хлеба; во-вторых, что он не любил детей, а это худая примета! Никто в домишке его не слыхивал ни песни, ни голоса женщины, ни говора хоть забеглого мальчишки; никто не выпил с ним рюмки вина. Только и слышны были заказ сапогов, или торг, или расчеты, да тук-тук молотком, и опять все тот же тук-тук, как стук гробового червяка. Руки же у него были золотые – а может быть, помогал ему окаянный, – шивал он на славу сапоги без разреза и без тачки из цельной кожи. Ныне, благодаря нашим пасторам, такие мастера вывелись. Заказывали ему сапоги скупые бароны, чтоб были без сносу; епископы и архидиаконы, чтоб были без шума; рыцари, чтобы отражали копьё татарское. Можете судить, когда такие особы заказывают что-либо, то и платят хорошо. То-

гда еще не слышно было о ведьме-редукции, которая в недавнем еще времени ходила по мызам, и бароны жили попеваючи и попиваючи. Оттого наш ремесленник должен был зашибать хорошую деньгу; но божился и клялся, что гол, как облупленная липка, что он не женится за неимением чем содержать жену, что его обкрадывают, что у него в долгах много пропадает. И будто бы потому он ел черствый хлеб с мякиной пополам, жердочками подпирал валившуюся хижину свою, все кряхтел, все жаловался на свою бедность и беспрестанно завидовал богатым. Особенно когда старики перебирали того или другого, разбогатевших от кладов, он насупливал брови, как сыч, лицо его подергивало туда и сюда, дрожь его пронимала, и наш сапожник невидимо утекал из круга рассказчиков в свою пустую избушку. Собирались смелые проказники подметить, что у него делается по ночам, собирались, да, видно, не выполнили. Храбро только языком шли на рать! В одно время он вовсе покинул работу, скрылся – и целый месяц не слышно было стуку его молотка. Приходившие с заказами со страхом

отступали от пустой избушки, в которой только двери, по блажи ветра, стонали на петлях. Он пришел домой для того только, чтобы через несколько дней умереть; но, лежа на смертной постелешке, – знать, ему от хорошего житья уже тошно приходило! – послал за пастором рингенским и, стуча зуб об зуб, объявил ему то, что я буду вам теперь рассказывать.

«Вы знаете или слышали, святой отец, – так говорил сапожник духовнику своему, – какая жадность к богатству одолевала меня с молодых лет, но не знаете, с каким усердием отыскивал я сокровища в горах, и, открыться уже должен, приступая к Страшному суду, отыскивал их в местах, где покоятся усопшие. Я потревожил кости трех витязей русских, схороненных в болоте близ Оденпе; сделал то же с римским рыцарем[33], который столько лет спит на высотах гуммельсгофских под баюканье лесов; всего на все разрыл я собственными руками в полночные часы одиннадцать могил; одиннадцать покойников воззвал я от сна вечного». Тут у самого умирающего волосы встали дыбом; холодный пот вы-

ступил по нем; он закашлялся: ге! ге! ге! – так, что пастор хотел прочесть отходную; но сапожник, вздохнув немного, продолжал: «В долине за Менценом, окруженной со всех сторон лесом, – видело только небо! – была мне одна удача». Здесь опять духовник не мог слышать, что прошептал ему, скрежеща зубами, кающийся. Оправившись, он опять начал говорить: «Прихожу с кладом домой, в осеннюю месячную ночь. Домишка мой едва лепился на жердочках; дверью меня ударило; филин встретил меня ужасным свистом, как будто бичом полоснуло меня по сердцу; собака с развалин замка отвечала ему воем. Чтобы себя успокоить, высекаю огонь, зажигаю фонарь и спешу полюбоваться сокровищем своим: почти все золото, чистое, как луч солнечный! Только... были... пятна!.. Принимаюсь считать деньги... Вдруг одиннадцать голосов захохотали, двенадцатый вздохнул тихо; но этот вздох, отец святой, был для меня ужаснее всех. От страха... ру... полотно выпало у меня из рук, и деньги рассыпались». Не забудьте, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, что это – боже меня сохрани! – не я гово-

рю, а умирающий сапожник.

– Помним, помним! – отвечали слушатели Фрица.

Кучер помахал себе в лицо шляпой, как опахалом, потом надел ее, хлопнул искусно бичом так, что, казалось, разрезал лес пополам, и продолжал свой рассказ.

– «Было к полуночи, – говорил задыхающимся голосом сапожник духовнику, – явились ко мне, одна за другой, одиннадцать девушек в белых платьях с венками на головах. Они принялись собирать деньги с полу и в несколько минут опять наполнили... полно; только требовали за труды, чтобы я поплясал с ними *на мягкой траве, при свете месяца*. Я должен был выполнить их волю и плясал с ними до петухов, пока не выбился из сил. Каждую ночь будем посещать тебя, сказали они мне, пока не выдашь нам двенадцатой подружки; без нее нельзя нам веселиться в прекрасной долине за Менценом *на мягкой траве, при свете месяца*. Вот уже одиннадцать дней, как они не дают мне любоваться кладом моим, рассыпают его, опять собирают, мучат меня своими плясками и грозят мне

тем же, пока я жив, если не выдам им двенадцатой, а кого – не знаю. На рассвете нынешнего дня отнес я без счету горшок с золотом в развалины замка и там заклал его в стене восточной башни, от среднего круглого окна четвертый камень вниз. Ты видишь, отец духовный, в каком я теперь состоянии. Верно, меня, двенадцатого, девы требовали к себе в долину. Ради Отца Небесного, похороните меня там. Чувствую, что смерть близка... но, умирая, хочу, по крайней мере, облегчить себе переход в вечность... искупив хоть часть грехов моих... добрым делом». Заметьте, он не смел сказать – богоугодным делом. «Отказываю половину своего сокровища бедным, а другую рингенской церкви, чтобы она...» С этим словом сапожник испустил дух так скоро, что усердный пастор не успел прочесть отходной. Немедленно созвано было множество окружных прихожан, дворян и простолюдинов и объявлено им завещание покойного. Сначала приступили к открытию сокровища в восточной башне рингенского замка. Место, где оно хранилось, было так твердо, что едва сдалось на усилия нескольких дюжих парней,

вооруженных добрыми ломами. Показался горшок, вынули его: в нем лежало что-то, завернутое в каком-то полотне, раскрыли – и что ж нашли? – Человеческий череп, обернутый саваном!.. Посоветовались между собой и положили: череп в саване похоронить по христианскому долгу, на высоте против долины, в которую одиннадцать дев требовали к себе двенадцатую, и поставить на могиле деревянный крест; тело же сапожника, ради Отца Небесного, которого он поминал при кончине, не бросать на съедение вороньям и волкам в поле, а зарыть просто, как еретика, в темном ущелье леса, неподалеку от долины. Так и сделано было. То, что я вам рассказал, слово в слово, записано тогда в рингенскую церковную книгу, сам священник тут же руку приложил.

– Что правда, то правда! – сказал пастор. – *Подобное* происшествие действительно записано в старинной метрической книге рингенского прихода. Мой брат, – продолжал он усмехаясь, – управлявший тамошней паствой, лет близ ста тому назад, много чудесностей поместил в этой книге; между прочими

и сказание Фрица в ней отыскать можно. Но я не знал, что долина, к которой подвигаемся, имеет с ней такие близкие сношения.

– Это не все еще, господин пастор! В долине творятся такие дела... и днем рассказывать их, так ужас берет. Надо вам прежде объяснить, что исстари, то есть с того времени, как похоронили череп с саваном на высоте и зарыли сапожника в глухом ущелье, ходило предание, что двенадцать дев – заметьте, уже двенадцать – в белых платьях, с венками на головах, каждую полночь собираются в долине, пляшут несколько времени хороводом *на мягкой траве, при свете месяца*, и потом в разные стороны убегают. Когда девы разыграются, из ущелья показывается высокое привидение, смотрит на них, не двигаясь с места, вздыхает так, что противный берег начал оседать; а как скоро кончится пляска их, уходит опять в свое ущелье. Назад тому несколько лет завелся в здешней стороне обычай приводить на высоту утопленников и удавленников. Но поверите ли, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, лишь только положат одного из этих несчастных близ креста, в ту же ночь

он пропадает! Видали, что длинное, как шест, привидение из ущелья выползает, идет прямо на высоту, поднимает мертвое тело на плечи и уносит его в свое домовище. Без того, сказывают, девы не пляшут в долине *при свете месяца, на мягкой траве*. Дороги к ущелью не проложено, а видны только огромные ступни, нечеловеческие, – я покажу их вам, как проедем мимо них.

– А бывал ли кто в страшном ущелье днем? – спросила девушка.

– Никто из живущих не смеет взглянуть в него, – отвечал кучер, – а зашел туда невзначай (сколько лет тому назад, не упомяну) прохожий егерь, нетутошный, из дальних мест. Видно, он не слышал об этих ужасах.

– Что ж он там видел?

– Долину, темную, как глубокий осенний вечер, серые камни, обрызганные кровью и обставленные вокруг косматого привидения, которое осветило его большими нечеловеческими глазами и встретило визгом, стоном и скрежетом. В ушах у егеря затрещало, глаза его помутились, рубашка на нем запрыгала, и он едва-едва не положил тут душонки своей.

Только молитве да ногам обязан он своим спасением. С того времени всякий другу и недругу заказывает хоть полуглазом заглядывать в ущелье.

– Но тебе, Фриц, – спросил пастор, – случилось ли проезжать здесь в полночь и видеть привидение?

– Была на меня эта напасть прошлого года, когда ехал я за фрейлейн, – только я об этом ей не сказывал. Вот видите, господин пастор, до поездки этой я и сам посмеивался над ужа-сами долины, как охотник не боится медведя, пока не побывает в его лапах. Думал все, что тут какие-нибудь вздоры или шашни кроются. Была ночь месячная. Зная, что до Мариенбурга придется работка рыжакам, плетуся потихоньку и, подремливая, киваю головою, будто носом рыбу ужу. Вдруг, только что спустился с косогора в долину, рыжаки захрапели, наострили уши, съежились и стали в пень; я – ну, ну! не тут-то было. Лошади мои дрожали, как будто домовой их объезжал, и ни с места. Смотрю вперед, и сам обомлел: вижу привидение, не ниже кареты, плетется через долину с мертвецом на спине. Я оставил

глаза в лошадей и, куда уж он девался, ничего не видал. Лошадки фыркнули и мчали меня с четверть мили.

– А дев видал ли ты?

– Грех солгать, дев-то я ни разу не видел. Как прикажете, господа, останавливаться ли в Долине мертвецов?

– Что скажет наша Кете? – улыбаясь, спросил пастор свою соседку.

– Если за мной дело стало, – отвечала девушка, – так я просила бы вас сделать мне удовольствие остановиться в долине, страшной только ночью, а днем... это рай!.. вы увидите сами, папахен.

– Будь по-твоему, дружок! Слышишь ли, Фриц?

– Мое дело слушаться, – сказал, качая головой, кучер, – хоть бы приказали мне прикорнуть на лапках у самого сатаны; лишь бы моим рыжакам было где вздохнуть!

Глава третья

Крупный разговор

*Поспорят, да сочтутся;
Итог все старый подведут!
Да мы свой счет найдем ли тут?
«Запрос нерешенный»*

— Постараемся, – сказал офицер с видом таинственности, – свести на обратном пути знакомство с здешними духами.

Пастор, забывавший так же скоро оскорбление, как и приходил в гнев, видя, что конный товарищ искал завязать разговор, посмотрел на него с дружеской улыбкой и присовокупил:

– Духи еще беда невеликая! от них можно оборониться и молитвою.

– Ваша правда, господин пастор! – сказал офицер. – Ваша правда! А вот беда, как нагрянут сюда в ужасной плоти и образе русские варвары, которые бродят по соседству.

– По соседству? это в самом деле ужасно! – лукаво произнесла та, к которой относилась речь.

– Еще хорошо бы, – продолжал конный спутник, – если б пожаловали сюда так называемые регулярные войска русские; а как, доннерветтер, сделают нам эту честь татары да калмыки! Вы, сестрица, конечно, не видели еще этих зверьков? О! их можно показывать в железной клетке за деньги. Представьте себе движущийся чурбан, отесанный ровно в ширину, как в вышину, нечто похожее на человека, с лицом плоским, точно сплюснутым доской, с двумя щелчками вместо глаз, с маленьким ртом, который доходит до ушей, в высокой шапке даже среди собачьих жаров; прибавьте еще, что этот купидончик [34] со всеми принадлежностями своими: колчаном, луком, стрелами – несется на лошадке, едва приметной от земли, захватывая на лету волшебным узлом все, что ему навстречу попадается, – гусей, баранов, женщин, детей...

– И шведских офицеров – не правда ли? – примолвила сидевшая в карете.

– До сих пор был неудачен лов последних: не знаю, что будет вперед! Впрочем, не в первый раз получать мне щелчки из рук моей любезной сестрицы в разговоре о войске рус-

ском, которое имеет честь быть под особенным ее покровительством. Подвергая себя новым ударам, dokonчу то, что я хотел сказать о калмыках. Раз привели ко мне на батарею подобного уroda на лошади.

– Не страшного ли Мурзенку, которого имя с ужасом твердит вся Лифляндия? – спросил пастор.

– Нет! этот разбойничий атаман, которым напуганы здешние женщины и дети, покуда гуляет еще по белу свету. Мой пленник был не такой чиновный. Как бы вы думали, сестрица, что у него было под седлом? Конское мясо, скажете вы? – Нет! вспомнить только об этом, так волосы становятся дыбом. – Младенец нескольких месяцев, белый, нежный, как из воску вылитый!

– Ужасно, если это не выдумка! – сказала девушка.

– Не намерен убеждать вас верить мне: а хотел я договорить, что этим уродом шведский артиллерист велел зарядить шведскую пушку и отослать его в русский лагерь.

– Мне совестно спросить офицера великой армии шведской, при каком месте происхо-

дил этот подвиг; скажу вам, в свою очередь, что одна жестокость стоит другой. Однако ж, если бы в самом деле вздумалось этим господам татарам пробраться на дорогу нашу?

Пастор, видевший или думавший видеть, что неустрашимость его спутницы начинала несколько остывать, спешил на помощь ей против нападений офицера.

– Разве, – сказал он, – мы не имеем благородного и сильного защитника в нашем друге? От грозных орудий, которыми он запасся и умеет владеть, как ловкая швея иглою, целый десяток бедуинов[35] рассеется.

– А если их будет сотня? Вульф один; мы с вами, папахен, не сладим и с одним уродом, какого описал нам услужливый братец. Фриц же скорее ускачет со своим Арлекином и Зефиркою, чем за нас вступится. Что ж будет тогда с нами?

Кучер покачал головой и погрозил у своего уха пальцем, как бы упрекая за несправедливые выговоры. Капитан, желая повеселиться насчет храбрости сидевшей в карете, продолжал грубые шутки свои:

– Бедному, ничтожному шведу карачун да-

дут, господина пастора изжарят на вертеле, а вас, бесстрашная фрейлейн Рабе, увезут в плен, в дикую Московию, может быть, к падишаху их в...

– Нет, меня не разлучат с моим вторым отцом! – возразила девушка, прижимая к себе иссохшую руку старика.

– Фуй, фуй, Вульф! – вскричал пастор, у которого лицо вспыхнуло от необдуманных слов цейгмейстера. – Вы и в шутках показываете вещи в черном виде. Нынешний день вы, позвольте вам сказать, особенно доказали, что в ваших речах нет ни Грации[36], ни Минервы. Еще прибавлю, сударь, – и татары имеют начальников русских; а разве русские не христиане? разве они не озарены светом Евангелия так же, как и мы, лифляндцы и шведы? И они уважают не только своих попов, но и немецких пасторов: я слышал многие тому примеры. Тем более имею право ожидать их снисхождения, что могу изъясняться с ними без помощи переводчика... вы знаете, что я употребил несколько часов моей жизни на изучение языка русского.

– К сожалению, знаю! – прервал офицер. –

Потраченный порох!

– Нет, сударь! – продолжал пастор, все более и более горячась. – Надеюсь, что мои оружия лучше защитят меня, нежели вас ваши мариенбургские заржавленные пушчонки. За меня *Ювенал*[37], *Четыре монархии*, *Пуффендорф*[38] с своим вступлением во *Всемирную Историю*, *Планисферия*[39], весь *Политический Театр*; все, все уже они стоят у меня на страже; все заговорят за меня по-русски и умилоствят победителей! Вижу коварную улыбку вашу: «Все пустячки! об них и слухом не слышать в Московии!» – говорите вы. Нет, сударь, – об них известен ученейший человек в России, библиотекарь патриарха, которому я уже послал переведенные мною на его родной язык «*Orbem pictum*» и «*Vestibulum*» и с которым мы условились составить славяно-греко-латинский лексикон.

– Прекрасно! вы в военное время и переписочку ведете с неприятелями своего государя, врагами нового отечества вашего!

– Народы враждуют, брань кипит – просвещение делает свое, прокрадывается хитростью, где не пускают его силою. Мечи на-

крест, – музы через них умеют подавать друг другу руки! Изгнанные из одного места, они поселяются в соседстве назло и к несчастью гонителей. Браннолюбивый Карл напугал их в Швеции и Лифляндии: они отправляются вереницей к Петру, умеющему приласкать их. Швеция становится близорукою, бледнеет, слабнет; Россия, просвещаясь, богатеет, мужается. Горькая истина, господин цейгмейстер, но все-таки истина!

– Школьное умствование, вылупившееся из засиженного яйца какой-нибудь ученой вороны! Налетит шведский лев[40], и в могучей лапе замрет ее вещательное карканье! От библиотекаря московского патриарха ступени ведут выше и выше; смею ли спросить: не удостоится ли и царь получить от вас какую-нибудь цидулку?

– А что вам до этого, львам и орлам севера?.. Да, господин из свиты львиной, мариенбургская ученая ворона надеется скоро и очень скоро посвятить Великому Петру переводы Юлия Цесаря, Квинта Курция[41], «*Institutio rei militaris*», «*Ars navigarteli*» и Эзоповы[42] притчи. Он любит древних героев,

потому что их в себе воскрешает. Не одни шведы будут учителями его в науке войны и мореплавания, может быть, и нашим книжечкам, и нам скажет он некогда спасибо! Эзоп – о! он, говорят, знает его наизусть и словами фригийского мудреца умеет обличать самонадеянность, невежество, бестолковое удальство, грубость, неуважение к старшим.

Здесь пастор отдохнул немного, потом, обратившись к своей спутнице, не смевшей сказать ни слова в защиту того или другого, ибо, по-видимому, уже между ними не было слова на мир, снова продолжал:

– Назло господину цейгмейстеру, чтобы он вперед не пугал тебя, Кете, и не говорил двусмысленностей, предсказываю, что в случае похищения нас ни жарить, ни печь не станут, меня – в уважение моего сана, моих трудов, тебя – в уважение твоего хорошего личика, которое и на Руси проглянуло бы, как солнышко. Напротив, нас повезли бы в Москву, там ученые люди нужны. Царь сзывает их и подалее, чем из Лифляндии. Я определился бы при немецкой церкви пастором; стал бы проповедовать слово Божие, как здесь делаю;

основал бы академию, *scholam illustrem*[43]; а ты, моя милая Кетхен, была бы украшением почтенного семейства какого-нибудь боярина... Ой, ой! Фриц, по каким кочкам ты нас ве- зешь!

– Настоящая Московия, – пробормотал сердито офицер, – песок, лес, кочки, буераки!

– А вот мы сейчас и в пригожей долине, в которой угодно было вам остановиться, – сказал кучер. – Слышите? слышите?

– Что такое еще там? – спросил пастор, которого гнев уже растрясся по ухабам.

– Я слышу, несет из долины запахом цветов, точно от букета, что у фрейлейн на шляпке. Авось либо духи не едят травы, и моим ры- жакам будет что покушать. Вот она, Долина мер... (Фриц, озираясь кругом, не договорил речи своей.)

В самом деле, начинал редеть лес, показались излучины Вайдау, зеленые лужки, холмы, рощи и, наконец, уединенная, живописная долина. Речка пересекала дорогу поперек, бежа с левой стороны на правую; тут, удержанная горой, потянулась прямо, потом обогнулась влево дугой и, наконец, понесла да-

лее свои ропщущие по камням воды, в извилинах своих все повинуюсь своенравному направлению обступивших ее холмов. Дружно обсаженная деревьями, она за ними притаилась и казалась издали вьющейся по лугу тенистой дорожкой; только журчание изменяло ей. По правую сторону возвышалась гора, которой не тронутую временем отлогость покрывал с подошвы до гребня сосновый лес, немного протянувшийся по нем мрачною оградой и вдруг вразрез остановившийся; далее самая вершина горы была на довольно большое пространство обнажена, а желто-глинистый бок ее, до самого низу, обселся в виде прямого, как стена, утеса. На этой-то вершине стоял необыкновенной величины деревянный крест, почерневший от времени и непогод; он господствовал над всею долиной, а из нее, казалось, захватил полнеба. Далее по кособору начиналась роща; из чащи ее выпадала дорожка. Левую сторону долины обсадили несколько зеленых холмов, иные вполвину обнаженные, другие осененные красивыми рощами, примыкавшими к густому лесу, из которого чернелось *ущелье привидения*.

Переехав мостик, карета повернула с дороги налево и стала там, где подножие холма и речка сходились углом. Сидевшая в карете выскочила из нее на мураву, не дожидаясь чужой помощи.

– Какие прекрасные места! – воскликнула она. – Если такова Московия, то...

Она хотела что-то сказать, не договорила и продолжала, смутившись:

– Тенистая роща ждет нас на этом холме; в ней, будто нарочно для нас, разостланы цветистые ковры.

– Есть из чего набрать венок для будущего победителя шведа Вульфа! – присовокупил офицер, сошедши с лошади и привязав ее к карете.

– Какие вы недобрые, Вульф! Этого я не помышляла даже в шутку. Могу ли не желать, во всяком случае, успеха тому, кто был другом моему отцу, кого любит так много мой благодетель, мой второй отец? Разве вы не принадлежите к нашему маленькому семейству?

– Полно, полно, дети! – сказал ласковым голосом пастор, которому Фриц помогал вы-

лезть из экипажа. – Шутка пусть останется шуткой. Скорей мировую! аминь!

Прекрасная девушка протянула Вульффу руку; он спешил ее поцеловать.

– Вот так-то! – вскричал старик, всплеснув руками в знак одобрения. – Это лучше, чем смотреть друг на друга сентябрем. А знаете ли, друзья мои, все настоящие беды наши, не выключая и вашей размолвки, происходят оттого, что адрес, поданный лифляндцами блаженныя памяти королю, был худо сочинен.

– Адрес? – спросила в один голос примиренная чета с видом изумления.

– Да, точно! я вам это сейчас объясню. Если бы он написан был как должно, то есть, как я думал написать его, король принял бы его милостиво. Вспомните, что его величество, не разобрав еще хорошенько адреса, поданного депутацией, потрепал Паткуля по плечу и сказал ему: «Вы говорите в пользу своего отечества, как истинный патриот; тем больше я вас уважаю».

– И через несколько дней прозорливый государь велел палачу поласкать шею у почтенного лифляндца! – возразил с усмешкой офи-

цер.

– Не нам – Богу судить деяния царей! Новому отечеству моему от этого не было легче. Но дело не в том. Возьмите в соображение, что блаженные памяти король, наш милостивейший господин, приказал сделать эту экзекуцию через несколько времени, то есть тогда, когда успели его величеству протолковать несообразности адреса, чего не мог он при слушании его понять. Итак, вы видите, что все зло произошло, опять скажу, от неловкого сочинения адреса. В противном случае Паткулю не погрозили бы плахою, он не бежал бы из Стокгольма от мысли, что палач будет играть головою его, как мячиком, – головою, которой, надобно признаться, подобную не нахожу более в Лифляндии. И его ж, стыжусь выговорить, наш брат духовник, Нордбек, упрекает, почему он ушел от приговора закона! Но дело не в том. Тогда бы, то есть если бы адрес написан был, как я полагал его написать, Паткуль не находился бы в русском войске, не служил бы Шереметгофу – выговариваю имя этого полководца на немецкий лад. По-русски надобно сказать Шереметев; но де-

ло не в том. Паткуль не служил бы ему живою лифляндскою ландкартой[44], не шевелил бы страстей в своем отечестве, война кончилась бы скорее, мы не боялись бы теперь соседства русских, вы не ссорились бы в разговоре о них... И бог знает, от каких бед избавил бы нас адрес, дельно составленный, обдуманый не горячими умами, но холодным стариковским рассудком. Если бы адрес...

Конца бы не было сильному, всесокрушающему потоку, льющемуся из уст нашего оратора, для которого слово «адрес» было то же, что поднятие затвора у спуска воды на мельнице, – если бы не поспешил Фриц заткнуть прорыв этот докладом, что поставит карету и лошадей в уголку долины, в тени. Между тем пастор, воспитанница его и Вульф вошли в рощу; усердный конюший понес за ними несколько подушек. Чем далее углублялись они в нее, тем более жар терял силы. Ветерок вился мотыльком между деревьями и обвеивал наших путешественников негою прохлады. Сплетшиеся ветви душистой липы, всегда шепчущей осины и клена широколиственного манили их под себя к отдыху; однообраз-

ное жужжание пчел склоняло к дремоте. Пастор, утомленный путешествием, охотно предался зову природы: он прилег в беседке, которую нежная заботливость его спутницы устроила со всеми возможными удобствами для него. Старец, забыв мертвецов, адрес, переводы и все великие намерения свои, вскоре заснул крепким сном душевного спокойствия. Прекрасная путешественница села не в дальнем расстоянии от него под наметом цветущей липы и занялась чтением *«Светлейшей Аргениды»*[45], одного из *превосходнейших романов настоящего и прошедшего времен* (по крайней мере, так сказано было в заглавии книги), сочиненного знаменитым Баркклаем. Подалее цейгмейстер задремал, прислонясь ко пню, обвитому пышным мохом и ползуном. Он имел осторожность взять с собою карабин, который поставил в приятельском отдалении. Фриц... но мы расскажем, что с ним случилось, чрез главу.

Глава четвертая

Кто они такие?

Уж разумеется, что это мы узнаем!
Хмельницкий

Отдых наших путешественников представляет нам удобный случай короче ознакомиться с ними читателя нашего. Начнем со старшего лица.

Эрнст Глик[46] был пастором в лифляндском городке Мариенбурге, лежавшем близ границ псковских. Лифляндия не была его отечеством: он родился в Веттине, что в герцогстве Магдебургском, где отец его, Христиан, также священствовал. Дед его Иоган был некогда типографщиком в Лейпциге. От первого получил он в наследство любовь к добру, от второго – любовь к просвещению; и с таким достоянием почитал себя богатым. Занесенный разными обстоятельствами, о которых умалчиваем по незанимательности их, сначала в Ригу, потом в настоящее местопребывание свое, он везде, где только жил, приносил с собою известность почтенного имени

и оставлял память о своих добрых делах. По летам и сану его, а более по уважению и любви к нему обывателей мариенбургских можно было назвать его патриархом этого городка. Но как доброе сердце его, найдя тесным этот круг деятельности, умело расширить его за несколько десятков миль от Мариенбурга, так и любовь и уважение успели найти Глика из отдаленных мест Лифляндии.

Добро делать считал он такую же потребностью, как пить и есть. Он был небогат; но догадливая любовь к нему прихожан и окружного дворянства, вознаграждая недостатки его, доставляла ему постоянные способы исполнять эту потребность. За стыд не считал он получать дары, потому что их же раздавал неимущим: в этом случае почитал он себя только посредником между благотворением и несчастьем. Не делал он такого *скрытого* добра, которое преданные люди обыкновенно, в подобных случаях, разглашают человекам двадцати; не любил он также и открытой дележки. Зато с какою пламенной готовностью спешил он к беспомощному больному с лекарем, лекарством, пособиями

всякого рода и даже хожалою (горничною, старою девкой Грете, часто заменявшею его в таких человеколюбивых подвигах), с каким усердием поддерживал он существование бесприютной вдовы, отдавал бедных сирот в учение разным ремеслам, оказывал великодушные пособия подсудимым!

– *Законы* должны делать свое, – говаривал он, – а я, как человек, свое.

Однако ж острый взгляд его умел почти всегда отличать в числе истинно бедных, и несчастных, составляющих везде многочисленное семейство, тех самозванцев-несчастливцев, бродяг, тунеядцев, просящих милостыню по привычке, когда могли бы работой рук своих доставать себе пропитание. Опекун злополучия, великодушный, но не безрассудный, он отказывал последним в вещественном пособии, но преследовал их духовными благодеяниями, мерами, более действительными к исправлению порока; он успел даже многих из них отучить от бродяжничества. Этот добродетельный человек основал в городе рабочий дом, богадельню и училище, помня, как он говорил, что пороки не иначе мож-

но изгнать из общества, как удовлетворением трех главнейших потребностей человека: укреплением тела, очищением сердца и просвещением разума. Успехи его благодетельных средств были доведены до того, что дали бургомистру возможность в одно воскресенье прибить у всех въездов в Мариенбург доски с надписью: «Здесь не позволяется просить милостыню». В этот достопамятный день гражданами поставлены были в кирке великолепные, по тогдашнему времени, органы. Вечером же окна пасторского дома внезапно осветились необыкновенным светом. Он выставил свою лысую голову из окна и был изумлен необыкновенным зрелищем: по озеру летело с разных сторон множество двойственных огней, которые соединились у берега против дома, произвели в воздухе блестящее зарево и зажгли воды. Раздались, при звуке мечей, громкие «виваты», и пропет был охриплым голосом почетнейших жителей кант[47], сочиненный в честь виновника общего их благополучия, в котором сравнивали его с Ликургом[48], Солоном[49] и многими другими законодателями. Торжество это из-

влекло у доброго старца слезы и радостью взволновало его кровь до того, что он не мог заснуть прежде рассвета. Известно нам также по преданию, что сочинитель канта, городской школьный мастер Дихтерлихт, был несколько дней в лихорадке от одной мысли перейти в потомство с новорожденным своим творением.

Слово Глика к пастве было слово отца к детям: он поучал, увещевал, не пугая. Правда, платил он изредка дань веку своему, щеголяя в проповедях схоластическою ученостью, которою голова его была изобильно снабжена, тревожа с высоты кафедры робкие умы слушателей варварскими терминами из физики и математики и возбуждая от сна вечного не только героев Греции и Рима, но даже Граций и Минерву, с которыми он редко где-нибудь расставался. К чести его надобно оговорить, что он в конце своих речей, со скромностью христианина, почти всегда извинялся перед слушателями, что отвлек их внимание от даров небесных к дарам человеческим. Но лучшее, незабвенное благодеяние, которое он сделал не только своим прихожанам, но и

всему лифляндскому краю, был перевод на латышский язык Библии: с его времени Закон Божий стал известен поселянам на природном их языке и понятен их разуму и сердцу.

Ученость его вошла в поговорку. Он знал хорошо языки греческий, латинский и, что удивительнее всего в тогдaшнее время, русский, на который он перевел множество латинских сочинений. Им хотел он сделаться известным преобразователю русского царства и занять в его истории почетное место. Чтобы достигнуть своей цели и между тем согласить чувства верноподданного шведского короля с нетерпеливою любовью к знаменитости, он ожидал мира, как жиды Мессии[50]. Страстный поклонник всего великого, являлось ли оно в лютеранине или иноверце, в соотечественнике или чужестранце, он питал уже с давнего времени пламенную любовь юноши к славе царя Алексеевича (так звали его запросто немцы) и успел напитать этим огнем воображение своих домашних. Еще в 1697 году («25-го марта» – это число было у него записано красными чернилами и огромными буквами в календаре), смешавшись в

толпе лиф-ляндских дворян, прибывших встретить русского монарха на границе своей в Нейгаузене, он видел там лично этого великого мужа, ехавшего собирать с Европы дань просвещения, чтобы обогатить ею свое государство. Там еще успел он угадать его сердцем, которое часто вернее исследований ума осязает истину, и с того времени, с целью далекою, посвятил лучшие досуги свои изучению языка русского. Мы видели по прочитанной им самим номенклатуре книг, им переведенных на этот язык, что труды его были велики; узнаем впоследствии, были ли они бесполезны.

Всякая фигура имеет свой свет и свою тень; идея человека соединяется всегда с идеей слабостей его: это сказано и пересказано уже до меня. Хорошо еще, когда свет преобладает над мраком; мы уже до того дошли, что стали говорить: хорошо б, если бы на людях, с которыми мы имеем дело, проглянуло где-нибудь белое пятнышко; а то бывают ныне и такие черненькие, как уголь, который горит и светит для того только, чтобы сожигать! Этим рассуждением приговариваюсь к тому, чтобы

выиграть сколько можно более снисхождения к слабой стороне нашего Глика. Пытливость ума его, страсть к планам, нововведениям и усовершенствованиям нередко простирались на мелочи, нередко проявлялись в смешных, странных способах. В наш век назвали бы его прожектором. Но мы видели, что эта самая страсть произвела множество полезных, истинно благодетельных дел и потому не только была в нем извинительна – она заслужила даже благодарность сограждан и память потомства. Не средства, а цель достойна строгой поверки. И потому охотно отпускаем ему на суде нашем эту слабость. Но что было в нем порок истинный, так это своеобразие. Когда он садился на конька своего, неутомного, заносчивого, то никто не в состоянии был его удержать, хотя бы он скакал через рвы и плетни. Получив ли от природы направление к этому пороку, утверченный ли в нем чувством собственных достоинств, дававших ему первенство в семействе, в училище и в обществе, избалованный ли всегдашним, безусловным согласием невежд и ученых, он забывал иногда смирение евангель-

ское, неприметно поклоняясь своему кумиру. Если он что-либо задумал, расположил и утвердил в голове своей, то начертания свои почитал лучшими, какие только можно составить, по ним действовал и заставлял действовать людей, с ним тесно связанных и от него зависевших. Ничто не могло заставить его переменить свое намерение, даже и тогда, когда обстоятельства заранее открывали ему заблуждения и ошибки его.

– Конец венчает дело, – говаривал он иногда, желая оправдать неуспехи своих предположений и расчетов, и, приближаясь к цели, нередко узнавал прискорбным опытом, что основание их было непрочно и ложно. К счастью имевших с ним дело и не слепо выполнявших его начертания, мщение никогда не входило в сердце его.

– Близорукие! ослепленные! невежды! – говаривал он об них в пылу гнева. – Умываю себе руки в несчастиях, которые могут с ними случиться.

Если же противились ярму его своенравия люди сильные, к видам которых привил он свои услуги, то соглашался скорее потерять

свои пользы и разрушить давнишние связи, чем расстаться с начертаниями своими.

Глик давно лишился жены и детей. Взамен их Провидение послало ему такое существо, которое, пополнив все его утраты, подарило его лучшими утешениями в жизни. Это была воспитанница его, Катерина Рабе[51]. Отец ее, служивший квартирмейстером в шведском Эльфсбургском полку, умер вскоре после ее рождения (в 1684 году). Мать ее была благородная лифляндка, по имени первого мужа, секретаря какого-то лифляндского суда, Мориц. Лишившись второго мужа, она из Гермунареда, что в Вестготландии[52], приехала по делам своим на родину с малолетнею дочерью своею (нашей героинею) в рингенское поместье господ Розен, где и скончалась в непродолжительном времени. Малютка осталась после нее круглою сиротой, не только без покровительства, но и без всякого призрения. Роопскому пастору Дауту случилось быть в Рингене; он взял ее к себе и дал ей убежище и содержание. В Роопе жила она несколько лет в унижении под тягостным господством пасторши, женщины злой и властолюбивой.

Надобно было, чтобы судьба привела нашего доброго Глика в Рооп, чтобы он увидел худое обращение этой мегеры[53] с бедным приемышем, в котором заметил необыкновенную кротость и ум. Он легко выпросил ее у госпожи Даут, бывшей полною властелиншей в доме. С десяти лет Катерина Рабе жила у мариенбургского патриарха. С того времени расцвел этот прелестный цвет под нежными попечениями второго отца ее.

Девице Рабе минуло осьмнадцать лет. Черные глаза, в которых искрилась пронизательность ума, живость и доброта души, черты лица, вообще привлекательные, уста, неуго образованные (нижняя губа немного выпуклая в середине), волосы черные как смоль, которых достаточно было, чтобы спрятать в них Душенькина любимца[54], величественный рост, гибкий стан, свежесть и ослепительная белизна тела – все в ней было обворожительно; все было в ней роскошью природы. Душа ее была вылита по форме ее прекрасной наружности. Лишить себя приятной вещи, чтобы отдать ее бедному; помнить добро, ей сделанное кем бы то ни было; пожертвовать сво-

им спокойствием для угождения другим; терпеливо сносить слабости тех, с которыми она жила; быть верною дружбе, несмотря на перемену обстоятельств, и особенно преданною своему благодетелю – таковы были качества девицы Рабе. Но достоинства души, редко достающиеся в удел ее полу и которыми Провидение щедро наградило ее, были необыкновенная твердость и сила характера. Еще в детстве, слушая ужасные сказки, она смеялась, когда подруги ее от страха едва смели дышать. Проходя в сумраке вечера через кладбище, дети одного с нею возраста прижимались к старшим провожатым своим, шибко стучало сердце их: ее же было так покойно, как обыкновенно; она еще старалась отстать от других, спешила полюбоваться памятником, остановившим ее внимание, и тихими уже шагами их догоняла. Ей не было десяти лет, когда у соседа случился пожар: все в доме бегали и суетились; она взяла кувшинчик с водою и, когда спросили ее, куда идешь, отвечала спокойно: *заливать огонь*. Твердость души девицы Рабе, столь рано умевшей пренебрегать опасностями, возмужав с летами, сдела-

ла ее способною к необыкновенным победам над собою и трудными обстоятельствами в решительные минуты ее жизни.

Некоторые из граждан мариенбургских, думая, что для бедной, незначительной де-вушки они слишком завидные искатели, за-очно собирались просить руки ее, но при сви-дании с нею, по какому-то невыгодному для себя сравнению, решительно переменяли на-мерение свое. Так, пришедши в храм любо-ваться искусством художника, истощившего гений свой в дивных изображениях, забыва-ешь, для чего пришел, и, в благоговении по-вергнувшись перед святынею, остаешься в храме только молиться. Девица Рабе одна не знала могущества своих прелестей: жива, простодушна, как дитя, ко всем одинаково приветлива, она не понимала другой любви, кроме любви ко второму отцу своему, другой привязанности, кроме дружбы к Луизе Зеге-вольд (с которою мы впоследствии познако-мим нашего читателя).

Только один избранник осмелился прости-рать на нее свои виды: именно это был цейг-мейстер Вульф, дальний ей родственник, слу-

живший некогда с отцом ее в одном корпусе и деливший с ним последний сухарь солдатский, верный его товарищ, водивший его к брачному алтарю и опустивший его в могилу; любимый пастором Гликом за благородство и твердость его характера, хотя беспрестанно сталкивался с ним в рассуждениях о твердости характера лифляндцев, о намерении посвятить Петру I переводы *Квинта Курция* и *Науки мореходства* и о скором просвещении России; храбрый, отважный воин, всегда готовый умереть за короля своего и отечество; офицер, у которого честь была не на конце языка, а в сердце и на конце шпаги. На него, как на отличного артиллериста, вместе со старым комендантом мариенбургской крепости, подполковником Брандтом, возложена была Карлом XII защита ее. Много прав имел он на уважение девицы Рабе: она и уважала его, любила, как друга отца ее, как брата, не более. Впрочем, он не был создан для того, чтобы возбудить в ком-либо нежную, истинную страсть, придающую часто любимому человеку достоинства, которых он не имеет, между тем как равнодушие к другому отни-

мает у него и те прекрасные качества, которыми его природа наделила. Старее ее двадцатью годами, с чертами лица, выражающими благородство, но грубыми, напитанный суровою жизнью лагерей и войны и потому в обращении даже с женщинами не оставлявший солдатских привычек и выражений, властолюбивый, вспыльчивый даже до безрассудства – таков был искатель руки нашей героини, любивший ее истинно, но сердцем ее не избранный.

Пастор, с своей стороны, имел также виды на цейгмейстера: здесь представлялся ему важнейший случай поработать головой и сердцем, выказать свои глубокие соображения, тонкое знание людей. Он видел, он осязал уже воображением знаменитое дерево, долженствующее изумить потомство плодами необыкновенными, – дерево, которого семя таилось в его рассаднике. Великие последствия должны были произойти от предполагаемого союза бедной воспитанницы его с незначащим артиллерийским офицером! Можно ли было упустить такой случай? Правда, к страсти его все устраивать примешива-

лось тогда и доброе намерение. «Кто искреннее меня желает счастья моей Кете? – рассуждал сам с собою Глик. – Что я обдумал для нее, то должно служить к ее благополучию... После смерти моей она останется в пустыне, где ни один голос друга на голос ее не отзовется, точно в таком состоянии, как была она после смерти своей матери. Неопытность ее опутают сетями. Она узнает нужду, горести. Ей необходим именно такой товарищ в жизни, каков цейгмейстер, мой приятель. Благородные и твердые его правила мне известны; он имеет состояние, которое обеспечит его навсегда от бедности. Умрет – и вдова храброго шведского офицера не будет забыта признательным королем. Наружность его не совсем привлекательна, согласиться надобно; но этот недостаток может пугать только ветреную девчонку, а не мою Кете. Луиза Зегевольд не помнит лица жениха своего; однако ж благоразумная мать, с помощью же *нашею*, умела заставить ее и заочно полюбить его и все так устроила, следуя *нашим* советам, что будущий союз их должен быть пресчастливейший. Жениха же моей Кете я знаю, как самого

себя; она видит его каждый день и должна быть к нему равнодушной. С ним она ласковее, нежели с другими мужчинами. Еще на днях подслушал я, как они толковали о разных чувствах, между прочим делали определение любви... О! Эти верные признаки не укроются от зоркой опытности старика. Нет, нет, лучшего мужа не иметь ей; лучшего супружества, какое им готовлю, существовать не может». Так обдумывал, рассчитывал и наконец скрепил пастор словами: быть так, сидя на коньке своем, с которого уже не было возможности его свести. Цейгмейстер не много думал и рассчитывал и, как отважный воин, решительно атаковал Глика с предложениями. Маленькая, сухая рука пастора ударила в широкую ладонь его, и вскоре, как водится, сначала околичностями, потом открыто объявлены воспитаннице виды лучшего друга первого и второго отца ее, любимца королевского, будущего коменданта мариенбургского, любезного, благородного, умного и прочее и прочее, что воспитатель мог прибавить из словаря мнимых и настоящих достоинств жениха. Между тем, на случай нечаянного от-

ражения, он не замедлил присовокупить, что, для ускорения ее благополучия и его собственного спокойствия, согласие с его стороны дано и что она омрачит последние дни его жизни, сведет его безвременно в гроб, если откажется от счастья, которое так решительно ее преследовало. Девушка Рабе, никогда не помышлявшая о важности такого предложения, сначала испугалась, потом, сама не понимая себя, стала равнодушнее слушать повторенные вызовы своего благодетеля, который в исполнении планов своих любил в точности поступать согласно с текстом Священного Писания: *толцыте, и отверзетя*[55]. Наконец твердая душа ее взяла верх над боязнью неприятного союза, ей так настоятельно предлагаемого. Она повиновалась. Сказав решительное: *иду!* – она не чувствовала в себе ни сильного трепета сердечного, ни страха будущего, ни сожаления о прошедшем и сама удивлялась своему спокойствию; только просила, внутренним советником побуждаемая, отложить союз этот на два месяца. Роковой срок должен был кончиться в последних числах августа. В продолжение этого времени

Вульф, жених ее, остался для нее тем же цейгмейстером Вульфом, ею уважаемым, как друг ее отца и благодетеля, любимым, как брат, не более. По-прежнему пастор беспрестанно с ним ссорился и беспрестанно мирился; по-прежнему об оселок его раздражительного характера любил Глик точить свои мнения.

Мы видели воспитателя, воспитанницу и жениха ее в дороге. Куда ж едут они? – В Гельмет, к баронессе Зегевольд, ко дню рождения ее дочери Луизы, с которою познакомил пастор свою Кете *ради* милостивого покровительства сироте на будущие времена и с которою, между тем, вопреки неравенства состояний их, соединили ее узами дружбы нежные, благородные чувства и особенное друг к другу влечение, разумом не определяемое и часто не постигаемое. Пять лет уже, как Рабе в одно и то же время посещала Гельмет или с пастором, или, в случае важных занятий, не позволявших ему отлучиться, одна, сопровождаемая доверенным служителем баронессы, а иногда женою гельметского амтмана Шнурбауха, которую нарочно за нею присылали. Без милой Кете для Луизы день ее рождения

не был праздником; не видать Луизы в этот день было для верной подруги ее то же, что потерять целый год, потому что надобно было провести его в скуке до новой радостной эпохи. Сколько готовилось памятью сердца к этому дню таинственных узелков, развязываемых только в сладкие часы доверенности с единственным другом! Сколько нечаянностей, увеселений, игр изобретала к принятию своей бесценной гостьи молодая хозяйка, ломавшая голову для них не менее пастора Глика, когда он думал о способах просветить соседственный народ. И все эти великие думы, все планы исчезали, как облако под ударом ветра, в чувстве удовольствия при первом взгляде друг на друга! Нередко мариенбургская жительница оставалась гостить по нескольку месяцев в Гельмете. И как скоро проходили эти месяцы! Приезд и отъезд сливались в одну минуту: в первый забыта вся несносность разлуки, при втором радости свидания будто не существовали; слово «*прости!*» их все поглощало. Можно судить, с каким нетерпением ехала девица Рабе в Гельмет ныне, когда ей было столько нового рас-

сказать и выслушать; язык их был только для них понятен, ибо это был язык сердца. Ключа к нему не могло найти холодное властолюбие, располагавшее ими, не спросясь голоса природы.

Цейгмейстеру сделано было мариенбургским комендантом Брандтом важное поручение, которое он должен был лично передать генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху в Гуммельсгофе, главной его квартире; а как мыза эта была на дороге в Гельмет, то он воспользовался случаем, чтобы сопутствовать приятелю своему и невесте, пока возможно было.

Фриц, наемный кучер баронессы, находившийся у ней в услужении более двух лет, из особенного уважения к пастору, всегда вызывался ехать за ним или его воспитанницею. Он вез их и нынешний раз с тою же готовностью быть им угодным. Чтобы хотя несколько удовлетворительно отвечать на вопрос, сделанный нам в начале главы, скажем о Фрице, что, несмотря на простоту его наружности и жеманство его движений, он был лукав, как дух, прельстивший нашу прабабушку в раю [56]. Эту старую крысу трудно было обмануть;

и кто бы это сделал, недолго бы прожил, как говорит пословица. Если нужно ему было отвести внимание желавшего проникнуть его тайну, то он искусным оборотом речи удалялся от предмета, который желал скрыть, останавливался и вертелся над другим предметом, по виду для него чрезвычайно занимательным, глупел и путался в речах до того, что уже нельзя было добиться от него толку. В таких случаях он поступал как пигалица, которая, желая отвлечь охотника от гнезда, где скрываются птенцы ее, кружится с жалобным криком над другим местом, как будто дает знать, что здесь таятся предметы, ей драгоценные. Где нужно было Фрицу самому выведать или получить что-либо для него занимательное, он также начинал издали и скрытыми, извилистыми путями вкрадывался в душу, так что кругом ее обшаривал. Обыкновенно казался он простым болтуном.

Глава пятая

Приготовления

*А то, как молотком, ударить вдруг с
размаха,
Так, боже сохрани! они умрут со стра-
ха,
Когда же это все улажу без труда,
Терпенью приучать примуся их тогда.*
Хмельницкий

С версту вперед от Долины мертвецов, в виду менценской дороги, на холмистом мыску, обведенном речкою Вайдау, стоял красивый господский домик с такими же красивыми службами и скотным двором. Мыза эта защищалась от полуденного солнца березовою рощей, примыкавшею к сосновому лесу, наполненному столькими ужасами, о которых порассказал Фриц, от северных аквилонов[57] – высоким берегом речки. Цветники, со вкусом расположенные и хорошо содержанные; небольшой плодовитый сад, в котором каждое дерево росло бодро и сильно, будто в соревновании одно перед другим, как члены

юного, мужающего народа; зеленые пажити, на которых ходили тучные коровы; стоки, проведенные с высот; исправные водохранилища; поля, обещающие богатую жатву; работники, непраздные, чисто одетые и надежные дарами здоровья, трудолюбия и свободы, – все показывало, что обладатель этого поместья любил жить порядочно и приятно. Казалось, что сюда перенесен был один из цветущих уголков Англии. Мыза эта принадлежала господину Блументросту, известному в Лифляндии медику. В него веровали, как в оракула[58]; практика соответствовала его славе; деньги сыпались к нему в карман сами; между тем он не был корыстолюбив; к бедному и богатому спешил он на помощь с одинаким усердием. Блументрост много путешествовал, знал хорошо свет и людей, дорожил ученою славой и старался не только питать ее искусством своим, но и сделать ее известною в ученом мире разными важными по его части сочинениями и перепискою с университетами, считавшимися в тогдашнее время средоточиями наук. В Швейцарии познакомился он с Паткулем. Паткуль был

несчастлив, угнетен, не имел отечества: добрый Блументрост любил его, помогал ему советами, утешениями и деньгами, не оскорбляя его бедности и несчастья. С того времени связи их укреплялись более и более; благоприятная перемена судьбы изгнанника, потом любимца Петрова, не переменяла ничего в их дружбе.

Мыза Блументроста была под особенным покровительством генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, которому он успел искусством своим оказать важные услуги; и потому к воротам, ведущим в нее, прибит был в раме, опутанной проволочною решеткою, охранный лист, за подписью и печатью генерала, запрещавшего в нем, под строжайшею ответственностью, шведским войскам малейшее оскорбление жителям мызы и самовольное от них требование чего-либо. Жители ее, кроме хозяина... узнаем их сейчас, взойдя во внутренность красивого домика.

На балконе его, с которого видна была вкось высота с крестом, сидела в то время, как наши путешественники подъезжали к Долине мертвецов, прехорошенькая девушка

лет шестнадцать. Томные глазки ее щурились, чтобы лучше видеть вдаль. Казалось, она что-то подстерегала. Одежда на ней была, какой не носят лифляндские женщины. Голову ее дважды обвила русая коса. Вместо ожерелья, на черной ленте, перевязанной около шеи, висел золотой крест, падавший на грудь, которую открывала несколько, в виде сердца, белая косынка. Стан ее приятно означал корсет из шерстяной материи каштанового цвета, с узенькими оплечьями, стягивавшийся голубою лентою, переплетенною с одной стороны на другую наподобие углов. Весь корсет был также обложен голубою лентой; такого же цвета два банта висели у конца его в середине самой талии. Широкие, тонкого полотна, рукава доходили немного ниже локтя, где они собирались в густые манжеты. Короткая юбочка синего цвета с пунцовыми полосами, поверх нее белый передник, выходивший из-под корсета, голубые чулки, башмаки со стальными пряжками, блиставшими от солнца, в руках ее соломенная шляпка с разноцветными лентами и букетом цветов – все обличало в ней жительницу южного края Евро-

пы. Долго смотрела она в ту сторону, где крест одиноко возвышался над долиной; наконец задумалась и склонила голову на грудь. В таком состоянии оставалась она несколько минут. Неподалеку от балкона, под навесом цветущих лип и рябины, сидели на длинной скамейке трое мужчин; все они разных лет, в различных одеждах и, казалось, хотя они все изъяснялись по-немецки, — не одного отечества дети. В середине сидевший был старец. На открытой голове его небольшой ряд серебряных волос, от времени сбереженных, образовал веночек; белая, как лебяжий пух, борода падала на грудь. Лицо его дышало благостыней. По-видимому, он был слеп. Широкая пепельного цвета одежда его, похожая на епанчу[59], с длинным, перекинутым назад капюшоном, была опоясана ремнем. На груди имел он маленькое хрустальное распятие, в котором солнышко, прокрадываясь сквозь листья деревьев, по временам играло. Обувь его походила на сандалии. Двумя иссохшими руками держался он за ручку ветхой скрипки, приклоня голову на край ее, а другой конец ее опирая на колена. По правую сторону сидел крестьянин,

похожий на немецкого мызника, лет пятидесяти или без малого; он был без верхнего платья, в длинном камзоле из тонкого красного сукна, с рядом блестящих пуговиц, в синих коротких исподних платьях, пестрых чулках и башмаках со стальными пряжками. Русые с проседью волосы его подбирались со лба назад и сдерживались роговым гребнем. Лицо его было полно и румяно, как осень; движения и разговор его – свободны. Он был скучен. Левую сторону скамейки занимал высокого роста мужчина, крепко и стройно сложенный. Если б надобно было отгадывать его лета, то по приятным, тонким чертам его смуглого лица, по огню его карих глаз нельзя было б ему дать более тридцати лет; но проведенные по возвышенному челу его глубокие следы размышления, работы сильных страстей или угнетения гневной судьбы, предупредивши время, накидывали в счете лет его еще несколько. С открытой головы его бежали обильно на плечи кудри, черные как вороново крыло. Борода у него была обрита. Верхняя одежда его, из грубого синего сукна, походила на венгерскую куртку; камзол и испод-

нее платье такого же цвета были немецкого покроя; гибкий стан опоясывался черным кожаным ремнем с медною пряжкой; ноги до самых башмаков обрисовывались узкими шведскими штиблетами. Он был весь тревога: то погружался в глубокую задумчивость, то, вдруг встрепенувшись, как будто поражен был ожидаемым вестовым звуком, прислушивался с жадным вниманием; то вставал, прохаживался по цветнику быстрыми шагами, посматривал на девушку, сидевшую на балконе, и опять садился. Казалось, от нее должен был он услышать роковое для него слово; однако ж наверно можно было догадаться, что это не было слово любви. В глазах его выливалось нетерпение души беспокойной, грустной, которой предмет был далек, а не изъяснения нежного чувства предмету видимому. С левой стороны скамейки приставлены были к ней складной стул и какой-то продолговатый, неглубокий ящик, с приделанными к нему ремнями, вероятно служившими для поднятия и носки его. Напротив лавки лежал, развалившись на траве, огромный детина, вершков шестнадцати вышины, плечистый,

сутуловатый. Это была олицетворенная доброта. Русые волосы его, небрежно распущенные по плечам, серый кафтан из *ватмана*[60], хотя и тоньше обыкновенного, башмаки без подошв из желтой кожи, стянутые, а не сшитые, обличали в нем природного лифляндского домочадца или человека, его представлявшего. Он ничего не говорил, но объяснялся движениями рук так хорошо, что его всякий мог понимать.

– Что с тобою сделалось, Баптист? – сказал слепец, обращаясь к сидевшему по правую руку его.

– А что такое? – отвечал сухо вопрошаемый.

– Как что! ты нынче неразговорчив, как дух долины или наш немой.

– Эх, Конрад! ты не ведаешь моего горя: целые пять кругов сыру не удались, хоть брось их, а все по милости моей Розки. С некоторого времени Богу известно, что с нею делается: за что ни примется, валится все из рук! А кажется, ты знаешь, швейцары[61] не любят хвататься; мать ее считалась во всей округе Лозаннской первой молочницей; да и в девчон-

ке виден был прок. Ныне же говоришь ей – не слышит; толкуешь – не понимает; сама говорит – путается. Бывало, резвится и прыгает, как вольная козочка наших гор; теперь быть бы ей одной да задумываться, как пастор над сочинением проповеди.

– Не больна ли она чем? Чадолюбивая природа открыла мне некоторые таинства свои на пользу моих ближних, и я постарался бы исцелить ее.

– О! кабы так, не помешкав приступил бы я к тебе с просьбою помочь моему детищу, которое, после смерти матери своей и в разлуке с родиной, заменяло мне их. Я знаю, как ты доточен на эти дела. Давно ли ты избавил меня от смерти? Порезав себе косою ногу, я обливался кровью; сам господин Блументрост не мог остановить ее: тебя подвели ко мне; ты обмакнул безымянный палец правой руки в кровь мою, текущую ручьем, написал ею на лбу моем какие-то слова...

– *Совершишася.*

– И кровь остановилась. Помню, как добрый господин всплеснул руками, ахал, пожимал плечами, обнимал тебя и обещал тебе

груды золота за открытие твоей тайны.

– Я не согласился тогда; но скоро, скоро придет время сдать ее и многие другие нашему общему благодетелю. Не хочу, чтобы они умерли со мною. Да, мы говорили о бедной Розе! Спрашивал ли ты ее хорошенько, что у нее болит? не тоскует ли она по родине?

– Спрашивал, и только слышал: «Так, батюшка! ничего-с, батюшка! нет-с, батюшка!»

– Странно! (Тут слепец вздохнул глубоко.)

– Вот мы ее поставили караульщицею на балконе, а она, когда б ты видел, сидит, повеся голову на грудь, как убитая птичка. Ну право, я распрощаюсь скоро с добрым господином Блументростом, возьму котомку за плеча и утащу Розку в свою Вельтлинскую долину, в Божию землю, где нет ни войны, ни печали, ни угнетения: может быть, она расцветет опять на свободных горах ее, под солнцем полудня.

Слепец еще вздохнул и примолвил, настраивая свою скрипку:

– Сделаем последний опыт!

Сладив строй бедного инструмента своего, он заиграл швейцарскую песню: *Rance de*

vache. Первые звуки ее заставили Баптиста затрепетать; он вскочил со скамейки, потом зарыдал и, наконец, не в силах будучи выдержать тоски, стеснявшей его грудь, вырвал скрипку из рук слепого музыканта. Роза, казалось, не слыхала песни родины.

– Что Роза? – спросил слепец.

– Роза? – вскричал, всхлипывая, швейцарец, смотря на нее. – Она... не дочь моя!

Немой утирал себе глаза рукавом. Он плакал оттого, что другие плакали. Слепец ничего не говорил, поникнув грустно головой. В это время младший товарищ, прежде сидевший с ними на одной скамейке и теперь прохаживавшийся по цветнику, взглянул на балкон и, увидя, что Роза вместо того, чтобы исполнять должность караульщицы, сидела в горестной задумчивости, из которой не могли, как он слышал, исторгнуть ее родные звуки, подошел к балкону и произнес потихоньку одно слово: «Фишерлинг» — так, чтобы оно только до нее дошло. Девушка от этого магического слова вострепелась, осмотрелась вокруг себя; покраснела, увидев под балконом свидетеля ее душевной слабости; взглянула

на возвышение креста, с испугом закричала:

– *Знамя!* – и бросилась бежать во внутренность дома. Явившись в цветнике, она остановилась перед собеседниками, как преступница. Отец сурово посмотрел на нее; убийственный взор его говорил: *ты не швейцарка!* Видно было, что Роза собиралась плакать; но черноволосый мужчина быстро и крепко схватил ее за руку и увлек за собою. У тына, к стороне рощи, была калитка. Могучею рукою распахнул он калитку и, втолкнув в нее девушку, сказал ей:

– Узнай все вернее и скорей! Если ты уж этого хорошенько не выполнишь, что скажет, что подумает о тебе господин *Фишерлинг?*

Глаза его в это время блистали, как огонь зарницы в удушливой атмосфере; слова его казались бедной Розе громом, ужасным, хотя еще издали гремящим. Исполнение их было для нее смертным ударом. Она скрылась, и черноволосый стал на страже, как изваянный гений, прикованный к гробнице.

Пока все это происходило на мызе господина Блументроста, Фриц, сообразно местоположению, стратегически расположил свои дей-

ствия. Надобно сказать прежде объяснения их, что место, где расположилось наше странствующее общество, было довольно далеко от края рощи, примыкавшей с одной стороны к ущелью привидения и простиравшейся назад на неопределенное расстояние; ибо чем далее взор в нее углублялся, тем более учащали для него преграду деревья и сети их зелени. Мимо лагеря наших путешественников проходила сквозь рощу тропа мало пробитая, которая вела, по-видимому, из Адзеля и спускалась с холма на мариенбургскую дорогу. Мы видели, что карета стала в долине там, где речка и подножие холма сходились углом. Лошадей привязал кучер к деревьям, в недалежном расстоянии, и задал им овса, которым запасся на дорогу; потом перескочил по камням через речку, пробрался сквозь рощу, в которой, сказали мы, терялась по косогору дорога в Менцен, прополз по обнаженной высоте за крестом и у мрачной ограды соснового леса, к стороне Мариенбурга, вскарабкавшись на дерево, которого вершина была обожжена молнией, привязал к нему красный лоскут, неприметный с холма, где были наши путе-

шественики, но видный вкось на мызе. Волнующееся знамя было оставлено в этом положении на несколько минут. Сняв его, Фриц опустился проворно на землю, пробрался тем же путем назад, подошел к лошади нашего цейгмейстера, расстегнул небольшой чемодан, висевший у седла, пошарил везде и вынул куверт[62]. Он был запечатан, но сургуч печати был так худ, что удобно ломался. Не думав много, кучер изломал печать, положил крошки сургуча в камзол, застегнул по-прежнему чемодан и, держа крепко в руках сокровище свое, нырнул в страшное ущелье. Здесь, следя глазами известные ему приметы, он пролезал ужом сквозь кусты, перескакивал через пни, как лань, и, задыхаясь, очутился наконец у огромного, бурею разорванного дерева, далеко уронившего косматый верх свой от дупловатого корня. Там, где треснуло оно, выставились два острые клыка, повыше коих светились два отверстия наподобие глаз. Кругом возвышались столетние вязы, дружно размахнув на жилистых ветвях своих широкотенные щиты; они заслоняли от этого места солнечный свет – настоящее царство мра-

ка и ужаса! Между деревьями и дуплом кое-где торчали памятники великого земного переворота – огромные, красноватые, будто кровью обрызганные, камни, до половины вросшие в мох и представлявшие разные уродливые образы. Ни одна пташка не смела здесь показаться, не только оживить эту пустыню своими песнями. Только изредка шелест листьев, тревожимых ветром, и пресмыкающихся животных казался шепотом злодейского заговора; лишь по временам шуркал перелет филина, и крик его или скрип сухих деревьев, как стоны умирающего под ножом разбойника, жалобно раздавались. Окрестные жители разглашали об этом месте много дивных ужасов, которых и сотую долю не рассказал Фриц нашим путешественникам.

Он осторожно постучался палочкой в дупло раз, потом два, наконец три раза.

– И, – произнес из дупла тонкий голосок.

– *Ли*, – отвечал конюх.

– *Я*, – продолжал прежний голосок.

– *Муромец!* – сказал отрывисто второй.

Вслед за этим словом выскочила из дупла швейцарка. Глаза ее блистали в сумраке, как

ночью два светляка на распускающейся розе.

– Порядочно я вас дожидалась, господин Трейман! – сказала девушка испорченным немецким языком.

– Не могу же я бегать, как ты, швейцарская козочка! мне уж под шестьдесят, Розхен! Да скажи мне, здесь ли наш молодой старшина?

– Вы говорите о господине *Фишерлинге*? – отвечала она, смутившись, и лицо ее вспыхнуло, потом, оправившись немного, она продолжала: – Он был вчера здесь... ждал вас с нетерпением и уехал вчера же. Мне некогда с вами распевать. Угрюмый швед приказал узнать о новостях: кажется, он готов был перешвырнуть меня к вам, как мячик; а теперь того и гляди, что прибьет меня, если я не скоро явлюсь к его милости.

– Передай ему эти бумаги и скажи, чтоб он списал их поскорее, прислал с тобою же немедля и пришел с товарищем на адзельскую тропу; мимоходом шепни ему ж, что «звезда вечерняя» – невеста, «дорожный столб» – жених; пускай делают они из этого что хотят! Отца попроси, чтоб он стал в шагах пятидесяти отсюда с заряженным ружьем. Не

забыть мне чего. Да, да, приведи с собою *Немого*. Теперь все.

Девушка ничего не отвечала, кивнула ему дружески и юркнула в густоту леса. Фриц дождался ее не без сердечного волнения и между тем говорил сам с собою таким образом: «Ну, если вздумается проклятому пушкарю сойти в долину к одру своему и осмотреть чемодан? Пропал я тогда! Вульф прихлопнет меня на месте, как комара, и не даст разу пискнуть. По крайней мере в последний раздохну, служа моему господину, как приказывал мне ему служить умирающий отец его. Не своему брату, знатному дворянину, поручал он сына со смертного одра своего; нет, он поручил его слуге, дядьке, зная, что никто более меня любить его не может, что десять ножей противу сердца этого служителя не вынудят у него измены». Фриц казался тронутым: глаза его были мокры. «Некстати разнежился ты, старик! – примолвил он, утирая глаза рукавом. – Кремень должен высекать огонь, а не воду. Господин мой трудится для блага своей родины, я – для него; Бог нам помощник! Ах! кабы Творец милосердый выбро-

сил из сердца его одно злое семя... Пускай проказничает он со шведами как хочет; здесь доброе намерение – устроить судьбу его братьев-лифляндцев, как он говорит, верю ему и готов с удовольствием положить за него жизнь свою в этих проказах. Но... в делах любовных боюсь сердца его, мягкого как воск и так же, как он, изменчивого; боюсь, чтобы он не скушал бедной овечки! Что будет тогда с несчастным отцом? что будет со мною?..»

С этими словами Фрица одолела вещая грусть; но вскоре, приняв бодрый вид, он положил крестообразно руки на повалившееся дерево, припал ухом ко пню и сделался весь слух и внимание. Минут через пятнадцать вынырнула опять из дупла пригоженькая посланница. Щеки ее горели, грудь сильно волновалась; стоя возле нее, можно было считать биение ее сердца. За нею с трудом выполз *Немой*, пыхтя, как мех; он обнял дружески Фрица и погрозился пальцем на Розу.

– Как устало милое дитя! – сказал конюх, поведя одною рукою по лбу швейцарки, а другую принимая от нее куверт.

– Скоро ли я пришла? – спросила она.

– Ты не шла, а, верно, летела, как птичка.
Что швед?

– Писал, чертил что-то с ваших бумаг и по-тащил товарища, куда вы назначили. Бедный! он, наверно, старинушку понесет, как пастух хворую овечку, а то куда слепому? и зрячему за ним не поспеть!

– Где твой отец?

– Стоит на карауле.

– О! да я его вижу сквозь сучья; он кивает мне головой, добрый старик! Здорово, здорово!.. Ступай же к нему, Розен, и скажи, чтобы он, как скоро увидит красный значок Немого на *высоте креста*, тотчас выстрелил из ружья по воздуху и немедленно воротился домой. Прощай, милое дитя! Бог и ангелы Его с тобою: да избавят они тебя от злого искушения!.. Но ты побледнела, Роза. Не дурно ли тебе от беганья и жару?

– Ничего, так, ничего... пройдет! – сказала она, щипля рукою передник свой.

Фриц глубоко вздохнул и примолвил, качая головою:

– Хорошо б, если прошло! Прощай!

Он поцеловал девушку в лоб, махнул ру-

кою дюжему латышу и погрузился с ним в чащу леса. По приметам, которые Немой еще лучше знал Фрица, потому что ни разу не останавливался, служа уже ему вожатым, они пришли к лошадям. Здесь конюх поднял глаза к небу, чтобы благодарить его за что-то, расстегнул вьюк, положил куверт с крошками рассыпавшейся печати на прежнее место и, опять застегнув вьюк, перевернул его вместе с седлом на бок лошади; потом вынул из чушки[63] пистолет, разрядил его бывшим у него инструментом, положил его по-прежнему, высек огонь из огнива, которое имел с собою, прожег и разодрал низ чушки. Все это было делом минут пяти, не более. Лошади были напоены; из них Вульфова вручена Немому с особенными, строжайшими наставлениями. Сметливый Немой кивал только и, вдруг приняв важный вид, черкнул себе пальцем по шее, как будто желая дать знать, что он отвечает за исполнение головою. По расположению таким образом плана, давно придуманного, конюх спешил отнести дорожные припасы к путешественникам нашим.

Глава шестая

Повесть слепца

Гони природу в дверь, она влетит в окно!

Карамзин

Солнце едва сдвинулось с полуденной точки, палящий зной, ослабевая не приметно, был еще нестерпим. Намет, под которым отдыхал пастор, не раскрывался. Девушка Рабе рассказывала Вульффу, каким образом, после двадцатилетних странствий и бед, наградились верная и нелицемерная любовь *Светлейшей Аргениды*, и вдруг, остановившись, начала прислушиваться.

– Что вы, сестрица? – спросил цейгмейстер.

– Голоса человеческие! – отвечала она. – С адзельской стороны.

– Милости просим, оттуда некому быть, кроме приятелей. Впрочем, я ничего не слышу. Не обманул ли вас ветерок? Правда, теперь и до моего уха что-то коснулось.

В самом деле, сначала невнятно долетал до слуха смешанный говор, как ропот ветерка в

листах, потом стал яснее и громче, и, наконец, показались по тропе из Адзеля два человека, медленно по ней шедших. Наружность их возбудила внимание девицы Рабе. Это были слепец и черноволосый. Последний держал в правой руке круглую шляпу, между тем как другая рука служила спутнику вожатаем и опорой. Он с видимым терпением укорачивал шаги свои, соразмеряя их с ходом старца. Ящик и складной стул были прикреплены на спине его широкими ремнями, которые крестом перехватывали грудь и застегивались наперед двумя медными пряжками. Сверху стула висела еще небольшая котомка. Поравнявшись с девицею Рабе и Вульфом, он приветливо им поклонился. Воспитанница пастора просила жениха своего пригласить странников закусить с ними, чтобы не упустить случая, как она говорила, сделать удовольствие ее воспитателю. Вместо ответа цейгмейстер спешил перехватить путникам дорогу.

– Добрые люди! – произнес он, обратившись к ним. – Вам жарко теперь идти. Не хотите ли отдохнуть с нами и разделить нашу

походную трапезу?

– Благодарю вас, господин офицер, за себя и моего товарища! – отвечал младший путник. – Мы поднялись недавно и хотели только пробраться через рощу, чтобы на конце ее присесть. С удовольствием принимаем радужное предложение ваше и прекрасной госпожи, которой, как я заметил, вы посланник. Товарищ! – продолжал он с нежною заботливостью, обратившись к слепцу. – Мы пойдем теперь без дороги; берегись оступиться.

Слепец, крепко прижавшись к руке своего проводника, побрел еще медленнее. Нетерпеливая девушка спешила к ним навстречу, подхватила старика за руку с другой стороны и провела его к месту своего отдыха, приговаривая между тем:

– Сюда, сюда, дедушка, на эти подушки; тебе здесь будет покойнее.

– Голос... точно знакомый! – сказал встревоженный слепец, прислушиваясь к речам девицы Рабе, как будто стараясь припомнить, где он его слышал. – Голос ангела! Куда бы не пошел я за ним? Сяду и буду делать, что тебе угодно. Господь да пошлет тебе Свое благосло-

вание и да возвеличит род твой, как возвеличил род Сарры и Ревекки[64]!

Товарищ его осторожно снял ношу свою, приставил ее к дереву, молча поклонился еще раз Вульффу и невесте его. Все общество расположилось, по удобствам или по вкусу, кто на подушках из кареты, кто на мураве. Слепец, сидя на двух подушках, возвышался над всеми целою головою: казалось, старость предала в совете красоты и мужества.

– Откуда вы, добрые люди? – спросила Рабе.

– Мы не знаем, откуда и куда идем, – отвечал слепец, – а придем, куда всем, царю и селянину, бедному и богатому, назначена общая гостиница.

– Мы просто странники, – подхватил черноволосый, – идем из Адзеля в Менцен, оттуда проберемся, куда глаза взглянут и сердце позовет.

– Чем же вы живете? – спросила опять девица Рабе.

– Искусством нашим, – отвечал черноволосый. – Я играю на гуслях, товарищ мой на скрипке и поет.

– Попав на эту бедную землю, – продолжал слепец, – все мы живем для того, чтобы дожить; но выполнить этого не можем, не нося тяготы один другого. Он помогает слепцу ходить; мы друг друга утешаем беседою и дружбой; оба, по возможности нашей, доставляем другим удовольствие и за это награждены. Такова в мире в разных видах круговая порука!

– О, да ты и мудрец, как я вижу! – возразил цейгмейстер.

– Много чести, господин! Бродя по белому свету, видеv много людей, изучая природу, можно кое-чему научиться. Впрочем, в великой книге того, кто един премудр, мы читаем еще по указке.

– Ваша родина? – спросила девушка.

– Обоим нам родина Швеция, – отвечал слепец.

Капитан пожал руку старика так, что он поморщился, и воскликнул:

– Камрады-соотечественники! не одного ли поля ягоды?

– Я из Торнео, а товарищ мой из Выборга.

– Мое же гнездо судьба свила почти на перепутье этих мест, именно в Абове. Я центр,

как вы видите, а вы, фланги мои, отныне должны поступить ко мне в команду, и потому...

– Прошу заранее уволить нас от этой чести. Один, дряхлый, будет отставать, другой, может быть, погорячится и уйдет вперед, и ваша линия расстроится.

– Доннерветтер! он рассуждает как старый капитан. Ваше имя и прозвание?

– Мы люди простые, и потому нас просто зовут: меня Конрадом из Торнео, его Вольдемаром из Выборга. Думаю, что этими именами потребуют нас в день последнего суда; разве там прибавят к ним, по делам нашим, новые прозвания!

– Не в лесу же выросли вы, как дождевики! Верно, были у вас отец и мать? Кто твои, молодец?

– Я родителей моих не знал, – отвечал Вольдемар, – впрочем, повесть сиротства, бедности и нужд не может быть занимательна ни для воина, который все это почитает вздором, ни для прекрасной госпожи, начинающей только жить.

– Но ты много странствовал, много ви-

дел? – продолжал вопрошать цейгмейстер таким тоном, каким член комиссии военного суда отбирает по пунктам отзывы от своего подсудимого.

– Я и теперь под чужим небом; видел людей, которые везде одинаковы, – возразил младший музыкант, неплодовитый на ответы и приметно несклонный к откровенности. Голос его в этом возражении отзывался какою-то раздражительностью характера, несогласною с наружностью смиренного странника.

– Ответ короток и убедителен, как приклад часового, поставленного у поста, куда одни избранные, с паролем, имеют право входить. Дозволь, по крайней мере, спросить тебя, ка-мрад: давно ли ты оставил Швецию?

– Лет... если не ошибаюсь... десяток.

– Столько, сколько греки осаждали Трою! Вероятно, сильное время, походы, удары неприятельские стерли с орудия шведского надпись, где оно вылито, и прочее и прочее. Я разумею, что время, странствия, несчастья твои, Вольдемар, могли истребить отечество из памяти и сердца. Ты молчишь? Да, отече-

СТВО.

До сих пор Вольдемар сидел несколько согнувшись, опустив голову на грудь; пасмурное лицо его выражало глубокую задумчивость, из которой выводил его только сильный голос вопрошателя, способный, кажется, разбудить и мертвых от сна; иногда улыбка бродила по бледным устам его; однако ж видно было, что приличие выдавливало ее на них без согласия сердечного или лукавство приправляло ее насмешкою своей. При повторенном слове «отечество» вся сила души его вылилась наружу, как будто в этом роковом слове заключалась единственная власть, могущая приводить ее в движение. Он затрепетал; глаза его засверкали, как мрачная туча образдившею ее молниею; лицо его, доселе помертвевшее, оживилось пробежавшим по нем румянцем; стан его распрямился; изгладись следы бедствий с лица его и заменились печатью возвышенных чувств.

– Отечество?.. Помню ли я его? люблю ль его?.. – произнес странник, и, несмотря, что голос его дрожал, он казался грозным вызовом тому, кто осмелился бы оскорбить его со-

мнением в любви к родине. Но вдруг, будто испугавшись, что высказал слишком много, он погрузился опять в то мрачное состояние, из которого магическое слово вывело его.

– Труба военная не красноречивее твоего голоса протрубила бы атаку перед рядами неприятельскими! – воскликнул цейгмейстер и потрепал дружески Вольдемара по плечу. – Этому коню не нужно давать шпор: видно, какой он породы. Ни слова более! – я тебя понимаю. Но добрых сынов отечества, кроме любви к нему, должно воспламенять другое, столь же святое чувство: любовь и преданность к государю. Правда, ты оставил благословенное северное царство, когда молодой государь твой не вступал еще на престол, и ты, вероятно, в странствиях своих не успел узнать и полюбить его.

– Это правда! Меня... не было тогда в... Швеции, – отвечал младший странник, несколько смутившись и потупив глаза, которыми боялся, может быть, встретиться со взорами его собеседников, чтобы они не прочли в них исповеди его помышлений. Потом, оправившись несколько, он продолжал до-

вольно твердо: – Люблю государя своего, как могу. Чего хотеть возвышенного и постоянно-го от странника? Впрочем, вы не исповедник, я перед вами не кающийся грешник и не обязан давать вам отчета в делах своих, еще менее в своих чувствах. Придет, может быть, время, вы узнаете меня короче.

– Я не имею права атаковать приятельскую фортецию[65], где заперлась твоя тайна! – с усмешкою произнес Вульф и начал ломать голову насчет таинственного странника.

– Всякий человек есть загадка, – возразил слепец. – Добрая госпожа! мне слышалось, вы о чем-то спрашивали меня. Мы, люди старые, тугоньки на ухо.

– Нет, дедушка, – отвечала Катерина Рабе, бывшая доселе внимательною слушательницей разговора, которым жених ее завладел, и теперь обрадованная, что ей давали случай быть участницей в беседе. – Я не спрашивала, хотела бы спросить: правда ли, что на родине твоей среди лета солнце не садится, а среди зимы не бывает дня?

– Правда! Там горнило Божиих чудес. Край этот очень, очень далеко отсюда.

– Как же ты, слепой, сюда зашел?

– Перст Провидения указал мне друга, и он довел меня сюда. Юность любопытна; вижу, от нее не скоро отделаешься простыми ответами.

– Да, не скоро, дедушка! – примолвила собеседница с лукавой откровенностью.

– Вам хочется, добрая госпожа, узнать повесть моей жизни. Не всякому ее рассказываю; но – не знаю, почему я полюбил вас так скоро, – от вас не утаю ее.

– Расскажи, пожалуй, Расскажи, мой хороший, мой добренький старинушка!

– Слушайте ж. Я родился там, как вы сказали, где среди лета солнце, не отдыхая, совершает путь свой, где несколько зимних дней – круглая ночь, как для слепца все дни жизни его. Отец мой, бедный ремесленник, жил в деревушке близ Торнео, он выделывал кожи диких зверей; матери я никогда не видал. Я был у него один как перст. Природа странно создала меня: в те лета, когда другие рвут играючи цветы на лугу жизни, я бегал детских игр, я уж задумывался и, тревожимый непонятным чувством, искал чего-то, сам не зная чего. От-

року, дома мне было тесно, мне было душно. В прогулках своих я не любил ходить по спокойным пробитым дорогам; нет, я старался быть там, где следа человеческого не видано, кроме моего, куда можно было пройти с опасением упасть и погибнуть или с радостною надеждой быть там первым. Как векша[66], вскарабкивался я нередко на один любимый утес мой, выдавшийся в море. По целым часам сиживал я на скале. С нее взорами скользил я по необозримой равнине вод, спокойных и гладких, словно стекло, то любовался, как волны, сначала едва приметные, рябели, вздымались чешуей или перекатывались, подобно нити жемчужного ожерелья; как они, встревоженные, кипели от ярости, потом, в виде стаи морских чудовищ, гнались друг за другом, отрясая белые космы свои, и, наконец, росли выше и выше, наподобие великанов, стремились ко мне со стоном и ревом, ширялись в блестящих ризах своих. Казалось, хотели они обхватить меня своими объятиями, которых холод я уже ощущал, и, ударяясь об утес, ропотно исчезали. От домашней трапезы убежал я смотреть на радужную игру се-

верного сияния. Когда другие спали крепким сном, в полуночные часы спешил я украдкой, с трепетом сердечным, как на условленное свидание любви, проводить утомленное солнце в раковинный дворец его на дно моря и опять в то же мгновение встретить его, освеженное волнами, в новой красоте начинающее путь свой среди розовых облаков утра. Сколько раз в тиши осеннего вечера, один под открытым небом, усеянным звездными очами, освещенным великолепным ночником мира, терялся я умом и сердцем в неизмерности этой пустыни, исполненной величия и благодати творца! В эти дивные, таинственные мгновения никто не мешал мне беседовать с моим Богом. Я забывал тогда дом, деревню, отца – все, что только знавал от рождения; мне казалось – я был один в свете, я сбросил с себя в прах земную оболочку: мне было так легко, так сладостно... Изъяснить это никто не может; чувствовать же можно только во дни отрочества, когда демон страстей не разочаровал еще нашей жизни. Со слезами на глазах засыпал я там, где заставляли меня эти чары блаженства неземного. На

другой день встревоженный отец, следя полуночника по мхам и кустарникам, находил меня спящим под открытым небом. Хищные звери могли бы съесть меня! За мои побеги я был строго наказываем.

– И поделом! – примолвил Вульф. – Лучше было помогать отцу работой и молиться дома, чем шататься, как сумасбродный, куда глаза глядят, без цели и пользы. Ты, верно, скоро исправился?

– Вы не отгадали, господин, я никогда не исправлялся, как лоза тростниковая, которую можно гнуть, втоптать в землю, исторгнуть с корнем, а не переломить. Отец мой думал по-вашему; так же рассуждали соседы наши, говоря: «Прежде, нежели на этом малом пуков десять розог не переломаешь, из него ничего доброго не выйдет». Они не знали, и вы, господин, не знаете, как трудно побеждать сильные врожденные склонности; вам неизвестна эта жажда удовлетворять им, эта грусть, рождающаяся от препятствий. Запрещаемое сделалось для меня еще привлекательнее: так бывает обыкновенно. Через несколько времени все, что я видел великого, ужасного, пре-

красного в мире, все, что теснилось в грудь мою, я хотел высказать, но высказать не простым разговорным языком; нет, по своему, странному характеру своему, я хотел это выполнить каким-то особенным, размеренным языком, о котором дал мне понятие один английский купец, приезжавший каждое лето в Торнео и оттуда заходивший всегда в нашу деревушку для покупки кож. Он любил меня, узнав мою склонность к поэзии, как он говорил; давал отцу моему хорошие барыши, чтобы он не наказывал меня за своевольство; нередко, в прогулках своих, брал меня с собою и читал мне что-то из книги. Он называл ее *«Потерянный рай»* [67]. Я ничего не понимал, но мне было приятно, очень приятно его слушать; не зная языка, мог я, однако ж, с помощью слуха сказать ему, что он читал: песни ли ангелов, у престола Всевышнего поющих ему хвалу чистого сердца, или безумный ропот беснующихся на творца своего, бунтующий ад или красные, райские дни. Я мог, согласно понижению или возвышению голоса, разделять ударами руки моей какую-то правильную меру. Часто говорил я сам

с собою, читал вслух создания восторженной души, повторял их и выучивал на память. Наконец, для меня не довольно было, что картины, мною изображаемые, казались мне живыми сколками с природы; не довольно было, что я сам наслаждался ими: я желал, чтобы и другие чувствовали все красоты их, чтобы они их хвалили. Когда я прочел на память одно из своих произведений отцу моему, он назвал меня сумасшедшим и с угрозами посадил за работу; когда я прочел его одноземцам своим, они покачали головою и молча со страхом отошли от меня, как от чумного. С нетерпением ожидал я лета. Оно пришло, и с ним явился англичанин, который один разумел меня. Услышав мои поэтические видения, как он называл их, он обнял меня крепко и, поцеловав в голову, сказал: «Ты – поэт! в Лондоне, в Стокгольме поняли бы тебя». Он присовокупил, что там выучился бы я писать и передавать бумаге творения свои так, чтобы они не умирали. Много, очень многое говорил он мне тогда, чего теперь не припомню. С того времени слова его беспрестанно отзываются в моем сердце; они не давали мне

покоя и во сне. «Ты – поэт!» – твердил мне беспрестанно какой-то демон. Я не выдержал, я бежал из дому родительского и направил путь мой в Стокгольм. Мне было двадцать лет. Много странствовал я, много терпел нужды и, за чем пошел, того не нашел. Как бродягу, в Рангедале остановили меня и записали в солдаты.

– Порядочная холодильня для стихотворного жара! – прервал речь его цейгмейстер. – Зато с этого времени повесть твоя начнет разогреваться воспоминанием солдатской жизни. Признаюсь, старик, люблю слушать рассказы изувеченного солдата о трудных походах, любимых полководцах, жарких сражениях. Полки движутся, делятся, строятся; стрелки вперед – как бесенята, перекидываются мячиками; дуру-бабушку с костылей долой: мигнул ей глазом – паф! и заколыхалась колонна неприятельская. Весело сердцу артиллерийскому! Летучие сметили проказы старушки и понеслись докончить палашом, что начала пушка: поле, как мост понтонный, стонет и, кажется, – зыблется от топота конницы: врезались, смяли, сокрушили, и – наша

взяла! Виват! Здесь все жизнь, все движение!
Вот что я люблю послушать, доннерветтер!
Вот тогда-то я ушами вижу, сердцем слышу! А
что мне до мяуканья, с кашлем пополам, ва-
ших стихотворов на козких ножках:

*Фиялочка прелестна!
Почто в лесу цветешь?*

или:

Она сидит, она глядит...

и с места ни шагу!

– Иному талант, иному другой, – возразил слепец с некоторой досадой. – Привычка – вторая природа. Сколько ни стучи по натянутому на барабане пузырю, он ничего не издаст, кроме однообразных звуков, прошу не погневаться.

– Старик! – вскричал Вульф, как порох, вспыхнувший от гнева. Он хотел что-то при-совокупить, но девица Рабе убедительно посмотрела на него, и слова замерли на его устах.

– Оставьте меня слушать занимательную повесть старика, – сказала она, кивая цейгмейстеру, – он для меня ее рассказывает.

– Уж конечно, не для солдата! – примолвил слепец с сердцем. – На чем, бишь, мы остановились? Да, помню, помню! Волей или неволей дал я присягу шведскому королю служить ему. Казармы, стук ружей, приказы грозного капрала, военные эволюции, а иногда и экзекуции пробудили меня от сладкого сновидения. Воображение мое угасло, сердце одеревенело. Земля представилась мне смрадною глыбой; страсти, подобно гадам, выползали из нор своих и окружили меня; кандалы моего существования влачили по пятам моим. С лишком восемь лет был я под ружьем. Начальники называли меня бестолковым солдатом, товарищи – тюленем. Я искал утешений. В часы досуга я выучился играть на скрипке у органиста одной из церквей упсальских, где полк наш стоял гарнизоном. Он же был моим учителем чтения. Первая книга, которую я уразумел, была Псалтырь. Горячие слезы, капавшие на эту книгу, исполняли душу мою высшим наслаждением; с ними я обрел опять моего Бога. Время искуса прошло, и я, за слабостью зрения, получил отставку. Стряхнув у городского порога всю нечистоту неволи, я

полетел на родину. Но как там все переменялось! Вместо дома отца я нашел его могилу. Можете судить, что я, неблагодарный, безрассудный сын, чувствовал, припав на нее! Виновник смерти отца, думал я, куда мне было обратиться? Я хотел видеть предметы, некогда мне любезные; и что ж: море показалось мне обширным гробом; над любимым моим утесом вились вещице враны, в ожидании, что приветливая волна подарит им для снеди остатки того, что был человек; черные, угрюмые тучи застилали от меня звездное небо; стон ветра нашептывал мне проклятия отца. Я спешил удалиться от этих ужасных мест. Долго скитался я по селам; товарищ, столько же верный, как и горе, скрипка доставляла мне пропитание, песни божественные – утешение. Томимый жаждою познаний, я возвратился, свободный, туда, где жил поневоле. Сначала определен я при Упсальском университете привратником, потом, долго ли, скоро ли, сделался в нем студентом. Смейтесь, господин офицер! вы видите перед собою упсальского студента богословия и поэзии!.. Мне ль оскорбляться вашим смехом – и об

Нем, чудясь, спрашивали: откуда Ему сие?.. Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделался главою угла? От Господа сие соделалось, и есть дивно в очах ваших?.. В университете любил меня особенно один профессор, Томас Бир...

– Извините меня, господин цейгмейстер и вы, фрейлейн! – сказал Фриц, подкравшийся к собеседникам и начинавший раскладывать разные блюда с закускою, на дорогу запасенною.

– Ты нас испугал, Фриц! – прервала его девица Рабе.

– Виноват! – продолжал кучер с лицом светлым, как полный месяц в морозную ночь, потирая себе ладонями по груди, будто у него что-нибудь тяжелое отходило от сердца.

– Я обрадовался, что вижу людей живых в этой долине; между тем услышал о Бире и хотел спросить: не сын ли его наш Адам?

– Сумасшедший, как отец его! – возразил цейгмейстер. – Тот смотрел все на небо, предвещал конец мира и едва ли не уморил себя и свое семейство в богадельне; этот все смотрит

под ногами и болтает беспрестанно об усовершенении рода человеческого!

– Пускай это говорят те, которые сами не видят далее ядра, пущенного наторелым бомбардиром! – воскликнул слепец с негодованием. – Да, я знаю Адама; он любил меня, как родного, когда я был еще привратником. Отец его прикрыл наготу моего ума и души крылом серафима. Божий человек! Он был добр, яко голубь, и мудр, яко змий. Ему дано было свыше уразуметь таинства природы, слагать слова из великих букв ее, начертанных перстом Всемогущего на небесах, на каждой былинке и камне, во взорах, на челе и руках смертного. И это называете безумием вы, слепотствующие очами душевными, вы, которые боитесь оторвать от праха звено, приковывающее к нему дух ваш? Персть[68] и в персти погрязли! Злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, иже воздадут ему плоды во времена своя.

Грудь слепца сильно волновалась; негодование перехватывало слова его; также и Вульф едва удерживал свою досаду. Вольдемар, положив руку на колено старика, ласко-

во прервал его речь:

– Друг! ты забыл о своей повести.

– Скоро конец ее! я это знаю... Да... помню, помню... я сделался болен. Неизвестно мне, долго ли страдал я, чем, куда девался мой благодетель, сын его, что со мною было; известно мне только, что после моей болезни я ослеп. Поверите ли, добрая госпожа, с того времени я весь обновился: казалось, спало с меня проклятие отца и с ним бремя жизни; возвратились ко мне первые дни моей юности и с ними все, что меня обворожало. Слепой, я прозрел. Не одни картины прежнего знакомого мне моря, любимого утеса, северного сияния и неба, прекрасного ночного неба во всем его великолепии, со всею Божьею благодатью, обстают меня: часто представляются мне такие дивные видения, за которые цари заплатили бы горами золота. Вскоре Провидение даровало мне новое благо. Вольдемар нашел меня, где – не знаю; он так же, как и чудные видения мои, не покидает слепца. Я свободен, счастлив. Чего мне желать более? Когда же Вечный воззовет меня к себе, последняя молитва моя, чтобы в минуты смерти просияло

надо мною прежде, знакомое небо моей юности и рука единственного земного друга захватила на сердце последнюю искру жизни, этот последний завет ему любви моей. Товарищ! где ты? дай мне руку свою.

Так кончил слепец повествование свое, и высохшая рука его крепко сжала руку вождя и друга.

Глава седьмая

Видение

*Что прежде сбылось, что будет вперед,
О чем ты замыслил и что тебя ждет,
Все знаю!..*
Подолинский

Девушка Раба слушала Конрада из Торнео с видимым участием; неоднократно, в продолжение рассказа, слезы навертывались на глазах ее. Она выразила свою благодарность с таким добросердечием, к тому ж в звуках ее голоса было для слепца столько могущественного, что он не раскаивался в откровенности своей...

Цейгмейстер думал: «Недаром этого чудака на родине его называли безумным – в жизни его не вижу ничего рассудительного, основательного».

Прекрасная спутница изъявила желание посмотреть на гусли, ею никогда не виданные, и Вольдемар спешил удовлетворить любопытство ее, не только раскрыв их, но и объяснив их устройство. Внимание рассматривавших этот инструмент привлекла также раскрашенная картинка, приклеенная ко внутренней стороне крыши. На ней грубо изображены были несколько густых деревьев, среди которых сидел в гнезде урод необыкновенной величины: он надувался и выпускал из огромного рта воздух наподобие снопа лучей. Против него гордо выезжал на борзом коне рыцарь, устремив на противника стрелу по натянутому луку. Под картинкою начертано было строк до двадцати на неизвестном для наших наблюдателей языке.

– Ба, ба, ба! – вскричал Вульф. – Если б не борода, я принял бы молодца на дереве за майора трабантского[69] его королевского величества полку, Фейергрока, когда он из-за

батареи стаканов и бутылок пускает в подступающих к нему фузеи[70] табачного дыма. Смерть на пуховике, если я лгу! Расскажи-ка, любезный, что изображается на этой картинке и что за тарабарщина написана под нею?

– Картина взята из русской сказки «Илья Муромец», – отвечал Вольдемар. – Храбрый, великодушный рыцарь, защитник родной земли, стариков, детей, женщин – всего, что имеет нужду в опоре храброго, едет сразиться с разбойником, которого называют *Соловьем*; этот Соловей, сидя в дремучем лесу на девяти дубах, одним посвистом убивает всякого, на кого только устремляет свое потешное орудие. Под картинкою русские стихи.

– Откуда ж шведу могло достаться это малеванье? – спросил цейгмейстер.

– Несколько лет тому назад я сам был в России.

– В Московии, хочешь ты сказать? Ах, это очень любопытно, – подхватила с живостью собеседница.

– Я пошатался и по России, – чего не делает нужда! – прожил несколько лет в резиденции царя, в Москве, научился там играть на гус-

лях и языку русскому у одного школьника из духовного звания, по-нашему – студента теологии, который любил меня, как брата, и, когда я собрался в Швецию, подарил мне на память этот ящик вместе с картиною, как теперь видите. С того времени берегу драгоценный дар московского приятеля. О! чего не напоминает он мне!

– Поэтому Московия не совсем варварская сторона, как ее описывают, вероятно, неприятели ее? – спросила девица Рабе. – Поэтому и там любят искусства?

– Начинают любить, – отвечал гуслист. – Царь Алексей Михайлович и его сын Федор уж много сделали для просвещения России. Другой сын его... но он враг Швеции: я не смею говорить об нем.

– Почему ж, мне кажется, не хвалить хорошего и в неприятеле? Батюшка рассказывал мне, что Петр – великий государь, достойный поравняться с нашим Карлом. Имел ли ты когда-нибудь счастье, добрый странник, видеть его?

При этом вопросе Вульф насупил густые брови. Вольдемар, приметно смутившись, от-

вечал:

– Да... я его видал. Наружность героя и царя в полном смысле! Взгляд его... ах! этого взгляда никогда не забуду!

– Странник! – возразил цейгмейстер с обыкновенным жаром и необыкновенным красноречием. – Ты говоришь о геройстве и величии царей по чувству страха к ним, а не благородного удивления. Всякий говорил бы так на твоём месте, встретив в первый раз грозного владыку народа. Простительно тебе так судить в твоём быту. (Вольдемар с усмешкой негодования взглянул на оратора, как бы хотел сказать: «Не уступлю тебе в высоте чувств и суждений!» – и молчал.)

Вульф продолжал свою речь:

– Ты не смотрел в очи северному льву; ты не видел Карла в ту минуту, когда он, по колена в воде, вступал на берега Дании, встреченный тучею пуль неприятельских и с жадностью прислушиваясь к свисту их. «Отныне шум этот будет моею любимой музыкой!» – сказал двадцатилетний герой, и голубые глаза его воспламенились в первый раз огнем мужества, которое с того времени не потуха-

ло; лицо его вспыхнуло первым желанием победы и осенилось первою думою о способах побеждать. Я слышал эти слова, я видел этот взгляд, поймал на лице его выражение души великой и, признаюсь, доннерветтер, за эти минуты готов бы целую жизнь мою держать стремя у Карла. С воспоминанием о них умру сладко. Да! пока мысль может ловить эти минуты, русский не возьмет ни одной батареи, на которой я буду! Клянусь в том концом шпаги Карла Двенадцатого. Вульф не отдастся живым в плен, и мертвеца с этим именем не соберут остатков на поругание его.

Все слушали цейгмейстера с особенным вниманием. За речью его последовала минута молчания, как после жаркой перестрелки настает в утомленных рядах мгновенная тишина. Каждый из собеседников имел особенную причину молчать, или потому, что красноречие высоких чувств, какого бы роду ни были они, налагает дань и на самую неприязнь, или потому, что никто из противников военного оратора не мог откровенно изъяснить свои чувства. Вульфу, после краткого отдыха, предоставлена была честь первого вы-

стрела.

– Виват! – воскликнул он торжественным голосом. – Моя канонада оглушила вас до того, что вы стали в тупик и забыли спросить, о чем проповедует мой Фейергрок с высоты своей лиственной кафедры. Прочитай-ка нам, любезный камрад, русские стихи, написанные под картиною.

– С удовольствием, храбрый и любезный капитан! – отвечал Вольдемар и начал читать стихи:

*Наезжал Илья на девяти дубах,
И наехал он Соловья того,
И слышал тут разбойник сей
Того ли топу конинова
И тоя ли поездки богатырския;
Засвистал он по-соловьиному,
А в другой зашипел по-змеиному,
А в третий зарывкал по-звериному —
Под Ильею конь окарачился...
Вынимает он калену стрелу
И стреляет Соловья-разбойника...*

– Как мне нравится этот язык! – сказала девица Рабе. – Попрошу господина пастора, чтобы он выучил меня ему.

– Может быть, придет время, что вы станете учиться русскому языку; может быть, лифляндцы...

– Лифляндцы? никогда! – прервал с досадою Вульф. – Ты забыл, швед, что страна здешняя находится под владычеством непобедимого Карла. Скорей повесит он свои шпory к большому колоколу московскому и заставит его говорить на своем языке, чем лифляндцы будут вынуждены когда-либо знать по-русски. Предоставим одной сестрице моей Рабе учиться варварскому наречию у всезнающего нашего Глика, именно для того, что я не люблю русских дикарей, или потому, что она с некоторого времени имеет особенное пристрастие к Алексеевичу.

– Шутите сколько угодно, братец Вульф, а я в своем пристрастии тверда, – возразила Катерина Рабе. – Уважаю, боюсь даже Карла, героя, победителя, с его голубыми глазами, блистающими умом военным, которого у него никто не отнимает; но люблю Алексеевича, зандамского плотника, солдата в своей потешной роте, путешественника, собирающего отвсюду познания, чтобы обогатить ими свое

государство; люблю его, несмотря, что он неприятель моего короля... Может быть, я это говорю потому, что мне это натвердил и крепко внушил мой благодетель. Впрочем, что может суждение бедной, неизвестной сироты на весах, где лежат окровавленные шпаги?

Девушка Рабе произнесла эти слова с особенным сердечным волнением: взоры ее блистали необыкновенным огнем, щеки ее горели.

– Вот какими бреднями опутал голову моей сестрицы велемудрый господин пастор! – воскликнул цейгмейстер, пожимая плечами. – Безмолвствую перед ней... но ты, швед? – продолжал он, обратившись к младшему страннику с видом упрека.

– Не принимайте слов моих в худом смысле, господин офицер. Верьте, что никто более меня не желает долгоденственной славы моему отечеству. Я хотел сказать, что два великие народа...

– Два великие народа? Гм! Видно, свои и чужие согласились бесить меня... – возразил цейгмейстер. – Однако ж продолжай, продолжай. Хочу выпить горькую чашу до дна.

– Шведы с русскими могут помириться; тогда произойдут большие перемены в здешнем краю; торговые, дружеские сношения скрепят союз лифляндцев с соседями их; тогда, может быть, эта прекрасная госпожа захочет съездить во Псков, в Москву.

– Что ей там? чего там смотреть: не Соловья ль разбойника?.. Скорей она поедет в Стокгольм.

– Неисповедимы пути Господни! – произнес слепец. – Кто знает, какой путь написан ей в Книге судеб.

– Ей, Катерине Рабе, написано быть за шведским офицером. Катерине Рабе, приемышу пастора Глика, кажется, не бесчестно идти за королевско-шведского цейгмейстера. Понимаете ли вы, странники? – вскричал Вульф раздраженным голосом, который испугал даже невесту его.

Слепец, казалось, не слышал этих восклицаний; схватив дрожащую руку девушки, он забылся в каком-то внутреннем созерцании; незрящие очи его горели; наконец, возвысив вдохновенный голос, как бы презирая в небе:

– Вижу, – сказал он, – вижу: из сумрака вы-

ступают дева, любимица небес; голова ее поникнута, взоры опущены долу, волосы падают небрежно по открытым плечам; рдянец стыдливости, играя по щекам ее, спорит с румянцем зари утренней, засветившей восток. Встает алмазная гора, дивною рукой иссеченная. Оступилась дева на первой ступени, еще ночью тенью одетой, смиренно преклоняет колено – и вздох, тяжелый вздох, вылетает из груди ее. Вскоре, обновленная жизнью неземной, встает и шествует далее, не поднимая очей своих. Еще четыре ступени, и готов алтарь... и розовый венец обвивает ее прекрасное чело. Старец совершает над нею дивное таинство. Взоры ее уже не опущены долу, волосы искусно подобраны назад. Изумленная, она озирается кругом: она не верит своему счастью, но уже его ощущает. Еще четыре ступени – и розовый венец сменен алмазною короною...

– Сумасшедший! Ха, ха, ха!

– Смейся!.. я тебе говорю: *на деве, которую я видел, лежит корона!* Эта рука мне знакомая. Я смотрел ее некогда у десятилетней девочки в Роопе, в пятый день апреля.

– В Роопе?.. Я там жила... – сказала испуганная и вместе изумленная девица Рабе, потирая себе пальцами по лбу, как бы развивая в памяти прошедшее. – Пятое апреля день моего рождения...

Между тем и Вольдемар обратил на нее свои пронизательные взоры; он, казалось, узнавал в ней давнишнюю знакомую.

– Не припомните ли, – спросил он ее, – двух странников, похожих на нас? Один был помоложе меня, другой такой же слепец, как и товарищ мой. Может статься, что вы их видели лет восемь назад?

– Да точно, припомню, как будто сквозь туман, – отвечала девушка, понемногу ободряясь, – странники были похожи на вас; они тогда зашли на двор к господину пастору Дауту, у которого я жила в услужении.

– Смиряй себя вознесется! – воскликнул слепец.

– Подле меня стояла большая датская собака, которая напугала прохожих.

– Я вздрогнул от ужасного лая собаки; такого еще никогда не слыхивал: мне показалось, что буря заревела, сорвавшись с цепи своей.

Невольню прижался я к руке своего молодого товарища.

– Тогда, – примолвил Вольдемар, – прекрасная малютка, – как теперь вижу, – приняв гневный вид и грозя пальчиками своими, повелительным голосом закричала на собаку: «Смотри, Плутон, берегись, Плутон!»

– Точно! у нас была собака этого имени, – сказала девица Рабе, покраснев.

– И лай собаки затих, как замирает буря на голос повелителя стихий!

– Грозное животное, – прибавил младший путник, – легло с покорностью у ног своей маленькой госпожи, махая униженно хвостом. Тогда-то слепой друг мой захотел увидеть поближе дитя; он взял ее за руку и осязал долго эту руку. Тут закричала на нее хозяйка дома, грозясь... даже побить ее за то, что впустила побродяг. Товарищ мой, сам прикрикнув на пасторшу, сказал то же, что он теперь говорил вам, держа вашу руку.

– Бедные! вас тогда выгнали за меня со двора и не дали вам даже напиться.

Вульф, молча, с коварною усмешкой слушал этот разговор обоих странников с деви-

цею Рабе и вдруг разразился каким-то диким, принужденным смехом, но вскоре, одумавшись, просил у нее прощения, просил даже прощения у Конрада из Торнео. «В самом деле, над кем смеяться мне? на кого мне сердиться? – говорил он про себя. – Одна – женщина, другой – убогий, сумасшедший старик!» Катерина заметила ему только, что громким смехом своим мог он разбудить пастора. В самом деле, заметно было по движению колебавшегося зеленого намета, что Глик просыпался. Гуслист, предупрежденный догадливою собеседницей о соседстве его, посмотрев сначала на Фрица, тихо условился о чем-то с товарищем, подал слепцу скрипицу, поставил свой музыкальный ящик на складной стул, и пальцы его запрыгали по струнам. Звуки возвышенные, трогательные звуки раздались по роще. Слепец, вторя ему на скрипке, дрожащим тенором с особенным чувством запел под музыку своего товарища псалом: *«Господь пастырь мой, я не буду в скудости»*. Невольно присоединила к ним голос свой девица Рабе, сначала изумленная и обрадованная нечаянным подарком музыкантов. (На-

добно заметить, что в мариенбургской кирке приятный и возвышенный голос ее господствовал над многочисленным хором прихожан.) Вульф поникнул головой; сам Фриц забылся на время и, казалось, молился. Пастор, как бы обвороженный, остался неподвижен в том самом положении, в каком застал его первый стих божественного песнопения. Несколько мгновений после того, как звуки умолкли, он начал протирать себе глаза и не знал, верить ли ушам своим: ему казалось, что все это слышал он во сне.

– Папахен! тебе нездорово так долго спать, – сказал ему знакомый голос и вывел его из этого обворожения.

Воспитанница объяснила ему всю тайну концерта, составленного так неожиданно; рассказала ему о старинном знакомстве своем, ныне подновленном, о занимательной повести слепца, об участии, которое оба странника так сильно возбуждали к себе, хотя один из них казался несколько помешанным в уме; и, предупредив таким образом своего воспитателя в их пользу, она спешила свести их вместе.

Пастор скоро полюбил поэтического старца и таинственного его спутника. Он терялся в различных догадках насчет последнего, тем более что странническому состоянию его изменяла благородная наружность вместе с возвышенностью мыслей и чувств, по временам блиставших из кратких ответов его, как золотая монета в суме нищего. Вольдемар был неразговорчив, и, когда примечал, что с ним хотят сблизиться откровенностью и ласками, что любопытство искало слабой стороны, куда могло бы проникнуть до тайны его жизни, он облекал себя двойною броней угрюмости и лаконизма. Догадливый товарищ его в затруднительных случаях приходил к нему на помощь речениями из Священного Писания и поэтическими видениями.

Гусли были снова открыты и рассмотрены. Картина возбудила в пасторе смех; однако ж он находил в ней нравственный смысл, добирался источников ее в северном мифе и доказывал, что Московия имела свой век рыцарства; но чего он не открыл, так это внутреннее убеждение, что странное изображение Ильи Муромца и Соловья-разбойника имело

отношение к единоборству двух современных, высших особ. Музыкальный инструмент сравнивал он с арфой или с коклею[71], положенной в ящик; полагал, что можно бы употребить его в церквах вместо органов и что играющий на одном из этих инструментов может скоро выучиться и на другом. Тотчас блеснула в сердце его счастливая мысль: «Органист мариенбургский стар и давно просится на покой – вот удобный случай заместить его молодым музыкантом! Сверх того Вольдемар будет ему хорошим помощником для усовершенствования его в русском языке. Слепца можно пристроить в богадельню». Все это скоро придумано, и предложение сделано. Конрад ничего не отвечал; он предоставлял товарищу говорить за себя и за него самого. Вольдемар и не ожидал его ответа: от имени обоих благодарил он пастора, обещал воспользоваться великодушными его предложениями только для того, чтобы посетить его и побывать в Мариенбурге на короткий срок; присовокупил, что странническая жизнь, может быть унизительная в глазах света, не менее того сделалась их потребностью, что осед-

лость, вероятно, покажется им ограничением их свободы, всегда для человека тягостным, и что поэтический, причудливый характер друга его, которому было тесно и душно в доме родительском, не потерпит на себе и легких цепей единообразной жизни богадельни. Эти причины, и особенно привязанность его к старцу, не позволяли ему ни за какие блага расстаться с ним и оставить его снова одного в пустыне мира. Вольдемар повторил еще, что непременно скоро постараются они быть в Мариенбурге и посетить дом благословения Божия: так называл он жилище Глика. Молчал слепец; но приметно было, что улыбка душевного удовольствия перебежала по устам его. Он другого ответа и не ожидал от своего товарища. Глику никогда не нравилась странническая жизнь, под каким бы видом она ни была; несмотря на это и на отказ новых знакомцев, не охладела в нем надежда пристроить их со временем около себя, продлив их пребывание в Мариенбурге всем, что могло принести им утешение и спокойствие, заставить их полюбить семейную жизнь и таким образом сделать ручными этих гордых зверей

северных лесов.

Полдник давно ожидал путешественников; он состоял из домашнего сыра, лоснящейся от копоти рыбы и пирога с курицею и яйцами, румяного, хорошо начиненного. Пастор прочитал вслух приличную случаю молитву; каждый про себя повторил ее в глубоком благоговении. После того расположились все в кружок около походной трапезы. Девушка Рабе села возле слепца, которому взялась сама прислуживать. Отведавши бледного сыра, принялись за пирог, более приманчивый; сделать в нем брешь предоставлено было артиллеристу, вооруженному столь же храбрым аппетитом, как и духом; другие, уже по следам его, побрели смелее в пролом и dokonчили разрушение пирога. Так в малом и большом ведется на свете!

Когда дело дошло до копченых язей, пастор принялся рассказывать, что рыба эта ловится только в Эмбахе, близ Дерпта.

– Некогда, – сказал он, – смиренные братья аббатства Фалкенаусского, основанного близ берегов Эмбаха первым епископом дерптским, Германом, накормили язями итальян-

ского прелата, присланного от папы для исследования нужд монастырских, напоили monsignore[72] пивом, в котором вместо хмеля был положен багульник[73]. Вдобавок они свели его в жарко натопленную комнату, в которой – о ужас! – поддавали беспрестанно водою на горячие камни, секли себя немилосердно пуками лоз и, наконец, окачивались холодною, из прорубей, водою. Вследствие несварения желудка своего от язей и пива с багульником прелат заключил, что монастырь крайне беден, а вследствие банных эволюций, напугавших его, приписал в донесении своем святейшему отцу следующее восклицание: «Великий Боже! уж сие-то монастырское правило слишком жестоко и неслыханно между людьми!» Из этой исторической драгоценности наш пастор выводил свое заключение, что лифляндские природные жители переняли обыкновение париться в банях от русских, во времена владычества великих князей над Ливонию. От слова «владычество» быть бы опять раздору между археологом и Вульфом, когда б на этот раз не случилось необыкновенного происшествия, опро-

кинувшего все вверх дном в уме наших путешественников.

Не в дальнем от них расстоянии, к стороне, где стояли карета и лошади, послышался выстрел.

– Что бы это значило? – говорили, смотря друг на друга, встревоженные собеседники, кроме Вульфа, которого первое дело было взяться за карабин, а второе – бежать в ту сторону, откуда раздался выстрел. За ним последовал Вольдемар, также осмелился вздуть полегоньку свои паруса Фриц, доселе внимательный слушатель всего, что говорено было, и усерднейший прислужник хозяевам и гостям. Пастор со своею воспитанницей остался на твердой земле. Ему вспало на ум, что небольшой отряд русских фуражиров перебрался в Долину мертвецов и напал на баронессиных лошадей. Он спешил сам вторгнуться в арсенал своей памяти и начал опрометью рыться в нем, чтобы найти приличное оружие, если не для отражения неприятеля, по крайней мере, для убеждения и смягчения его сердца; то есть он собирал разбросанные в памяти своей русские сильнейшие выраже-

ния, какие только знал. Из них составил бы он речь ex abrupto[74], которая могла бы в несчастном случае так сильно подействовать над ожесточенными неприятелями, что они должны бы признать себя побежденными и преклонить грозные оружия к ногам оратора, как трофеи его красноречия.

Выстрелы не повторялись; все было тихо. Конечно, Марс не вынимал еще грозного меча из ножен? не скрылся ли он в засаде, чтобы лучше напасть на важную добычу свою? не хочет ли, вместо железа или огня, употребить силки татарские? Впрочем, пора бы уж чему-нибудь оказаться! – и оказалось. Послышались голоса, но это были голоса приятельские, именно цейгмейстеров и Фрицев. Первый сердился, кричал и даже грозился выколотить душу из тела бедного возникшего; второй оправдывался, просил помилования и звал на помощь.

– Несчастный погибает! Чего доброго ожидать от этого бешеного пушкаря? – сказал Глик; для вернейшей диверсии[75] позвал свою воспитанницу с собою и, оставив слепца одного на месте отдыха, поспешил с нею в до-

лину, чтобы в случае нужды не допустить завязавшегося, по-видимому, дела до настоящего побоища. Спустившись с холма, увидели они следующее: цейгмейстер, с глазами налитыми кровью, с посинелыми губами, кипя гневом, вцепился в камзол кучера, который, стоя перед ним на коленях, трясся, как в лихорадке. Между тем Арлекин и Зефирка, вытянувшись, мчались по лугу из стороны в другую; уши их прилегли назад, грива их поднялась, как взмахнутое крыло. Тощего Вульфова коня не было видно.

– Куда девалась моя лошадь? – вопил в бешенстве цейгмейстер, немилосердно тормоза своего пленника. – Почему не смотрел ты за нею? Говори, или ты отжил свой век – ложись живой в землю!

– По... поми... лосердуйте, господин барон фон... господин полковник... господин цейгмейстер!.. – произносил жалобно Фриц. – Уф! я задыхаюсь... отнимите немного вашу руку... я ничем не виноват, вы видели сами: я прислуживал вам же. Отпустите душу на покаяние.

– Стыдно, Вульф! где у вас Минерва? – ска-

зал пастор, с неудовольствием качая головою. – Чем терзать бедного служителя баронессы Зегевольд, который не обязан сторожить вашего Буцефала[76], не лучше ли поискать его? Пожалуй, вы и меня возьмете скоро в свою команду и заставите караулить целую шведскую кавалерию! Я требую, чтобы вы сию минуту отпустили Фрица, или мы навеки расстаемся.

– Сюда, сюда! – закричал Вольдемар, стоя на *высоте креста* и махая рукой, которою вместе указывал, чтобы перебрались через речку и подошли к боку горы, как будто обрзанной заступом. Этот зов остановил роковое слово, которое готово было вылететь из уст взбешенного цейгмейстера и, может быть, навсегда бы разрушило дружеские связи его с пастором и его воспитанницей. Шведский медведь выпустил из лап бедную жертву свою и гигантскими стопами поспешил туда, куда указывал музыкант. Здесь увидел он свою лошадь, но в каком жалком положении! Едва поддерживали ее на краю утеса несколько кустов различных деревьев, в которых она запуталась и при малейшем движении своим

качалась на воздухе, как в люльке; под нею, на площадке, оставшейся между речкою и утесом, лежало несколько отломков глинистой земли, упавших с высоты, с которой, по видимому, и бедное животное катилось, столкнутое какою-нибудь нечистою силой. Конь дрожал и по временам взвизгивал. Пробравшись к нему, с опасностью упасть самому, Вульф, при ловкой и бесстрашной помощи сошедшего к нему же Вольдемара, выпутал лошадь из когтей сатанинских.

– Один лукавый мог ее так угораздить, – говорил последний.

Когда седло с прибором и вьюком, перевернутые и спутанные на ней, были сняты, увидели они, что чушка была прожжена и курок у одного пистолета спущен – свидетельство, что слышанный выстрел произошел из этого оружия, вероятно разряженного сильным трением лошади о что-нибудь твердое, и был причиною испуга ее, занесшего ее так далеко и в такие сети. Первым делом цейгмейстера было расстегнуть вьюк и осмотреть куверт: печать была сломлена; крошки ее тут же находились; но самый куверт был невредим – и

последнее успокоило его. Пакет был уже положен в камзол с величайшею осмотрительностью. На лошади следами этого происшествия остались только небольшие царапины, а в ней самой страх к *высоте креста*, ибо не было возможности заставить ее пройти в долину этим путем; и потому принуждены были провести ее сосновым лесом, по отлогости горы. Дорогой Вульф и музыкант сделались откровеннее друг к другу до того, что последний, объяснив ему причины его сурового молчания при людях посторонних и, может быть, ненадежных, показал ему какую-то бумагу за подписанием генерала Шлиппенбаха. В ней, между прочим, заключалась важная тайна, касающаяся до лица самого Вольдемара. Вульф был в восторге, обнимал шведа, честью своею клялся хранить эту тайну на дне сердечного колодезя и действовать с ним единомышленно. Возвратясь в долину, новые приятели остались в прежнем холодном отношении друг к другу.

– Беда еще не велика! – сказал Вульф, подавая руку пастору в знак примирения. – Но ваш гнев почитаю истинным для себя несча-

ством, тем большим, что я его заслуживаю. Мне представилась только важность бумаги, положенной мною во вьюк, – примолвил он вполголоса, отведя Глика в сторону. – Если бы вы знали, какие последствия может навлечь за собою открытие тайны, в ней похороненной! Честь моя, обеспечение Мариенбурга, слава шведского имени заключаются в ней. После этого судите, мой добрый господин пастор...

– То-то и есть, Вульф, – отвечал пастор, склонившись уже на мир, ему предлагаемый с такую честью для него, – почему еще в Мариенбурге не положить пакета в боковой карман мундира вашего? Своя голова болит, чужую не лечат. Признайтесь, что вы нынешний день заклились вести войну с Минервой.

– Не упрекайте меня так много. Я вам скажу причину, – шепнул ему на ухо цейгмейстер, несколько покраснев. – Вот видите... худо быть без хозяйки!.. в боковом кармане за-таились, вероятно, какие-нибудь крошки... давнишних солдатских сухарей, и проклятые мыши прогрызли его... Я хватился ныне, хотел зашить хоть сам, но стыдился Фрица, ко-

торый, как вы знаете, ночевал у меня по тесноте вашего дома и который, на беду, беспрестанно около меня вертелся с услугами своими. Вы спешили, и потому, не ожидая таких последствий, вынужден я был положить куверт во вьюк. Впрочем, скажу опять, беда не велика! бумага писана моей рукой и только подписана комендантом; генерал меня хорошо знает, и подозрений никаких быть не может.

— Все хорошо; да посоветоваться бы с Минервой не худо! Вот я, например, на такие дела крайне осторожен. Со мной теперь тетрадка... о! она стоит вашего куверта: в ней заключается благо целой Лифляндии; именно это адрес королю... Берегу его как зеницу ока. Вы не можете поверить, сколько я должен был рыться в старых фолиантах; сколько законов вызвал я из мрака древности и заставил пройти мимо себя один за одним, как вы солдат своих на специальном смотре! Здесь ничего не пропущено; каждая петелька и крючочек на своем месте. Здесь изложены привилегии архиепископа Фомы, короля Сигизмунда-Августа, Радзивилла, резолюция королевы

Христины и прочие и прочие постановления об утверждении прав лифляндского рыцарства и земства: все так выведено, сведено и прилажено, что если его величество, король шведский и *иных*, Карл Двенадцатый, прочитав этот адрес, не соблаговолит снизойти на усерднейшие моления верноподданных своих и *сего* адреса, то...

Произнеся слово «сего», пастор засунул правую руку в левый боковой карман своего кафтана и, не найдя в нем бумаги, которую туда положил, вдруг остановился среди речи своей и среди дороги, как будто язык его прильнул к небу, а ноги приросли к земле.

– Что с вами сделалось, господин пастор? вы побледнели, вам дурно?

– Так! ничего, совершенно ничего!.. Маленький удар в голову!.. Вот уже и прошел.

Глик, в самом деле, старался прийти в себя и, боясь быть пристыженным цейгмейстером в том самом проступке, в котором его ж сам обвинял, скрыл причину своего замешательства. «Вероятно, – думал он, – когда я дремал дорогой, адрес выпал из бокового кармана. Тот, кто его найдет, ничего с ним не сделает

без согласия лифляндского дворянства. Тетрадь вложена исправно в пакет, на котором ясно означено, кто посессор[77] этой бумаги. Но если нашедший воспользуется моими трудами? сыщет случай?.. Я его предупреждаю непременно, во что бы то ни стало! К счастью, у меня остался другой экземпляр».

Этот разговор был прерван докладом кучера, что все готово к отъезду с проклятого перепутья.

– Правда, Фриц, несчастного перепутья! – отвечал со вздохом пастор, увидев, что цейгмейстер от него ускользнул.

– Разве и с вами что-нибудь случилось, как с моим крестным отцом? – сказал Фриц с видом изумления.

– Нет, Фриц, ничего; так, совершенно ничего! Не поднимал ли ты, однако ж, бумаги? так, пустячной, ничего не стоящей бумажонки?

– Не подымал и не видал, господин пастор! Вы знаете, я читать не умею.

– Ни слова никому об этом, Фриц! Бросим в сторону этот вздор, и с богом в путь! Аминь!

– Знаешь ли, папахен? – прервала его заботливую речь девица Рабе, потихоньку под-

ступив к нему. – Я хочу пригласить музыкантов ко дню рождения моей доброй Луизы и обрадовать ее нечаянным концертом. Лучшим подарить мне ее нечем. О! как изумит ее моя музыка! ты увидишь, как я все устрою.

Глик легко согласился сделать удовольствие своей воспитаннице, предоставив ей самой труд убедить музыкантов к путешествию в Гельмет. Легко склонились слепец и молодой товарищ его на просьбу доброй девушки, тем скорее, что они давно желали, как говорили они, побывать в поместье баронессы Зегевольд и что им приятно будет показать свое искусство на большом пиру разыгранием какой-нибудь важной штуки.

Солнце удалялось от полудня; лучи его уже косвеннее падали на землю; тень деревьев росла приметно, и жар ослабевал. Все расстались друзьями. Карета, запряженная рыжими лошадками, тронулась; и опять, по правую сторону ее, на высоком, тощем коне медленно двигался высокий офицер, будто вылитый вместе с ним.

– Добрая, прекрасная девица! – сказал Вольдемар, проводив глазами экипаж и кон-

ного спутника. – Не знаю, с кем ее сравнить. София, правда, была некогда прекраснее ее.

– Неужели София была так хороша, как ты об ней рассказываешь? – спросил слепец.

С этими словами музыканты поплелись по тропе, извивающейся в роще, из которой они пришли.

Глава восьмая Замок Гельмет

Чванкина

Так знают во дворце об нас?

Полист

Не только знают,

Но и по комнате о вас лишь рассуждают.

Комедия «Хвастун», Княжнин[78]

На замки Лифляндии смотришь еще как на представителей феодального ее быта, дикого и романического. Это ветераны некогда знаменитого и более не существующего войска, ветераны, изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также

свое великое время. Разбудите их, спросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, – и они, в красноречивом лепете младенческой старости, расскажут вам чудеса о давно *былом*; и гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам *чести* и *красоты*, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые, при малейшем сомнении о величии их, бросить вам гремящую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов.

Чего не расскажет один замок Гельмет? Видишь только развалины; но как они доселе красноречивы! Забываешь даже, что небо служит им покрываею, а украшениями – растущие по ним пихта, рябина и береза. Кажется, и ныне отдаются по залам тяжелые стопы грозного основателя его, Юргена фон Айхштедта[79]; сквозь железную решетку косящего окна мелькает белоатласная ручка и передает девиз победы или смерти молодому рыцарю, стоящему в овраге под смиренной одеждой пилигрима. Кажется, слышишь из отверстия подземной тюрьмы вздох орден-

мейстера Иогана фон Ферзена, засаженного в ней по подозрению в сношениях с русскими [80]; видишь под стенами замка храброго воеводу, князя Александра Оболенского, решающегося лучше умереть, чем отступить от них [81], и в окружающих холмах доискиваешься его праха; видишь, как герцог Иоган финляндский, среди многочисленных своих вассалов, отсчитав полякам лежащие на столе сто двадцать пять тысяч талеров, запивает в серебряном бокале приобретение Гельмета и других окружных поместий [82]. Передо мною проходят, как фантазмагорические явления, рыцари, епископы, русские, поляки, шведы, то осаждающие замок, то обладатели его, то геройские мученики своих победителей. Сколько приключений, ужасных, чудных, романических, разбросано на обломках Гельмета, на этих лоскутах давно прерванной летописи!

Местоположение Гельмета [83] – одно из приятнейших в Лифляндии: им одушевлялись кисть, резец, перо и лира; сотни путешественников, оставив на песчаниковых (de gres) сводах его гротов имена свои, хотели высказать, что *и они были в Аркадии* [84]. Дей-

ствительно сделала его маленьким эдемом [85] бывшая обладательница Гельмета, госпожа Герсдорф, умевшая, со вкусом и любовью к изящному, сочетать искусство и природу. Ныне это поместье на *аренде*, довольно этого слова, чтобы выразить его невыгодное во всем изменение. Несмотря на то, и ныне любуешься по несколько раз красотами этих мест; прощаясь с ними, хотел бы еще раз на них взглянуть.

Не ищите здесь видов обширных, в которых бы взоры и сердце рассеивались: прекрасное все здесь вместе; кажется, для Гельмета страна кругом обижена природою. Разве иногда мельком, сквозь уголок, сбереженный догадливым искусством, представляется вам возвышенная даль. Лучший вид, без сомнения, от господского дома, с краю оврага, изрытого кругом замка. Живописные развалины последнего стоят на бугристом, высоком холму. Правая сторона замка более других уцелела: длинную стену, неровно зазубренную временем, поддерживают две четвероугольные башни, еще бодро выступающие вперед на грудистых насыпях. Остаток свода от одной

из этих башен, так сказать, на волоску держится. С другой стороны время было наиболее неумолимо, как бы нарочно для того, чтобы поразнообразить красоты развалин: здесь везде следы, оставленные борьбой времени с делом рук человеческих. В одном месте лежит обломок, будто брошенный на бегу огромный щит; в другом – возвышается неровною пирамидой; далее целая стена, по-немногу клонясь, оперлась на другую, более твердую, как дряхлеющая старость облакачивается на родственного мужа; инде обломок, упав с высоты, покатился по холму и вдруг, отряхнувшись, твердо выпрямился в середине его и утвердился на ней. Кругом оврага обстают холмы, выступают мысы и разливаются в разных направлениях хребты небольших гор. Влево, на двух холмах, на которых зелень так ровна, как будто они облиты ею, стоят, в близком друг от друга расстоянии, красивые березовые рощицы, образующие между собою раму для одного из прелестнейших видов. На площади обширного поля представляются деревенька, развалины старой гелеметской кирки, немного вправо – новая кирка и в

небольшом отдалении – дикие и неровные берега речки, с могилами русских, павших в войну за обладание Лифляндией. Ближе речка эта разлилась озером, потом, сдержанная скатертью феллинской дороги и плотиною, суживается в ручей, пробирается под мостиком; с непрерывным ропотом на свою неволю падает, будто из урны, серебряною струей, рассыпается о камни, наконец, заиграв на свободе, в извилинах теряется между дикими кустарниками и спешит соединиться в саду с ручьем Тарвастом. Вправо, между холмами, вид более стеснен и более протянут: разнотенные возвышения одно за другим полосатся, будто неровные борозды вспаханной нивы. Обойдите развалины замка: какие очаровательные места и виды представятся вам! С восточной стороны взгляните с высоты вниз, и перед вами – глубокий, мрачный овраг, заросший деревьями, которые, будучи лишены солнечного света, растут почти безлиственные. Тут же поднимите взоры ваши, и вас приветствуют из-за десятков верст сизые горы Оденпе. Обойдите сад, и на каждом шагу готов прелестный ландшафт, достойный ки-

сти Клода Лоррена[86], и убежище, в котором Руссо хотел бы жить и умереть. Пригорки, холмы, долины открыты и затаены под сенью роц. Ручей Тарваст то сердито прорывается пенистыми нитями между огромными камнями, то падает стекловидным порогом, то скачет с шумом по мелким камешкам. Мостики образованы из повалившихся через ручей деревьев или искусством накинута. Цветники, разбросанные купы дерев, гроты, утесы, подземный ход; за садом – озеро с прекрасным островком и приманчивою для диких птиц осокою, заставляющею даже их забывать, что их обманывает искусство; мельница со своим шумным водопадом; поля, испещренные рошицами, жнивами и деревеньками, – все это, повторяю, делает из Гельмета настоящий рай земной.

Господский дом стоял в начале XVIII столетия на том самом месте, где он стоит ныне, именно против развалин замка, разделенный с ними обширным двором и обращенный главным фасом в поле, и вообще построен был без большого уважения к архитектуре, по вечно однообразному плану немецких сель-

ских и городских домов. Перемена, которую в нем сделали успехи зодчества в Лифляндии или своенравие его обладателей, только та, что готические окошки превращены в обыкновенные четверугольные и богатая терраса – в лестницу. Должны мы также присовокупить, что там, где стоит ныне на феллинской дороге простой мостик, был подъемный.

В то время, когда происходило действие нашего романа, замок Гельмет (так будем называть вообще мызу и поместье под этим именем) принадлежал баронессе Амалии Зегевольд по правам *аллодиальным*[87], утвержденным редуccionной комиссией, с грехом пополам, в уважение к ее родственным связям с председателем комиссии, деспотическим графом Гастфером.

Баронесса Зегевольд – от колыбели ненаглядное дитя фортуны[88] – была избалована слепую любовью отца и матери. Единственная наследница богатого имения, которого, по смерти их, сделалась и полною обладательницей на двадцатом году веселой прогулки по пути жизни, она испытала во все продолжение ее только одно горе, не несчастие –

потерю мужа кроткого, терпеливого, смотревшего в глаза своей повелительнице и любившего ее, как идолопоклонник любит свой кумир. Баронесса, всегда окруженная роем посторонних и домашних почитателей ее ума, красоты и богатства, допустила самолюбие, тщеславие и любовь к господству возобладать над ней. В душе ее засели эти страсти, так что все, имевшее честь принадлежать ей и находиться в зависимом к ней отношении, кряхтело под бременем их. Во цвете ее молодости ей неизвестно было, что такое любовь. Если последняя находила иногда путь к ее сердцу, то это было под личиною лести; узнав обман, Амалия так сердито выпроваживала от себя амура, что он в другой раз не смел к ней показаться. Теперь же, когда ей стукнуло за сорок лет, его самого обольщениями нельзя было приманить к ее ногам. Властолюбие сделалось единственною потребностью ее души. Но действовать, волею своею на тесный круг семейства, приближенных и крестьян своих казалось ей недостаточно; дышать в воздухе этой ограниченной сферы было для нее тяжело. Ей помечталось, что она имеет

столько глубокомыслия и проницательности, столько знания людей и обстоятельств, такое сильное влияние на соотечественников, что может управлять ходом политических дел Лифляндии. «Кто не умеет поставить себя выше своего звания и состояния, тот недостойн пользоваться ни тем ни другим», – повторяла она за королевою Христиной, которую во многом взяла себе в образец, как увидим после. Следуя этому правилу, решила она показать чудесное явление, именно – женщину-дипломатку, и занять, во что бы то ни стало, порядочную страницу в истории XVIII столетия. Хитрому Паткулю взялась она противуставить себя, перехитрить его и, как он действовал в пользу России, так же действовать для блага Швеции. С этого времени дом баронессы сделался очагом политических мнений Лифляндии и телеграфом всех новостей, имевших влияние на страну.

Добровольно возложив на себя обязанности дипломата, Амалия Зегевольд старалась привести в движение все тонкости, с этим званием сопряженные. Не только в отечестве своем имела она лазутчиков, но хвалилась,

что имеет их даже при дворах Августа и Петра. Были люди, которые верили ей на слово, что в переписке ее с госпожою Монс, соотечественницею ее и временною любимицей Петра I [89], заключались известия обо всех движениях русской политики. Между тем знавшие хорошо русского государя знали так же верно, что хотя он всякой прекрасной женщине старался быть приятным, но еще ни одна из них не могла прибрать ключа к его кабинету. Не совсем доверяли также, чтобы тайная корреспонденция баронессы с графиней Кенигсмарк [90], известной своею красотой и властью над королем польским Августом, могла быть полезною для Лифляндии. Кажется, все эти члены женского кабинета платили друг другу фальшивою монетою. Но одною из надежнейших и сильнейших пружин, которые баронесса заставляла играть для достижения своей цели, были раскольники, убежавшие из России будто бы от гонений правительства и нашедшие себе новое отечество около Чудского озера, большею частью на землях фамилии Зегевольд или, по содействию ее, во владении ее близких знакомых.

Она бросила успешно виды свои на Андрея Денисова[91], одного из коварнейших людей того времени в России, главу и учителя поморских раскольников. В Лифляндии находился ересиарх[92] этот уже несколько месяцев. Пришедши из Выгорецкого *скита*[93] для соглашения споров, возникших в разных зарубежных *согласиях*[94], и для обращения на путь истинный *суетных*[95] или отпадших членов своих, он умел вызнать господствующие в баронессе страсти и, несмотря на различие вер и народности, заключить с нею против русского государя оборонительный и наступательный союз. Вести, получаемые от Андрея Денисова о внутренних делах России и даже тамошнего двора, могли быть верны, во-первых, потому, что хитрые миссионеры-старообрядцы, шатаясь беспрестанно из края в край, из одного скита в другой, не упускали на местах разведывать обо всем, что им нужно было знать, и, во-вторых, потому, что ересиарх их, давно известный честолюбивой царевне Софии Алексеевне, вел с нею тайную переписку[96]. Переводчиком в чудных сношениях Денисова с лифляндскою баронессой

служил *жидовин*, находившийся в числе его учеников. По тщеславию *патриотки*, так прозвали ее наконец, можно судить, сколько она старалась различными услугами поддержать эту связь.

Дружеские ее сношения с генерал-вахтмейстером Шлиппенбахом, основанные на разных пожертвованиях в пользу шведского войска, были также скреплены политикой. В минуты сердечного излияния (надобно знать, что и дипломаты проговариваются) открыл и он баронессе, что имеет в Лифляндии поверенного умного, тонкого, всезнающего, который, под видом доброжелательства Паткулю, ведет с ним переписку, дает ему ложные известия о состоянии шведского войска и между тем уведомляет своего настоящего доверителя о действиях русских.

– Вот как, – прибавлял Шлиппенбах, – проводим мы хитреца, играющего роль министра российского! Прихлопнем, уж прихлопнем мы его в ловушку!

Доверенную свою особу называл генерал-вахтмейстер шведом, знающим совершенно языки: природный (само собой разуме-

ется), немецкий, латышский и русский. Швед был всячески укрыт от поисков баронессы, которая могла бы им овладеть в свою пользу. Она успела, однако ж, выведать, что этот таинственный человек был музыкант, играющий на каком-то русском инструменте, и странствует со слепцом. Нам легко узнать в этих лицах Вольдемара из Выборга и Конрада из Торнео. Таким образом расставлялись сети политике русской: бедная Россия!

Какая была награда женщине-дипломату за все труды и жертвования ее? Слава в будущем, страничка в истории, а покуда – благодарность министра Карла XII. Пипер очищал уведомления ее в горниле опытности и благоразумия и умел извлекать грани чистого золота из пудов нечистой примеси. Не менее того оставался он признателен богатой и знатной лифляндке, жертвующей своим достоинством и трудами пользе Швеции и направлявшей умы своих соотечественников к преданности шведскому престолу. С этой стороны подвиги *патриотки* не были тщетными, и потому люди, судящие по наружности, почитали ее довольно сильною у двора швед-

ского – двора, не существующего без политики или, лучше сказать, находившегося там, где раскидывалась ставка Карла XII, и действовавшего по направлению его шпаги. Вероятно, и сам король не имел понятия о баронессе Зегевольд, ибо он никогда ни об одной женщине не хотел слышать.

Любопытство, праздность, лукавство, желание сделать угодное баронессе, искательство, связи дружбы и родства собирали в Гельмет многочисленное, иногда блестящее общество, которое она почитала за двор свой. К удовольствию посетителей, несмотря на различие партий, она принимала всех с равным гостеприимством, хотя с некоторым условленным этикетом и допускала в свой круг свободу мнений, лишь бы эта любовь не посягала на тщеславные, личные права самой владельницы замка. Особенно старалась она завлечь в Гельмет путешественников, художников, ученых, чтобы уронить в сердца их семена благорасположения к себе и выманить от них занимательные новости о тех странах, которые они проезжали. Нередко слышала она терпеливо из уст их некоторые

горькие истины насчет неблагоразумия, с каким продолжалась настоящая война, и заносчивости молодого венценосного победителя – слушала и продолжала делать свое.

Мы сказали, что она во многом взяла себе в образец Христину. В самом деле, многие характерические приемы королевы шведской перешли в наследство к баронессе. И та и другая не любили женского общества; обе занимались литературою, покровительствовали ученым, ласкали предпочтительно иностранцев, были щедры без рассудительности и, между нами сказать, не думали о благе своих подданных; обе не только в своих поступках, но и в одежде вывешивали странности характера своего и, назло природе, старались показывать себя более мужчинами, нежели женщинами.

Как пристали к баронессе темный галстучек, амазонское платье *a la reine de Suede*[97], отважная верховая езда по следам гончих, ученые словопрения с профессорами и даже чернильные пятна на пальчиках ее и манжетах! Настоящая Христина! – так говорили ее поклонники; а последних было у ней доволь-

но, потому что желание владычествовать и *обязывать* заставляли ее быть великодушною, очень часто к собственному вреду.

Просьба ученого, особенно иностранца, намеки знатного родственника, человека значительного, о нуждах своих, искушение казаться тем, чем она в самом деле не была, прославиться высокими свойствами души, которых она не имела, развязывали ее кошелек, закрывая ей глаза насчет домашних обстоятельств. У себя со своими она была деспот настоящий: Я покрывало и собственные ее пользы, и благо вверенных ей Провидением крестьян. О состоянии последних *патриотка* не хотела знать.

– Они должны в точности выполнять положенное на них, – говорила властолюбивая помещица. – Я даю им раза два-три в год праздники, шью невестам нарядные платья, женихам – цветные кафтаны; страх как бы хотела преобразить моих латышей и чухон в швейцарцев, но упрямыцы останутся вечно латышами и чухонцами. Не мне чета, Стефан Баторий[98] хотел улучшить их состояние, но принужден же был согласиться оставить их, как

они есть, чтоб не было им хуже!.. Что ж более и мне для них делать? Все прочее поручаю моим управителям, которым плачу хорошие деньги именно за то, чтобы избавляли меня от скучных обязанностей экономки и сношений с этим необразованным, грубым народом.

Взвесив эти рассуждения, можно судить, каково было состояние крестьян баронесских. Доходы не умножались, хозяйство не спорилось; и хотя амтман Шнурбаух уверял, что финансы ее приходят день ото дня в лучшее состояние, что все подвластное ей благословляет и прославляет ее, но худо покрытые избы, хлеб пополам с мякиною и бедная, нечистая одежда поселян ее вернее сказывали истину. Надо заметить, что лифляндские помещики тогдашнего времени не одушевлялись еще тем благородным, высоким ко благу человечества стремлением, какое видели мы, к чести их, в современную нам эпоху.

Глава девятая

Домочадцы

Всех, всех давайте нам на сцену.
Аноним

Баронесса имела единственную дочь. Луиза душевными качествами нимало не походила на мать свою. Казалось, природа хотела недостатки первой вознаградить достоинствами другой. Несмотря на странности данного Луизе воспитания, которым желали удивить современников (в наш век нет уже ничего удивительного), ибо с преподаванием языков шведского, французского и даже латинского учили ее не только стряпать, но и жать рожь; несмотря на то, что с малолетства ее заставляли твердить ролю богатой наследницы, она оттолкнула от себя все обольщения самолюбия. Кротостью и смирением ангельским, всегдашнею готовностью помогать несчастным, приветливым обхождением с низшими она часто заставляла подвластных баронессе забывать всю тяжесть ее господства. Как гостеприимная пальма в степи, она заслонила

собою жгущие лучи гордого светила. Любовь ко всему доброму и высокому напитана была душа ее. Характер ее был создан, чтобы составлять счастье других; но в нем же заметна была степень чувствительности, опасная для нее самой. Доселе трогали ее одни бедствия ближних, которым она и поспешала на помощь без всяких вычислений ума. Надо было ожидать, что Луиза, с сердцем приготовленным для нежных впечатлений, узнав другую любовь, кроме сострадания к ближним, предастся этому чувству, как простодушное дитя, и увлечется им с тем постоянством и силою страсти, которые отличают ее пол и выбирают из него своих несчастных жертв чаще, нежели из другой половины рода человеческого.

Мать Луизы, быв счастлива супружеством по расчету своих родителей, одолженная также спокойствием и удовольствиями жизни богатому состоянию, хотела доставить и дочери те же блага. По одинаковому ж расчету Луизе, с девятилетнего возраста, назначен в супруги барон Адольф фон Траутфеттер, мальчик, старше ее тремя годами. Дядя по ма-

тери его, барон Балдуин Фюренгоф, один из богатейших лифляндских помещиков, был человек удивительный: он умел выбивать из копейки рубль комической скупостью, необыкновенными ростовыми оборотами[99] и вечными процессами и успел еще при владении небольшим имением, доставшимся ему от матери, составить себе значительный капитал. Сверх того, чтобы переполнить его казнохранилище, случилось, к изумлению всей Лифляндии, что отец, отрешивший было его от наследства за беспутство и жадность к деньгам, вдруг неожиданно перед смертью уничтожил свое прежнее завещание, сделанное в пользу двух дочерей, и оставил Балдуину, по новому уже завещанию, родовое и благоприобретенное имение, за некоторым малым исключением в пользу сестер его. Балдуин Фюренгоф одолжен был баронессе утверждением за ним редуccionного комиссией имения. С ним-то и тщеславная дипломатка, и пастор Глик, всегда подававший свой голос там, где шло дело об устройении чьей-либо будущности, составили некогда совет. В нем положили, для общего благосостояния, соеди-

нить законными узами Луизу и Адольфа, как скоро первой наступит семнадцать лет, а второму двадцать. Чтобы ни одна сторона не могла нарушить это положение, оно утверждено было законным актом: только смерть невесты или жениха освобождала ту или другую сторону от обязательства. С выполнением его Адольф должен был вступить во владение половиной части дядина имения, а по смерти Фюренгофа пользоваться всем, чем этот владел правдой и неправдой. Надо объяснить, что из фамилии Траутфеттеров оставались в Лифляндии только Адольф и двоюродный брат его Густав, двумя годами его старший. Матери их были родные сестры и, как они, так и отцы их, умерли еще до 1690 года. Ближайшими родственниками их оставались Фюренгоф и Рейнгольд Паткуль. Последний, до приговора его к казни, имел об оставшихся сиротах истинно отеческое попечение. Бежав из Швеции и лишась всего имения, взятого в казну, он поручил их покровительству Фюренгофа, бывшего вместе с ним и опекуном того незначительного участка, который достался сиротам после смерти их родителей.

Доходами с этого участка, ощипанного усердием скупого дяди, Адольф и Густав начали пользоваться, как скоро приняты были в военную службу.

Адольф, до вступления своего в университет, нередко гостил по нескольку месяцев в замке баронессы Зегевольд, желавшей укрепить привычкою будущий союз его с Луизой. Дети любили друг друга, как дети, долго жившие под одной кровлей и сближенные привлекательною наружностью, играми, известностью их будущности, для них непонятной, но представляемой им в приятном виде родства. Милая Луиза! милый Адольф! — были имена, которые они давали друг другу и вырезали даже в одном из гелметских гротов. Не зная, что такое любовь, они уже ощущали ее в каком-то удовольствии быть чаще вместе. Случалось даже, что маленький жених ревновал к двоюродному брату Густаву, приезжавшему иногда, хотя гораздо реже его, гостить в Гельмете. Адольф и Луиза были везде вместе: в танцах, в играх, в прогулках трудно было разлучить эту пару голубков. Была ли больна одна, нездоровилось другому; видя од-

ного грустным, можно было догадаться, что и другой в таком же состоянии. Маменька не могла налюбоваться на эту маленькую чету. Баронессе особенно нравилось, что будущий муж был уступчив и покорен воле будущей супруги. Некоторые соседы, не ослепленные пристрастием, потихоньку осуждали это слишком раннее в годах развитие чувства, которое никогда не поздно узнать. Но баронесса, обольщенная мыслью, что дочка будет обладательницей огромного имения, предвидела одно ее величие и благополучие. Фюренгоф, который душевно желал бы зарыть свои сокровища в землю, чтобы они никому не доставались, объявлял между тем, что он утешается мыслью передать свое имение, нажитое многолетними трудами, сыну сестры, которую он особенно любил, и молодому человеку с хорошими надеждами. Действительно, известно было, что он терпеть не мог мать Густава за горькие истины, некогда ею сказанные, и процесс, затеянный ею по случаю оспаривания последнего отцовского завещания.

Когда Адольф принужден был отправиться в Упсальский университет доканчивать уче-

ние и начинать новую жизнь, убивать первые, чистые впечатления природы и знакомиться с тяжелыми опытами; когда нашим друзьям надо было расстаться, одиннадцатилетняя невеста и четырнадцатилетний жених обливались горькими слезами, как настоящие влюбленные. Долго не могла она забыть своего дорогого Адольфа; долго не могли истребиться из памяти и сердца студента глазки Луизы, томные, черненькие, как жучки, каштановые шелковые локоны, которыми он так часто играл пальцами своими, белые ручки ее, обвивавшие так крепко его шею при тяжком расставании, и слезы, горячие слезы его, лившиеся в то время по его щекам. Иногда профессор истории, среди красноречивого повествования о победах Александра Великого, от которых передвигался с места на место парик ученого, густые брови его колебались, подобно Юпитеровым бровям в страх земнородным, и кафедра трещала под молотом его могущей длани, — иногда, говорю я, великий педагог умильно обращался к Адольфу со следующим возгласом:

— Вижу, вижу по блестящим глазам госпо-

дина Траутфеттера, что он далеко пойдет за великим полководцем.

Адольф краснел от этой похвалы, потому что огонь, горевший тогда в его глазах, зажгли не победы Александровы, но воспоминание о прогулках с Луизой по гелметскому саду. Он встречал ее в путешествиях по всем странам света, проходимым с учителем географии: свет его был там, где была милая Луиза. Она преследовала его и на бастионах, которым планы чертил Адольф для математического класса. От студенческой скамьи перевели его в трабантский полк и отправили прямо в победоносную королевскую армию, не дав ему повидаться с предметом его нежных воспоминаний. На первых квартирах и даже в первых лагерях разбирал он еще залюбованные дружбы, целовал с жаром ленточку, которою некогда *милая* подпоясывалась, клочок бумажки с магическим именем *Луиза*, засохнувший цветок, ею подаренный. Но чего не делает всемогущее время и не в такие лета? Прошло два, три года, и Адольф, один из отличнейших офицеров шведской армии, молодой любимец молодого короля и героя, причис-

ленный к свите его, кипящей отвагою и преданностью к нему, – Адольф, хотя любил изредка припоминать себе милые черты невесты, как бы виденные во сне, но ревнивая слава уже сделалась полною хозяйкой в его сердце, оставивши в нем маленький уголок для других чувств. Ветреник растерял даже залогов дружбы, для него прежде бесценные. К тому ж он знал Луизу как дитя, а образ детский – не сильный проводник к сердцу двадцатилетнего пригожего воина, которому каждый побежденный городок дарит вместе с лаврами и свежие мирты[100]. С другой стороны, Луиза, вспоминая свое прежнее обращение с женихом, начинала стыдиться детских своих нежностей. При имени Траутфеттера она краснела и показывала неудовольствие, если уже слишком красноречиво описывали ее бывалую к нему привязанность. Впрочем, они изредка вели друг с другом переписку, которую диктовала невесте мать, а жениху обязанность. Слова «милый Адольф», «милая Луиза» заменились в письмах более холодными именами: «любезный, любезная». Наконец они стали помнить только *обязательство*,

которое, может быть, потому не забывали, что баронесса напоминала о долге каждому из них под разными видами. Немудрено, что миг свидания мог расшевелить огонь, тлеющий под пеплом времени, и произвести пожар, который трудно было бы затушить.

Срок, положенный для брака по расчету, наступил; но война свирепствовала во всей ее силе, и Адольф, страстно приверженный к особе и славе короля, почитал неблагодарностью, преступлением, бесчестием удалиться от милостивого лица своего монарха и победоносных его знамен. Он мог получить дозволение служить в лифляндском корпусе, но даже и этот предлог отбыть из главной шведской армии представлялся ему каким-то постыдным бегством. Вследствие чего писал он решительно к дяде, что прежде года не может быть на своей родине. Это извещение ничего не переменяло в обязательстве баронессы Зегевольд и Фюренгофа: решились ожидать терпеливо еще год и, если нужно, более. Как благоразумные кормчие, они не теряли между тем надежды, что попутный ветер скорей вздует паруса управляемого ими судна и при-

несет его благополучно к острову Гименея [101] и Плутуса[102]; проще сказать, они ожидали, что благоприятный случай доставит Адольфу возможность скорее удивить их нечаянным приездом.

Сняв очерки с матери и дочери и описав обстоятельства, в каких они находились, обрисуем и других членов придворного гельметского штата, играющих более или менее важную роль в нашем романе. Во-первых, выступает перед нами девица Аделаида фон Горнгаузен. Она считала седьмого гермейстера Бургарда своим родоначальником и, по-видимому, упала очень низко с этого дерева; ибо от всей давнопрошедшей знатности предков удержала за собою только имя их и старый пергамент, на котором ничего разобрать нельзя было и который, будто бы, потому-то и доказывал высокий род ее. От всего же богатства гермейстерского достались ей в удел несколько гаков земли, частью под песком, частью под болотами, принятых вместе с ее особою под покровительство баронессы. Аделаида считалась *demoiselle d'honneur*[103] при гельметском дворе. Не только зрелая, но

уж и увядающая дева, она казалась всегда сердитою, потому что некогда, а не теперь, слыла прекрасною, потому что некогда мотыльки обжигали себе крылья около ее приятностей, а ныне удалялись их, как погорелой жнивы. Она вела подробно, с математическою точностью, реестр годам своих подруг, а о своих летах умалчивала с приличною скромностью. Панегирики[104] безбрачной жизни не мешали самой ей ожидать себе суженого с вечною любовью, которого вела к ней *вечная* надежда. Старое золотое время было всегдашним предметом ее разговоров. Тут являлись кстати и некстати роды знаменитых гермейстеров, кровные связи ее с магистрами[105] и коадьюторами[106], высокие замки, где каждый барон был независимый государь, окруженный знатными вассалами, пригожими пажамы, волшебниками-карлами, богатырями-оруженосцами и толпою благородной дворни (Hofleute). Тут выступали турниры, где красота играла первенствующее лицо, на которых брошенная перчатка любимой женщины возбуждала к подвигам скорее, нежели в начале XVIII столетия все воз-

можные жертвы, не оправленные в золото. Она так страстно любила рыцарские романы, что за чтением их забывала общество, пищу и сон. Воображение ее настроено было этим чтением до того, что ей во сне и наяву беспрестанно мерещились карлы, волшебники, великаны и разного образа привидения. Она была и чувствительна, как цветок *недотрога*: не могла без ужаса видеть паука, кричала, когда птичка вылетала из клетки, плакала от малейшей неприятности и смеялась всякой безделице, как ребенок. Уважение связей ее с родственницею председателя редуccionной комиссии и желание *протезировать* высокую отрасль седьмого лифляндского гермейстера побудили баронессу Зегевольд принять ее под свое крыло и смотреть на ее недостатки снисходительным оком. Ее берегли, как старый жетон, для редкости, а не потому, чтобы он имел ценное достоинство.

Второе лицо гельметского придворного штата был библиотекарь, Адам Вир. Отец его Томас, математик и антикварий, столько же славился ученостью своею, сколько и кабалистикой[107], расстроившею его рассудок до то-

го, что он предсказывал конец мира и держал заклад с одним uppsальским аптекарем, который не соглашался с ним только в год и месяце исполнения пророчества. Чудак, уверенный в своих кабалистических выкладках, роздал свое имущество бедным и с двумя детьми умер бы, конечно, с голоду, если б его не отыскали благодеяния королевы Христины. Сын его наследовал, вместе с ученостью и умом отца, некоторые его странности – некоторые, говорю я, потому что, идя по ступеням своего века, он умел оставить позади себя те схоластические бредни и предрассудки, принадлежавшие XVII столетию. Любя науки и природу, как страстный юноша, с чувствами свежими, как жизнь, развернувшаяся в первый день творения, он чуждался большого света, в котором не находил наук, природы и себя, и потому создал для себя свой, особенный, мир, окружил себя своим обществом греков и римлян, которых был страстный поклонник. Он любил людей, как братьев, желал служить обществу своими трудами и дарованиями; но общества бегал, как заразы. Воображением и сердцем Адам был в том состоянии, как одно-

именный ему первый человек, когда не гре-
мели еще над ним слова: «*В поте лица снеси
хлеб твой*». Он не знал, что и насущному хле-
бу надобно делать *прииски*. Не говорим уже о
милостях фортуны, которая давным-давно
спустила повязку с одного глаза и жалует
только усердных своих почитателей. Достиг-
нувши возмужалости, он был все еще молод и
неопытен сердцем, как в годах своего младен-
чества. Характер его можно было уподобить
горному ветру, который спускается иногда в
долину, но в ней никогда не удерживается.
Ничего нельзя было заставить его сделать по-
неволе, все можно – ласкою, словами чести,
уважением законов, любви к ближнему и к
отечеству. Кроткий, услужливый и почти-
тельный, пока требовали от него должного и
не угнетали его, он умел даже сносить неко-
торые легкие оскорбления; но когда чувство-
вал удары, прямо направляемые на доброе
его имя, тогда он и сам размахивался и воз-
вращал их без околичности, со сторицей. Бе-
лое никогда не называл он черным и черное
белым, хотя требовали того собственные его
выгоды и угождения людям сильным. Надо

ли было молчать об угнетении – он говорил вслух и именно при тех, которые на теплых крыльшках готовы были перенести его слова, как обыкновенно случается, с прибавками; надо ли было говорить о громких подвигах великих злодеев – он молчал. К довершению его портрета скажем, что он, проведя большую часть жизни в уединении, сделался застенчив, стыдлив, подобно красной девице, неловок, чужд утонченных приличий большого света и рассеян до смешного.

Этот чудак воспитывался в Упсальском университете и получил в нем кафедру по смерти отца. Но за несоблюдение будто *формы* по одному делу, а более за то, что он в избытке откровенности сказал, что университетом управляет не ректор, а ректорша, его гнали и изгнали с аттестацией человека беспокойного и ненадежного. Нужды напали на него со всех сторон: люди, не знавшие его и не принимавшие никогда на себя труда исследовать его поступки, повторяли за его *доброжелателями*, что он человек негодный. Больно было Адаму терпеть несправедливые гонения; но он не преклонил головы ни перед

людьми, ни перед роком своим. Он терпел нужды, оскорбления и вражду с твердостью, истинно стоической, находя в объятиях природы и наук вознаграждения и утешения, ни с чем не сравненные. Судьбе угодно было исторгнуть его из бедного положения: сестра его, одна из ученейших женщин своего времени, нашла случай поместить своего брата в дом баронессы Зегевольд в должности учителя к ее дочери. Эту священную обязанность исполнил он наилучшим образом. Тщеславная обладательница Гельмета, умевшая постигнуть его познания и понять слабости, умела и сберечь его. Окончив воспитание богатой наследницы, Адам перешел в должность секретаря при баронессе. Но здесь он не годился. Частые поездки его с дипломаткой, посещения знатных домов, где он часто, от застенчивости, горел, как Монтезума[108] на угольях, обеды, казавшиеся ему тягостнее дежурств, иногда несогласия его с баронессой в мнениях по разным предметам произвели в нем отвращение от новой должности. Сама дипломатка искала благовидного случая отказать ему от нее. Случай этот вскоре пред-

ставился. Приятельница баронессина уведомила ее, как водится, с прискорбием, о кончине шестидесятилетнего мужа своего, быв уверена, что она, по дружеским связям с нею, примет участие в ее горестной потере. Как нарочно, в то же время соседка Амалии Зегевольд извещала ее о смерти щенка знаменитой породы, которого она, по просьбе ее, достала с необыкновенными трудами и готовилась отправить к *патриотке* для отсылки известному министру шведскому, страстному охотнику до собак. Ответы, исполненные почти сходно один с другим сожаления о смерти редкого мужа и щенка с необыкновенными достоинствами, погибнувшими для света, были подписаны баронессой; но Адам, в рассеянности, улетев воображением своим за тридевять земель в тридесятое царство, перемешал конверты писем. Можно вообразить, какую суматоху наделали послания.

– Называть щенка моим мужем! – говорила одна, задыхаясь от гнева.

– Называть щенком моего мужа! Слыхана ли такая дерзость? Этого бесценного друга, ангела земного!.. – говорила другая (хотя она

этого ангела при жизни терпеть не могла).

Много стоило труда баронессе помириться с приятельницами своими. Между тем секретарь уволен был от настоящей должности и определен в библиотекари гельметского замка. Здесь он был совершенно в своей сфере: мог без важных последствий ставить фолианты вверх ногами, сблизать Эпикура[109] с Зеноном[110], сочетать *Квинта Курция с Амазонками из монастыря*, помещать *Награжденную пробу любви верного Белламира* между *Проповедями* и так далее, в забывчивости перемешать всю библиотеку, на приведение которой в порядок потребовалось бы целое общество библиоманов. Вместе с новою должностью Адаму дана полная свобода быть, где пожелает, и делать, что хочет. С этой эпохи почитал он себя счастливейшим из человекoв.

На место его поступил секретарем к баронессе Элиас Никласзон. Не знали именно, откуда он родом, хотя выдавал он себя за немца. Иные почитали его итальянцем, другие уверяли, что он из роду, считающего своим отечеством то место, где находит для себя более

денег. В самом деле, все, что особенно свойственно еврею: неутомимое терпение, пронырство, двуличность, низость и, наконец, сребролюбие, означались в Элиасе резкими чертами. Когда он имел в ком нужду, готов был в первый день своего искательства вытерпеть даже побои. На другой день он стоял уже на ступени, ближе к своей цели: если здесь он был обруган, то молчал и кланялся. На третий день он являлся в передней и дежурил в ней, не пивши и не евши с утренней зари до полуночи, несмотря на оскорбления слуг. Можно быть уверена, что к концу недели встречался он в кабинете того, в ком искал милостей, и выходил от него, получив желаемое, с гордостью набоба[111]. В Никласзоне было два человека: внешний и внутренний. Лицо его всегда улыбалось, хотя в груди его возились адские страсти; судя по взгляду его серо-голубых глаз, приветливому, ласковому, казалось, что он воды не замутит, между тем как готовил злодейские замыслы. Черты его лица вообще были правильны, но обезображены шрамом на лбу, этим неизгладимым знаком буйной жизни. Говорили, что он полу-

чил некогда почетный рубец осколком бутылки, пущенной в него товарищем в споре за предмет, их достойный. При людях значительных он боялся прикоснуться к рюмке, не мог принимать лекарства, в котором хоть несколько капель было вина; зато в кругу задушевных, ему подобных, он исправно осушал стаканы. Разговор его был самый уступчивый и сладкий; казалось, он не находил слов для противоречия; в замену красноречие лести было в нем неистощимо. На языке носил он мед, а под языком яд. В гелметском замке он умел угодить всем, от госпожи до дворовой собачонки; один Адам Бир не терпел его и не скрывал своего отвращения. Баронесса особенно любила его за точное и усердное исполнение секретарских обязанностей, за щегольской почерк его письма и сладкий слог, угождавший всем, кому он писал, за умение питать ее самолюбие и особенно за обещание привести к ней пленником Паткуля. Безграмотному Шнурбауху составлял он аптекарские счета, в которых приход с расходом всегда был верен, и такие исправные, что иголки нельзя было под них подпу-

ститъ; жену амтмана никогда не забывал величать госпожою фон Шнурбаух и даже дворецкому пожимал он дружески руку. Но высшие в нем достоинства, которыми покрывались все другие и с которыми можно далеко пойти в свете, были умение *выдерживать* и умение *пользоваться*. Мы должны прибавить, что он был в тесных связях с Фюренгофом и по его ходатайству попал в дом баронессин.

Остается нам взглянуть еще на парочку двуногих животных и потом запереть свой зверинец. Первый из них, амтман Шнурбаух, потому только не назывался ни возовым, ни вьючным, что ходил на двух ногах и имел образ человеческий. Он был простенок; но этот умственный недостаток вознаграждался в нем также двумя высокими качествами: *исполнительностью* и *строгостью*, которые, в некотором кругу и особенно у больших бар, выигрывают иногда более достоинств ума и сердца. Если бы приказали ему дать сто ударов, то он почел бы за преступление дать их только девяносто девять. Тот, кто платил ему деньги, мог навьючить его всякою нечисто-

тою, неучтиво погонять его и даже заставить караулить мух, будучи уверен, что он все исполнит и снесет с подобострастием, лишь бы платили ему деньги и приговаривали притом частицу фон. В доказательство преданности его к особе баронессы она приводила, что он два года служил при ней из одного усердия, без всякого жалованья. Кто, однако ж, выведал его хорошо, знал, что на обманы для своей пользы он провел бы мудреца. Лишенный одного глаза взрывом пороха при учреждении фейерверка, Шнурбах видел остальным, где было мягко упасть и сладко поесть, не хуже зрячего обоими глазами. Супруга его была столько же толста глупостью, как и *корпусом*, любила рассказывать о своих давно прошедших победах над военными не ниже оберст-вахтмейстера, почитала себя еще в пышном цвете лет, хотя ей было гораздо за сорок, умела изготавливать годовые припасы, управлять мужем, управителем нескольких сот крестьян, и падать в обморок, когда он не давался ей вцепиться хорошенько в последние остатки его волос. Таковы были главные домочадцы гельметского двора.

Глава десятая

Ошибка

*Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!*

Пушкин

В один майский вечер того ж года, с которого начался наш рассказ, садились в карету, поданную к террасе гельметского господского дома, женщина зрелых лет, в амазонском платье, и за нею мужчина, лет под пятьдесят, с улыбающимся лицом, отмеченным шрамом на лбу. Это были баронесса Зегевольд и секретарь ее Никласзон. Они отправлялись по дипломатическим делам в Дерпт, откуда хотели возвратиться через двое суток. Баронесса объявила, однако ж, что если к этому сроку не явится, так это будет знаком, что она поехала в Пернов, куда ее давно приглашает университет. Бич хлопнул; карета покатила со двора; скоро облако пыли окутало ее вдали; и все в доме оживилось, лица у всех просветлели. Толпа слуг походила на людей, выпущенных

из тюрьмы: такую перемену сделало в Гельмете отсутствие властолюбивой его госпожи.

Луиза, проводив мать свою, отправилась в рощицу, на ближайший к дому холм, мимо которого пролежала феллинская дорога. Здесь предупредила ее девица Горнгаузен. Сентиментальная дева дочитывала, для большего *эффекта* вблизи развалин замка, презанимательный рыцарский роман, в котором описывались приключения двух любовников, заброшенных – один в Палестину, другой – в Лапландию и наконец с помощью карлы, астролога и волшебницы соединенных вечными узами на острове Св. Доминго. Глаза Аделаиды сверкали огнем вдохновения, щеки ее горели; временем катились по ним слезы, которые она спешила перехватить платком, чтобы сокрыть их от коварных свидетелей.

Другая спутница Луизы, домоправительница фон Шнурбаух, заняв одна целую скамейку, посреди жирных мопсов, никогда с нею не разлучных, хотела было расплодиться в повествовании о каком-то драгунском полковнике времен Христины, вышедшем за нее на дуэль, но, увидев, что ее не слушают со

вниманием, должным высокому предмету, о котором говорила, она задремала и захрапела вместе с своими моськами. Для Луизы эти подруги были совершенно посторонни чувствами и образом мыслей. Умевшая ее понимать была далеко. С особенным удовольствием засмотрелась она на приятности вечера, на которые природа во всю весну не была еще так щедрa. Разгоревшийся лик солнца начал склоняться на землю; около него небо подернулось розовою чешуей, а вдали по светло-голубому полю бежали в разные стороны облачка белоснежные, как стадо агнцев, рассыпавшихся около своего пастыря. Рделся гребень возвышений, между тем как тень одежала уже скат их и разрезала озеро пополам. Фас дома был облит заревом небесного пожара, стекла в окнах горели. Деревья переливались оттенками зелени, желтизны и румянца. Соловьи в разных местах сада распевали пламенные гимны любви. С кудрей черемухи теплый ветерок далеко разносил благоухание. Вечерние мотыльки во множестве перепархивали с места на место, и рои мошек толпились в умирающих лучах солнца, спеша

насладиться, может быть, остатными минутами своей дневной жизни. Все в природе, пользуясь последними его благодеяниями, радовалось и нежилось.

Облокотясь на ручку скамейки, Луиза предалась различным мечтаниям: то думала о милой Кете, то вспоминала о своем детстве, вспоминала об Адольфе, может быть, упрекала его в забвении, и – таково влияние весны! – вздохнула о своем одиночестве. В это время послышался конский топот. Вслед за тем с горы, по феллинской дороге, мелькнул кавалерист. Он ближе: можно уж заметить, что это офицер гвардейского трабантского полка, того самого, в котором служит Адольф. Кто бы это такой был? в такое время? Он дает знак сторожу у подъемного моста, чтобы его опустили. Цепи звучат; мост опущен. Статный вороной конь, испуганный шумным падением его, храпит и встает на дыбы. Луиза боится за незнакомца; но конь, покорный искусному всаднику, быстро переносит его через мост, гремящий под ним в перекатах. Офицер проезжает мимо холма. Проницательные взоры осьмнадцатилетней девушки

могут уж различить, что он очень недурен собой. Заметив ее, он учтиво ей кланяется, въезжает на гору, на господский двор, останавливается у террасы и слезает с лошади. Фриц принимает у незнакомца лошадь и, всмотревшись пристально в его лицо, говорит ему:

– Добро пожаловать, гость желанный!

– Кто бы это такой был? – спрашивает себя Луиза. Сердце ее необыкновенно бьется. – Маленьки нет дома: как принять без нее незнакомого мужчину?

Слуга выходит навстречу офицеру.

– Дома ли баронесса? – спрашивает последний.

– Нет, – отвечает слуга, – она уехала с часу тому назад в Дерпт.

– Кто ж дома?

– Фрейлейн.

– Доложи ей, что барон Траутфеттер, приехавший из армии, просит позволения ей представиться.

Слуга, не делая дальнейших расспросов, опрометью побежал в дом искать кастеляна [112] для доклада и дорогою, толкая встречных и поперечных, кричал как сумасшедший,

что жених барышнин приехал! Тотчас по всему дому разнеслось одно эхо:

– Жених, жених барышнин приехал!

От передней до девичьей повторялись эти слова. Вероятно, их слышал и гость. Наконец явился перед молодою госпожой своей старик дворецкий и провозгласил, как герольд, что барон Адольф фон Траутфеттер приехал из армии и желает иметь честь ей представиться. Луиза в ужасном волнении. Как с неба упал перед нею тот, кто с малолетства назначен ей в супруги, от которого зависело счастье или несчастье ее будущности, и тогда явился он, когда полагали его за тысячу верст. Домоправительница, исторгнутая необыкновенным движением из моря покоя, в которое была погружена, вскочила со стула, за нею бросились моськи с лаем. Первый предмет, ей представившийся, была Луиза, бледная как полотно.

– Что сделалось с вами, фрейлейн Зегевольд, любезная, драгоценная фрейлейн Зегевольд? Воды! Муравейного спирту! – кричала Шнурбаух, переваливая свою дородную фигуру с места на место.

Но Луиза и без посторонней помощи при-

шла в себя. Она отвечала дворецкому, что просит гостя пожаловать.

– Грубый, железный век! – произнесла Аделаида Горнгаузен с томным жеманством. – Любовники являются в собственном виде и еще под своим собственным именем! Фи! кастеляны о них докладывают! В былой, золотой век рыцарства, уж конечно, явился бы он в одежде странствующего монаха и несколько месяцев стал бы испытывать любовь милой ему особы. – Здесь она тяжело вздохнула, хотела продолжать и вдруг остановилась, смутившись приходом гостя, награжденного от природы необыкновенно привлекательною наружностью.

«Боже! как *она* прелестна!» – подумал Траутфеттер, встретясь с глазами Луизы. «Как *он* выгодно переменялся!» – думала в свою очередь молодая хозяйка, у которой кровь от сердца быстро поднялась в щеки при первом взгляде на нее милого знакомца-жениха. Гельметские жительницы говорили про себя: «Хорошенький мальчик сделался приятнейшим мужчиною. В нем сейчас узнать можно Адольфа, хотя некоторые черты изменились.

Удивительно ли? его не видали семь лет, с того времени, как он уехал из Гельмета четырнадцатилетним мальчиком». Домоправительница не совсем, однако ж, верила глазам, чтобы это был любимец ее Адольф. Казалось, у того нос был несколько более вздернут и глаза не так черны, хотя так же живы и плутоваты, как у этого; и волосы у того были посветлее! Она хотела бы, но стыдится надеть очки: ей только под пятьдесят, а ее почтут старушкой! Но, опять, Адольф мог перемениться с того времени, как его не видали.

Милый гость говорил приятно и умно, рассказывал, что он определен в корпус Шлиппенбаха; шутя, прибавлял, что назначен со своим эскадром быть защитником гельметского замка и что первою обязанностью почел явиться в доме, в котором с детства был обласкан и провел несколько часов, приятнейших в его жизни.

«И я помню эти часы!» – думала с удовольствием Луиза.

– Вот каковы влюбленные трабанты его величества! – говорила Шнурбаух, вполголоса и вздыхая, девице Горнгаузен. – Месяцы кажут-

ся им часами. Ах! и я знала некогда времечко, летевшее для меня стрелою!

– Чего не могу простить этому пригожему офицеру, – произнесла шепотом сентиментальная дева, – так это холодность, с которою он явился к своей невесте! Ни коленопреклонений, ни страстных вздохов! От него так и несет его холодным восемнадцатым столетием. Предчувствую, что *их* любовь не будет *вечная*.

Заметно было, что Луизе не неприятен ее жених. Привлекательная его наружность, особенно глаза, которые высказывали так много и так убедительно; благородство, ум, чувство в каждом слове – все было в его пользу при сравнении его с другими мужчинами, которые она знавала. Все, что выходило из красноречивых уст его, падало на сердце Луизы, оплодотворялось и разливалось в нем. Первое впечатление над обоими сделано, и неозвратно. То, что она чувствовала к нему, не считала опасным: сердце ее повиновалось матери, слушалось обязанностей, натверженных ей с девяти лет. Любовь манила ее в храм, куда она шла с душою непорочною. Как

сладостно предаваться мечтам, согласным с долгом и рассудком! Что ж чувствовал он?..

Мы должны открыть читателю ошибку Луизы и обитателей замка, встретивших гостя. Он – не Адольф, не жених ее, но двоюродный брат Адольфа, барон Густав Траутфеттер, старший его двумя годами, но схожий с ним до того, что знавшие их некоротко и выдавшие их порознь принимали одного за другого. Лукавые люди не находили ничего заметить против этого редкого сходства, потому что матери их были родные сестры, также чрезвычайно похожие друг на дружку. Густав приехал из армии короля шведского в Лифляндию служить под начальством Шлиппенбаха и получил назначение командовать эскадроном драгун, расположенным близ Гельмета, в Оверлаке. Имея с собою письмо от Адольфа к баронессе Амалии Зегевольд и помня, что в малолетстве принят был в ее доме, как родной, он воспользовался первыми свободными часами, хотя уже и вечерними, чтобы скорее выполнить поручение своего двоюродного брата. Надо было, чтоб судьба, издеваясь над человеческими расчетами и планами, слыш-

ком рано затеянными, вызвала баронессу в тот же самый день из Гельмета, и, как нарочно, перед приездом Густава. Неизвестно, без умысла ли он не сказал своего имени служителю, встретившему его на террасе, или с умыслом, по случаю бывшего у него с Адольфом шуточного спора, что невеста примет за жениха постороннего человека, следственно, забыла Адольфа и перестала его любить. Густав легко заметил, за кого его принимали, и, в торжестве победы своей или, вернее, по сильному впечатлению, сделанному над ним прелестями Луизы, вместо того, чтобы скорее обнаружить истину, старался всячески продлить ошибку, для него приятную и ни для кого не опасную – по крайней мере, так ему казалось.

Начало смеркаться. Густав, упоенный успехами первой встречи, хотел бы продлить долее свое пребывание в Гельмете; надо было, однако ж, отправляться домой.

– Маменька непременно через два дня будет назад, – сказала Луиза, прощаясь с ним, как с давнишним знакомцем своего сердца...

– Через два дня, – отвечал он, вздохнув, –

буду здесь непременно.

Возвращаясь в Оверлак, Густав сбился с дороги, о которой расспросил не хуже колонновожатого, и проплутал до рассвета, как человек, одержимый куриною слепотой. Так же и в замке было что-то не по-прежнему. Домоправительница, сметливая в делах сердечных, смекнула, по какой причине Луиза необыкновенно нежно поцеловала ее, отходя в свою спальню. В минуты истинной любви всех любишь. Даже горничная заметила, что барышня до зари не могла заснуть и провозилась в постели.

На другой день в замке только и было разговоров, что о пригожем женихе; не упустили из виду, что он и с низшими был приветлив; Фрица особенно ласково благодарил за то, что подержал его лошадь, а сторожу у моста дал серебряную монету: знаки доброго, щедрого сердца! Все обитатели замка молили от души Бога, чтоб Он даровал будущей чете долгие лета. Видно, говорили они, за доброе сердце нашей барышни посещает ее Господь Своими милостями. Шнурбаух не наговорила о достоинствах мнимого Адольфа и признава-

лась, перебирая трехпоколенную роспись своих поклонников, что ни одного равного ему не находила. В этом случае Луиза не сердилась на нее. И сам Бир изъявил свое желание видеть Адольфа, в детстве любившего натуральную историю, греков и римлян и потому обещавшего много доброго.

В назначенный день в замке ждали с нетерпением не баронессу, а жениха молодой госпожи. Домоправительница особенно желала ему понравиться, чтобы заслужить богатый подарок в день свадьбы, и потому, распущенная, как пава, в гродетуровый, радужного цвета, робронд[113], стянутая, как шестнадцатилетняя девушка, едва двигаясь в обручах своих фижм[114], она поспешила предстать в этом наряде на террасу замка, откуда можно было скорее увидеть прибытие ожидаемого гостя. Казалось, что она стряхнула с себя десятка два лет; даже решилась она, по просьбе Луизы, сделать важную жертву и вытерпеть гнев баронессы, прогнав своих мосек в департамент супруга и пристроив по дальним отделениям замка сибирских и ангорских кошек, собачек постельных и охотничьих, курлянд-

ских, датских, многих других, различных достоинств, пород и краев, – весь этот зверинец баронессиных любимцев. Луиза, боясь насмешек домоправительницы, убедила ее не поминать даже словечка о детской привязанности ее к Адольфу и избавить тем ее от необходимости краснеть.

Мнимый Адольф не заставил долго ожидать себя. Он явился вскоре после обеда. Ему казалось, взглянув на Луизу, что в два дня, которые он ее не видал, развились в ней новые прелести. Глаза ее блистали приветным огнем, который третьего дня едва тлелся из-под длинных, черных ресниц; лицо ее, прежде несколько бледное, ныне оживилось румянцем здоровья и удовольствия; уста ее как будто улыбались встрече счастья и манили насладиться им. Она еще любезнее, еще доверчивее в обращении со своим женихом; в простосердечии невинной любви она только что не говорила: видишь, Адольф, несмотря на долгую разлуку, я люблю тебя по-прежнему! Густав, безрассудный Густав предавался также более и более обольщениям сердца. К несчастью их, баронесса в этот день не приез-

жала, и в этот день ничто не подало повода к разочарованию обмана, в который введены были все обитатели замка насчет мнимого Адольфа. Сам Бир, близорукий и рассеянный, признал его за того неутомимого мальчика, спутника своего по горам и лесам, который раз нашел ему редкое растение из рода *Selinum*, а в другой раз бесстрашно убил палкой змею из поколения *Coluber berus*. Густав уверял, что он забыл эти услуги и подвиги, но Адам, в доказательство их, непременно обещал ему к завтрашнему дню отыскать растение в травнике[115] своем и показать в банке змею. Бывший учитель Луизы очень полюбил мнимого Адольфа, уверяя, что сердце не обманывает его насчет нравственных достоинств жениха. Казалось, малейшая безделица, одно наименование кем-либо Густава Адольфом могло разрушить усилившуюся к нему любовь Луизы, как малейший ветерок разрушает карточные палаты. Но судьба сама сторожила очарованье.

Когда Густав возвращался домой, совесть пробудилась было в его сердце; но он старался заглушить ее следующими рассуждения-

ми: «Ветреник Адольф мало думает о своей невесте. Еще перед моим отъездом наказывал он мне помолчать о своих проказах и божил-ся, что если б не миллионы дядюшкины и не поход на следующий день, то он навсегда бы простился с гелметской Луизой, которая одиннадцати лет была для него мила, как амур, но которая теперь годится только в наперсницы какой-то Линхен, прелестной в осьмнадцать лет, как мать амуров. Ветрогон! не знает всей цены сокровища, его здесь ожидающего; он не знает, что для Луизы можно забыть и дядюшкины миллионы, и всех женщин на свете. Право, когда бы не благосостояние моего двоюродного братца и его потомства, я попытался бы отнять у него нареченную. Она так мила, что, ей-богу, не достанет сил человеческих отказаться от удовольствия быть ей приятным. Впрочем, невелика беда несколько минут попользоваться невинными правами жениха. Завтра легко будет поправить ошибку и привести все в прежнее состояние; завтра, торжественно, при маменьке этого ангела, произнесу магическое имя *Адольф*, подам его письмо – и опять превра-

щусь в бедного, ничтожного Густава. А теперь пусть не взыщет ветреник, если обстоятельства, не от меня зависевшие, не мною нарочно устроенные, дают мне приятный случай поторжествовать над ним и пошутить на его счет. Может быть, это плата тою же монетою за какие-нибудь старые долги. В первом письме к нему опишу свои проказы и решительно объявлю ему, чтобы он спешил насладиться счастьем, столько лет его ожидающим. А то немудрено, что сыщется другой избранник, который не шутя и не под именем Адольфа понравится его невесте». Так рассуждал Густав, утешая себя мыслью, что эта игра случая кончится завтра.

На другой день Густав опять в замке, для свидания с баронессой, и опять баронесса не приезжала. Говорили о любви. Надобно знать, что девушка, потерявшая право внушать это чувство, имеет право разбирать его сколько угодно, и потому девица Горнгаузен утверждала, что истинная любовь не может существовать без препятствий. На стороне ее был Густав, увлеченный голосом сердца, которое в настоящем своем положении помири-

лось бы на большие пожертвования, лишь бы уверену быть во взаимности любимого предмета и не лишиться надежды когда-либо обладать им. Луиза молчала; она казалась оскорбленной. «Странные желания! – думала она. – Счастье, приготовленное благоразумными распоряжениями наших родителей, нам, улыбаясь, идет навстречу. Мы можем пользоваться им спокойно. Нет, это нам не нравится. Надобны несчастья, препятствия, страдания!.. Но... может быть... Адольф не любит меня? Недаром он задумывается так часто! Не грустит ли, что приехал исполнить свои обязанности?.. С радостью освобождаю его от этих обязанностей, если сердце в них не участвует. С радостью?.. Полно, так ли?.. Правда, мне будет тяжело это сделать. Я люблю... да! я должна себе в этом признаться; но желала бы, чтоб и он любил меня, свободно, без расчетов и принуждения. В противном случае союз наш будет пренесчастный».

Луиза решилась немного пококетничать, сама не зная того, и начала явно показывать свое равнодушие к мнимому Адольфу. Недолго делала она этот опыт: Густав сделался еще

грустнее; между тем глаза его, нежное его обхождение только и говорили ей о страсти робкой, но истинной. В один миг все неприятности забыты: они были легки, подобно дыханию, которое тускнит на миг светлую сталь и вдруг с нее сбегает. В замке Густав был весь любовь, безрассудная, ослепленная; но, когда он терял из виду Гельмет, раскаяние вступало в права свои.

«Нет, – рассуждал он с самим собою, – нет, не буду продолжать далее обмана, опасного для нас обоих! Она не может быть *моею*. Дружба, родство, честь, долг – сто преград против меня. Хорошо, что *еще время!* Завтра не поеду в замок; послезавтра буду там: к этому сроку подъедет мать, и все откроется. Может быть, я ошибаюсь, видя к себе некоторые знаки особенного внимания; тем лучше, если ошибаюсь. Впрочем, если б *она* в самом деле могла чувствовать ко мне *что-нибудь*, то это *что-нибудь* происходит в ее сердце единственно от уверенности, что я жених ее. В противном случае она обходилась бы со мною иначе. Потеряю имя Адольфа – и потеряю все, что оно в себе заключает: все блага,

которые оно с собою приносит. Мне уж двадцать два года: я знаю женщин! На бедного Густава не будут смотреть теми глазами, какими смотрели на Адольфа, наследника миллионера. Поспешу отбросить от себя этот пагубный талисман. Слава богу, *еще время!*»

Несколько дней Густав не являлся в замок, эти дни были для него веком пытки! Он хотел быть твердым и переломить себя, так он говорил.

В замке пустота была ощутительна; скука налегла на всех; прекрасные дни казались душными; если не было грозы, так несносный жар предвещал ее; мошки кусали нестерпимо; рассказы девицы Горнгаузен о рыцарских временах были приторны, беседа домоправительницы – несносна. Все эти обстоятельства не выходили из обыкновенного круга природы и жизни обитателей замка; но для Луизы они казались необыкновенными. Только по временам, когда упоминали об Адольфе, удовольствие проглядывало на ее лице, как улыбка, вынужденная на уста больного утешением лекаря. К скуке привилось и беспокойство, что баронесса так долго не возвра-

щалась. Решились писать к ней в Пернов, узнать об ее здоровье и уведомить, что Адольф приехал из армии. Ответом медлили; однако ж его получили, и, будто нарочно, перед самым прибытием Густава в замок. Он не мог выдержать более трех дней, не выдавшись с тою, с которою должен был скоро разлучиться, может статься, навсегда. Это предчувствовал он и между тем шел на зов собственного сердца, как на обманчивый голос крокодила. Баронесса Амалия писала к своей дочери, чтобы не беспокоились насчет ее здоровья, которое в наилучшем положении, что она радуется нечаянному приезду Адольфа, и наказывала дочери сколько можно ласковее принимать дорогого гостя, чаще приглашать его в Гельмет и *помнить*, что он жених ее. Из этого письма опытный наблюдатель нравов мог видеть, что и в начале XVIII столетия маменьки умели давать дочкам искусные наставления, как завлекать в свои сети богатых женишков, хотя в тогдашнее время наука эта не была еще доведена до такого утончения, в каком видим ее ныне. Баронесса не могла предвидеть, что самые эти наставления себе-

рут новые грозные тучи над ее домом. Между прочим, тщеславная патриотка описывала торжество, с каким приняли ее в Пернове ученые Дерптского университета, и оканчивала свое описание изречением королевы Христины: «C'est ainsi qu'on entre incognito a Rome!» [116] Баронесса присовокупляла, что важные дела задерживают ее в Пернове еще на несколько дней.

– Маменька здорова, – сказала Луиза, встретив Густава с лицом, сиявшим от радости и вместе выражавшим упрек за долгое отсутствие. – Она приказала вам сказать, что помнит и любит вас по-прежнему, когда вы были дитею нашего дома.

– Разве вы уж писали к ней, кто приехал? Кажется, такой незначащий человек, как я, не достоин был занять столько строк в вашем и ее письме, – отвечал смущенный Густав.

– Напрасно вы так думаете. Напротив, я поспешила ее обрадовать: она так много любит вас.

– Обрадовать?.. Бог знает! – возразил он, тяжело вздохнув.

– В старые годы вы были к нам доверчивее.

– Простите, я всегда был уверен в милостях вашей маменьки.

«Ага! – сказала сама себе Луиза, в простодушии истинной любви думавшая быть чрезвычайно догадливою. – Он сомневается в моих чувствах. Если б я могла открыть их! Но, может быть, он старается выдумывать препятствия? Неужели он находит удовольствие мучить других? Если таков его нрав, я буду с ним несчастна. Я хотела бы открытую душу мою соединить с такой же душой».

– Я имею поручение к вашей маменьке от человека мне близкого, – продолжал Густав дрожащим голосом, – поручение весьма важное, от которого зависит участь нескольких людей. (Лицо Луизы вспыхнуло от мысли, что он имеет письмо от дяди с напоминанием об утверждении их союза.) – Будьте моею судьбою! Скажите, объяснить ли теперь все, что я имею на сердце?

Она подумала немного, потом спросила в свою очередь:

– Исполнение вашего поручения сделает ли счастливыми всех людей, которых вы разумеете?

– Думаю, только один будет несчастлив. Дай бог, чтобы гроза над ним и обрушилась! Он один виноват.

– Это для меня загадка: я не понимаю вас, господин Траутфеттер! Если и один будет несчастлив, так лучше навсегда отложить сделанное вам поручение, – отвечала Луиза с гордостью и более досадой оскорбленной любви, нежели самолюбия, и, показывая необыкновенное равнодушие, обратила разговор на другой предмет.

«Виноват ли я? – сказал мысленно Густав. – Сама судьба не позволила мне открыться ныне. Впрочем, тем лучше: приготовлю ее понемногу к этому открытию».

И между тем он употребил в остальные часы дня все хитрости сердечного красноречия, чтобы скрыть роковую тайну, помириться с Луизой и приобрести у нее снова то, что он единственно по наружности потерял было. Истинная любовь сколько доверчива, столько незлопамятна: легко заслушивается обольщений, легко прощает оскорбления, лишь бы уверена была, что они происходят от истинной же любви. Луиза старалась забыть непо-

нятные слова жениха своего, приписывая их своенравию сердца, любящего строить препятствия, чтобы усилить в ней привязанность к нему. Так соображала она, основываясь на одном месте из романа, который читала недавно, и на словах девицы Горнгаузен. Гуляя по саду, Луиза нечаянно уронила розу, которая приколота была, у ее груди. Густав поднял цветок, страстно прижал к губам и спрятал в боковой карман, ближе к сердцу. Луиза, казалось, не заметила его движений. По некоторым высотам, в саду рассыпанным, трудно было одному, без помощи посторонней, взойти и сойти. В таком случае Густав подавал Луизе руку, на которую она с удовольствием опиралась и которую несколько минут не оставляла от боязни увлечься вниз тяжестью своего тела. Иногда в упоении любви, будто окаменелые в блаженнейшую минуту их жизни, они останавливались несколько мгновений посреди горы на тесной площадке, на которой едва можно было двум человекам уместиться. Шелковые локоны волос Луизы навевались ветерком на его уста; рука ее млела в его руке, щеки ее горели, глаза оста-

навливались на нем с нежностью и потуплялись от стыда. Это все делала невеста со своим женихом: можно ли ее обвинять?.. По лабиринту песчаниковой пещеры, изрытой в одной из садовых гор, она была его путеводительницей.

– Сюда, сюда, Адольф! – закричала она в одном месте.

Роковое имя, произнесенное при нем еще в первый раз с того времени, как он начал посещать Гельмет, заставило его затрепетать. Он забыл все на свете, помнил только ужасное для него имя и запутался еще более в темных извилинах пещеры.

– Сюда! – повторила Луиза ангельским голосом своим, воротилась назад и, схватив его за рукав мундира, спешила вывести на свет. Густав казался смущенным, нездоровым; но один взор нежного участия, на него брошенный, оживил его на то короткое время, которое он оставался, в Гельмете.

После этого посещения Густаву представился весь ужас их состояния. Страсть его казалась ему злодеянием. Он видел в себе величайшего преступника, издевающегося над до-

верчивым чувством милого, невинного творения; знал, что истребить в себе этой страсти было невозможно; но, по крайней мере, твердо решился при первом свидании открыть все Луизе и принести себя в жертву для ее спасения.

Тридцатого мая – это было в последнее посещение духа-искусителя – сидел он вместе с Луизой в садовом гроте. Протекавший мимо них ручей Тарваст нашептывал будто бы пени любви. С ними никого не было. В удалении Адам Бир разбирал занимательное растение до последней нити его, как пчела пьет сладость из любимого цветка до последнего его истощения. В восторге, что обогатит свой травник новым сокровищем, и в удивлении к премудрости Божией, поместившей себя в таком маленьком творении, он ничего не видел, не слышал около себя, и если б сокрушилось над ним ветхое дерево, под которым он сидел, то не выпустил бы из рук драгоценного найденыша. Домоправительница не показывалась. Она заперлась в своей спальне, утопая в горьких слезах: кто мог быть несчастнее ее, жертвы мужнина своенравия и властолю-

бия? Вообразите ее горестное положение: в возражение на словцо, неловко сказанное ее Вулканом[117], она замахнулась на правую его ланиту башмаком, а он? – *ах! боже мой! он – карбонарий*[118], сказали бы в наше время, – не подставил ей еще левой ланиты и вырвал из рук ее башмак! Можно ли снести такую обиду, какой не бывало с тех пор, как она сделалась его нежною половиной и полною обладательницей?.. На девицу Горнгаузен нашел тоже недобрый час: она еще не могла оправиться от чувства ужаса, произведенного в ней поутру видом бабочки, трепетавшей под смертоносным орудием *бесчеловечного* Бира (так она его называла), который готовил ее для своего энтомологического *кладбища*. По стечению этих несчастных обстоятельств Луиза и Густав находились одни, сидя в гроте на дерновой скамье. Никогда еще не была она так прелестна; никогда еще не казалась так счастливою. Коварная любовь сама, будто бы нарочно, постаралась убрать ее в лучшие свои наряды, как в древние времена убирали дев, которых вели на жертву к алтарю разгневанного божества. Густав был скучен; она ис-

кала рассеять беспокойство его души, для нее непонятное. Глаза ее остановились на одном месте грота и пробежали с удовольствием какую-то надпись, на песчанике вырезанную; потом она спросила его с нежною откровенностью:

– Кто это писал?

Жадными взорами пробежал он надпись, несколько стертую временем, разобрал в ней слова: «*Милая Луиза!*» – имел еще силу прочесть их вслух и потом, не отвечая прямо на вопрос ее, примолвил:

– Счастлив смертный, который без страха может выговорить эти слова! Еще счастливее, кто мог слышать ответ!

Луиза ничего не сказала, но взорами, исполненными приветом любви, остановилась на другой надписи. Трепет пробежал по всем его членам; холодный пот выступил на чело, когда он взглянул на роковые слова: «*Милый Адольф!*»

– Счастлив Адольф! – произнес он замирающим в груди голосом. – Несчастлив тот, кого принимали за Адольфа!

– Я вас не понимаю! – сказала испуганная

Луиза. – Что это значит? вы бледны, вы нездоровы? Боже мой, что с вами делается?

Густав упал перед нею на колена.

– Я обманщик! – произнес он с выражением страсти и отчаяния. – Сначала ошибкою служителя и ваших домашних, потом безрассудством, наконец любовью я невольно вовлечен в обман – любовью истинною, бескорыстною, которая может только с жизнью моею кончиться. Нет достойной казни для наказания подобного мне изверга! Кляните, кляните меня: я этого достоин! Я – не Адольф!

– Кто же вы? – спросила Луиза замирающим голосом.

– Густав, двоюродный брат Адольфа.

– Густав! что вы со мною сделали?.. – могла она только произнести, покачав головой, закрыла глаза руками и, не в состоянии перенести удара, поразившего ее так неожиданно, упала без чувств на дерновую скамейку. В иступлении он схватил ее руку: рука была холодна как лед; на лице ее не видно было следа жизни.

– Боже мой! я убил ее! – кричал он как сумасшедший, бегая по саду и ломая себе руки.

На крик этот оглянулся Бир. Если бы мертвецы вставали, крик этот мог бы их поднять. С силою отчаяния Густав сжал его руку и увлек за собою к месту, где лежала его жертва.

– Потише, потише! – бормотал с негодованием Бир. – Вы изомнете мою находку. С тех пор как существую, я вижу в первый раз насекомое из рода *Coccinella exclamatoris*[119].

– Помогите, ради бога, помогите! Я убил ее! Она умрет! – раздавались вопли несчастного.

Тут Адам очнулся и, догадавшись по виду иступления своего товарища, что дело шло не о пустяках, спешил освободиться из железных рук его и спрятать бережно своего найденныша в камзол. Когда же подошел к Луизе, то, всплеснув жалостно руками и сказав только: «Гм! гм!» – схватил шляпу Густава, почерпнул ею в ручье воды, которою и вспырынул лицо Луизы; но, заметив, что это средство не помогало, опрометью побежал в дом, как проворный мальчик, вмиг возвратился, сопровождаемый горничною и снабженный разными спиртами, тер Луизе виски, ладони и успел привести ее в чувство.

Она открыла глаза. Первый предмет, ей представившийся, был Густав, бледный как смерть, дрожащий, как преступник.

– Попросите *его*, чтоб он удалился! – сказала Луиза едва внятным, умоляющим голосом, склонившись на плечо Бира; потом, увидев, что Густав не трогался с места, прибавила, обратившись уж к нему: – Густав, ради бога, удалитесь.

Здесь она опять закрыла глаза руками, и рыдания заглушили ее слова.

Он обратил на нее помутившиеся взоры, пожал руку Биру и удалился от них. Так бежал из рая первый преступник, гонимый пламенным мечом ангела и гремящим над ним приговором Вышнего Судии. На повороте дорожки в кусты Густав остановился, еще раз взглянул на Луизу и исчез. В замке отдал он письмо от Адольфа к баронессе первому попавшемуся ему навстречу слуге.

«Что это все значит? – шептал про себя Адам. – Странно! Адольф? Густав? Да, да, помню теперь; он поговаривал мне однажды, что он не Адольф, я пропустил это мимо ушей: проклятое рассеяние! Впрочем, как знать, что

перемена имени могла иметь такие горестные последствия? Да, опять, разве зять Адольф приятнее для баронессы зятя Густава? Не лучше ли отдать дочь свою за Густава, которого дочь любит, нежели за Адольфа, которого она забыла даже в лицо? Гм, гм! не все равно для баронессы!.. Торговое, проклятое обязательство! Нужда в деньгах... тщеславие!» Так, рассуждая сам с собою, Бир вел, с помощью горничной, или, лучше сказать, нес домой несчастную свою воспитанницу. Девушка Горнгаузен, встретив печальную процессию, сначала перепугалась; но, сообразив состояние, в котором находилась Луиза, со внезапным отъездом Траутфеттера, успокоила себя мыслию, что между ними начинается истинная любовь, на препятствиях основанная.

– Я это предвидела, – шепнула она на ухо Адаму, – истинная страсть не существует без...

Бир прервал ее речь таким сердитым восклицанием, что вмиг рассеялись все романтические выводы, скопившиеся в голове ее и готовые осадить Адама. Так пробившееся из окна пламя вдруг охвачено искусным ударом

воды из трубы пожарной. Только что управился он с огненным явлением из теремка, другая вспышка пробилась из трехэтажного корпуса домоправительницы, которая запела на всегдашний, постоянный тон свой:

– Что с вами сделалось, милая, драгоценная фрейлейн Зегевольд?

Адам молчал, стиснув зубами свою досаду.

– Не спрашивайте меня, – отвечала едва внятно Луиза, поведя рукою по лбу, – я хочу думать, что это был сон, ужасный сон! Мне очень тяжело... голова моя горит...

Луизу спешили положить в постель, так сделалась она слаба. Стыд, что она обращалась с Густавом как с женихом и что все домашние это видели; любовь к нему, несмотря на перемену обстоятельств, и известность, что она не может ему принадлежать, – все это сделало вдруг во всем ее составе сильное потрясение, которого она не могла перенести. На следующий день она слегла в постель. Отправили нарочных в Пернов за баронессою и к медику Блументросту. Приехала первая и, прочитав письмо от Адольфа, оставленное Густавом, тотчас объяснила себе причину бо-

лезни своей дочери. Еще более разрешились догадки баронессы собственными словами Луизы, вырывавшимися у нее по временам в бреду горячки. Тут вся тайна сердца ее обнаружилась.

– Густав!.. Густав!.. – говорила она, устремив на какой-то предмет глаза, исполненные помешательства. – Зачем ты обманывал меня? зачем в первый день не открыл своего имени?.. Теперь уж поздно, поздно!.. Я невольница! я продана!.. Меня терзают за то, что я тебя любила: почему ж не любить мне жениха?.. Как я была счастлива!.. Спросите его, зачем он стоит передо мною и манит меня сойти в какую-то бездну?.. Бедный! он думает, что мы сходим с холма... он взглянул еще на меня! Боже! Этот взгляд жжет меня... Прощай, мой... нет, не Адольф, Густав! уж конечно, Густав! Он хочет броситься в пропасть. Постой... и я за тобою. Вместе... вечно вместе!

Домашние проливали слезы, слушая эту ужасную исповедь сердца доселе скромной, стыдливой девушки, которая в состоянии здравого рассудка предпочла бы смерть, чем сказать при стольких свидетелях половину

того, что она произнесла в помешательстве ума. Казалось, мать ее сама поколебалась этим зрелищем и показала знаки сильнейшей горести; но это состояние души ее было мгновенное. Она старалась прийти в себя и устыдилась своей слабости – так называла она дань, которую заплатила природе.

– Прежде чем я мать, я Зегевольд! – сказала она, показывая в себе дух спартанки. – Скорей соглашусь видеть мою дочь мертвою, чем отдать ее когда-либо за человека, так жестоко меня оскорбившего. Обязанности мои выше любви, которая пройдет с бредом горячки. Явится Адольф, и все забудется. Луиза дочь баронессы Зегевольд – прикажу, и она, узнав свое заблуждение, отдаст руку тому, кто один может составить ее счастье! Не так ли, Никласзон?

Секретарь, к которому обращалась эта речь, с ужимкою всепокорнейшего слуги, не замедлил согласиться, что все это было и будет пустячками, что первый пароксизм сердечный хотя и силен, но пройдет, лишь бы фрейлейн Зегевольд выздоровела, и что сама судьба, конечно, постарается исполнить бла-

городные, высокие планы баронессы. Досаду и гнев свой она поспешила излить на домашних. Слуга, прибежавший первым с повесткою о приезде мнимого Адольфа, и старый дворецкий, удостоиваемый почетного имени кастеляна, так громогласно возвестивший о женехе, были сосланы в ближайшую деревню в должности пастуха и скотника; домоправительнице не позволено было несколько недель показываться на глаза своей повелительнице, а девице Горнгаузен сделан такой выговор, что истерика и спазмы принимались мучить ее в несколько приемов. На Бира, в уважение его чудного, рассеянного характера, только что косились, как Наполеон на крепость Грауденц, оставшуюся невредимою среди всеобщего завоевания и разрушения.

Приехал доктор Блументрост. От искусства его ожидали многого, а он возлагал все свое упование на Бога и на силу природы, которой обещался помогать по возможности своей. Ожидали с надеждою и страхом назначенного им перелома болезни. В эти-то часы ожидания в замке и в хижинах поселян все было

полно любви к Луизе: мысль потерять ее усиливалась еще эти чувства.

– *О Иуммаль, о Иуммаль!*[120] – молились в простоте сердца подданные баронессы. – Смилуйся над нашею молодою госпожой. Если нужно тебе кого-нибудь, то возьми лучшее дитя наше от сосца матери, любого сына от сохи его отца, но сохрани нашу общую мать.

Глава одиннадцатая

Вести

*Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.*
Пушкин

Что делалось в это время с Густавом? Когда он выехал из Гельмета, совсем в противоположную сторону, куда ему ехать надлежало, и когда опустился за ним подъемный мост, ему представилось, что с неба упала между ним и Луизой вечная преграда. Сердце его раздиралось любовью, раскаянием, чувством унижения, мыслию, что та, которая была для него всего дороже на свете, почитает его гнусным

обманщиком, что он оскорбил ее и возмутил ее жизнь, доселе беззаботную и счастливую. Дорого безрассудный платил за несколько дней блаженства. Приехав на мызу, где квартировал, с ужасом вошел он в свое жилище: ему представилось, что все предметы, его окружавшие, дико озирали его, что служители смотрели на него пасмурно, исполняли его приказания неохотно.

«Все отвращается от меня, как от убийцы!» – думал он. Страшно было ему взглянуть в себя, еще страшнее – обратиться в прошедшее.

Через два дня слуга вручил ему письмо от баронессы Зегевольд. Не успел он еще распечатать его, как уж сердце отгадало его содержание. Вот что писали к нему:

«Милостивый государь!..

Вы, конечно, почли дом мой домом зрелищ, где позволены всякого рода превращения и терпимы оборотни: долгом почитаю вывести вас из заблуждения, с тем, чтобы просить вас покорно в него никогда не заглядывать, даже без личины и под настоящим именем. Остаюсь... и проч.».

Густав, скрепив сердце, отвечал со всем уважением, должным матери Луизы, что он хотя чувствует себя виноватым, но не заслуживает оскорбительных выражений, которыми его осыпали; что он обстоятельствами и любовью вовлечен был в обман и что если любить добродетель в образе ее дочери есть преступление, то он почитает себя величайшим преступником. Он просил, по крайней мере, не полагать в нем тех низких чувств, которых он не имел, и присовокуплял, что молит Бога доставить ему случай доказать матери Луизы, хотя бы ценою его жизни, всю беспредельность его уважения и преданности к ее фамилии.

Через несколько дней принесли к нему письмо от Фюренгофа. «От дяди, – подумал Густав, разрывая печать. – Недаром начинает со мною родственные сношения тот, который навсегда было прервал все связи с сыном сестры, ненавистной ему». Содержание этого письма было следующее:

«Государь мой!..

Мы давно друг другу чужие: сын Эрнестины был мне всегда таков. В про-

тивном случае я сказал бы как племяннику, что вы гнусным поступком своим ввергли благородное семейство в горестное состояние, отняли у матери дочь, у брата вашего жену и у дяди лучшие его надежды. Теперь не наше дело вам об этом говорить. Оставим карать вас Божьему суду и совести вашей, если вы не совсем ее потеряли. Другое важнейшее дело понуждает меня писать к вам. Мать ваша заграбила у меня в 1685 году три гака земли, смежных с...»

При чтении этих строк глаза Густава встретили ниже слова: «нищая... сумасбродная... процесс... суд». Далее он не мог читать.

– Скажи, – вскричал он дрожащим от гнева голосом, обратясь к служителю своего дяди, – скажи пославшему тебя, что если б он не был братом моей матери... Нет, лучше не говори ему этого. Ответ мой: пусть владеет он теми гаками, которые почитает своими; все бумаги, присланные им для утверждения его прав на этот клочок земли, будут скреплены мною. Спроси, не осталось ли чего из имения Траутфеттера, что бы я мог уступить ему: все отдам

без суда, которым он грозит мне. Но вместе с этим скажи ему, чтобы он берегся шевелить прах моей матери. В противном случае сын оскорбленной Эрнестины может забыть, что оскорбитель – дядя. – Выговоря это, Густав изорвал в клочки письмо и присовокупил посланному: – Ступай! другого ответа не будет.

Судьба, как бы нарочно, устроила летучую почту для нанесения Густаву жестоких ударов, одного за другим. Не успел он еще образумиться от дядиной цидулки, как вручили ему письмо из армии, именно от Адольфа.

«Получив твое послание[121], любезный брат и друг, – писал он к нему, – я от всего сердца посмеялся ошибке, доставившей тебе особенно ласковый прием от моей невесты и домочадцев гельметских. Пробил я заклад, но все-таки с честью для себя. Каков же твой двоюродный братец! Не только собственно персоной, он даже именем своим оковывает сердца прелестных и творит любовные чудеса! В Польше лично веду атаки и побеждаю; а в Лифляндии хлопочет за меня услужливый Сози[122] мой. Виват

Адольф Траутфеттер! Жаль, что на время этих проказ я не на твоём месте, а ты не на моём: я провёл бы тогда подкоп, и черт меня возьми, если б я не взорвал на воздух все обязательства расчетливых маменек и дядюшек! Но ты... с твоим холодным, нерешительным характером, ты разом струсишь и откроешься. Ты пишешь, что Луиза прелестна. Верю, потому что она и одиннадцати лет была премиленькая девочка. И теперь еще, как два фонарика, светятся передо мною ее глазки, преумильно поглядывает на меня и дядюшкино чищенное золотице, которому надеюсь, со временем, еще лучше протереть глаза. Но все эти прелести ничто перед милою, дивно милою полечкою. Имени ее не скажу: оно заветное. Ах, любезный Густав! я влюблен, и влюблен не на шутку. Если б ты видел ножку ее!.. Ну, право, три таких улягутся в одном башмаке наших лифляндских стряпух и экономок: от одной ножки можно с ума сойти; суди же обо всем прочем! Ты смеешься постоянству моей новой любви, Фома неверный? Божусь тебе, я

страх переменился в два месяца; ты меня не узнаешь теперь. Страсть моя так сильна, так искренна, что я почитаю ее предвестием ужасного кризиса в моей жизни: или я должен буду скоро ехать в Лифляндию, куда меня выпишут, чтобы женить на твоей Луизе и дядюшкином миллионе (здесь уж об этом хлопотала патриотка); или меня убьют в первом сражении. Не перед добром мое постоянство – разумею, в любви. Тебе хорошо известно, что дружба и честь никогда не знавали меня ветреником. Отпиши мне поскорее об успехе твоих дальнейших посещений: берегись слишком скоро отступить от трофеев, дарованных тебе волшебным, всепобеждающим имечком Адольфа; помни, что ты не Август и перед тобой нет Карла XII. Верь, что ты имеешь во мне самого терпеливого соперника. Кстати, обрадуй патриотку прилагаемым у сего письмом к ней от Пипера, министра его величества, короля шведского. Посылая это письмо, чувствую, что у меня сердце не на месте; не заключается ли уж в нем обещания выслать меня в

бедный Шлиппенбахов корпус? Предчувствую, что мне теперь не удастся подменить себя двоюродным братцем, как я сделал это при отправлении тебя в Лифляндию. Надо признаться тебе, во всем этом я виноват, а как я это смастерил, при случае тебе расскажу. И без того мое письмо длинно, как нос твоего нынешнего начальника после Нового года. Твой брат и друг Адольф Т.»

Немедленно послал Густав письмо Пипера по адресу, приказав своему слуге поосторожнее разведать, что делалось в замке. Письмо приняли; но как всем жителям Гельмета приказано было молчать насчет семейных дел баронессы, то посланный мог узнать только, что *фрейлейн нездорова*. Эта весть еще более растравила сердечную рану Густава. На следующий день, только что начало светать, он вскочил с постели, спешил одеться и выйти из деревни с твердым намерением во что бы ни стало приблизиться к замку и узнать, от кого бы то ни было, о состоянии больной. Углубленный в задумчивость, потупив глаза в землю, шел он по дороге в Гельмет. Сель-

ские девки, гнавшие скотину в поле, с боязнью глядели на угрюмого шведа и старались подалее обойти его. Крестьянин, ехавший со своею сохою на пашню, распевал в добрый час, что очень редко случается у латышей, веселую песенку:

*У кого такая милочка,
Как у братца моего?
Сука моет у него посуду,
Козы полют огород.*

Но, заметив синий мундир, стал в тупик и, проворчав Густаву свое обычное: «*Terre omikust*»[123], спешил обогнать постояльца, который не только не кивнул ему, но, казалось, так ужасно на него посмотрел, как бы хотел его съесть. Густаву было не до приветов людей, чуждых ему: одна в мире занимала его мысли и сердце. Он прошел уже более половины пути до Гельмета, как вдруг кто-то назвал его по имени.

– Куда так рано, господин оберст-вахтмейстер? – сказал ехавший верхом навстречу ему, сняв униженно шляпу и приостановив бойкого рыжего конька.

Густав приподнял голову и увидел перед

собой того самого служителя баронессина, который в первое его посещение замка вызвался держать его лошадь и которого умел он отличить от других дворовых людей, заметив в нем необыкновенное к себе усердие. Несчастный обрадовался неожиданной встрече, как утопающий спасительному дереву, мимо его плывущему.

– Ах! это ты, Фриц? – сказал Густав. – Прекрасное утро выманило меня прогуляться, и я нечаянно очутился на этой дороге. Накройся, старик, на дворе еще свеженько.

Фриц с некоторым принуждением надел шляпу, лукаво посмотрел на молодого офицера, слез с лошади и примолвил:

– Видно, я объезжал своего коня, а вы своего, господин оберст-вахтмейстер! Иной подумает, что я к вашей милости, а вы к моей. (Тут конюх тяжело вздохнул.) Куда ж прикажете мне за вами следовать? Между бездельем я хотел сказать вам и дело.

– А какое бы? – спросил Густав с видом нетерпения и между тем, сделав несколько шагов вперед, невольно заставил Фрица следовать за собой по дороге к замку.

– Вот извольте видеть, во-первых, вы командуете эскадроном драгун?

– Так.

– Во-вторых, говорят, ваш коновал отправился на тот свет лечить лошадей. Покуда сыщется другой (Фриц снял опять шляпу, почесал себе пальцем по шее и униженно поклонился), – ге, ге, ваш преданнейший и всеусерднейший слуга, великий конюший двора ее светлости, баронессы Зегевольд, осмеливается предложить вам... ге, ге...

– Свои услуги, не так ли?

– Малую толику, господин оберст-вахтмейстер! За меня поручится вся округа, что я залечиваю менее четвероногих, нежели иной свою братью двуногую.

– Верю, верю и охотно принимаю тебя в свою команду врачом, и ныне же готов велеть показать тебе всех четвероногих пациентов; но баронесса...

– Понимаю: будет гневаться, думаете вы, что я посещаю вашу квартиру и, может быть, выношу сор из ее палат?

– Справедливо.

– Не беспокойтесь! Я не дворовая собака,

которую она вольна держать на привязи: службу свободно, пока меня кормят и ласкают; не так – при первом толчке ногой могу показать и хвост, то есть хочу сказать, что я не крепостной слуга баронессин. К тому ж, нанимаясь к ней в кучера и коновалы, я условился с ее милостью, чтобы мне позволено было заниматься практикою в окружности Гельмета. Надеюсь, вы мне дадите хлебца и по другим эскадронам. В плате ж за труды...

– Конечно, не будешь обижен. С этого часа ты наш.

– Ваш и телом и душой.

– И совестью коновальской, не правда ли?

– Для вас не помучу ее; но когда бы пришлось иметь дело, например, с вашим дядюшкой, не счел бы за грех обмануть его.

– Почему ж нравится тебе племянник более дяди?

– Об этом скажу вам после, когда созреет яблочко, посаженное семечком в доброй земле.

– Припевом этим не ты один прельщаешь. Мне кажется, что ты сказочник.

– Мои сказки, не так, как у иных, длятся

тысячу и одну ночь, – того и смотри, как сон в руку. Нет, я скорей отгадчик. Давно известно, что мельник и коновал ученики нечистого. Вот, например, с позволения вашего молвить, господин оберст-вахтмейстер, я знаю, зачем вы идете по этой дороге со мною.

– А зачем бы?

– Вам хотелось бы узнать от верного человека, что делается с тою, ге, ге, которую вы любите.

– Кого я люблю? Кто дал тебе право судить о моих чувствах?

– Желание вам добра. Коли вы обижаетесь слышать то, о чем вы хотели бы меня спросить и зачем вы шли по этой дороге, так я буду молчать. А я было спросту думал подарить вас еще в прибавок тем, в чем вы нуждаетесь, – именно утешеньцем и надеждою. Извините меня, господин оберст-вахтмейстер! (Здесь Фриц поклонился.)

– Утешением? говори ж скорее, дух-искуситель! что делает Луиза?

– Потихе, потихе, господин! Такие вещи не получают даром.

– Требууй все, что имею.

– Вы не заплатите мне тем, чем разумеете. Когда я дарю вас вещьми, которых у вас нет, следовательно, я покуда богаче вас. Конюх баронессы Зегевольд чудак: его не расшевелият даже миллионы вашего дяди; золото кажется ему щепками, когда оно не в пользу ближнего. Фриц с козел смотрит иногда не только глазами, но и сердцем выше иных господ, которые сидят на первых местах в колымаге, – буди не к вашей чести сказано.

– Чего ж ты хочешь от меня?

– Безделицы! Поменяться со мною обещаниями.

– Что ж должен я обещать?

– Во-первых, молчать, о чем я буду сказывать вам за тайну ныне и впредь; во-вторых, выполнить при случае, о чем я вас прошу, и, в-третьих, все это утвердить честным вашим словом.

Густав подумал: «О чем может просить меня кучер баронессы, что б не было согласно с моими обязанностями, с моими собственными желаниями?» – подумал, посоветовался с сердцем и сказал:

– Честное слово Густава Траутфеттера, что

я выполню требования твои. Говори ж, ради Создателя, что делает Луиза?

– Что она делает? С тех пор, как вы скрылись из замка, она слегла...

– Боже мой!

– Не пугайтесь и помните о том, что я вам обещал. Она слегла в постель. Не скрою от вас, она больна, очень больна.

– Несчастный! что я говорю: несчастный? – изверг, я убил ее!

– Вчера я видел лекаря Блументроста.

– Что ж он говорит?

– Когда я спросил его, каково нашей молодой госпоже, он шепнул мне: *«Бог милостив!»* Это слово великое, господин! Он не употребляет его даром. «Послезавтра, – прибавил он, – перелом болезни, и тогда мы увидим, что можно будет вернее сказать». – «А теперь?» – спросил я его. «Теперь, по мнению моему, есть надежда», – отвечал он.

Густав остановился, стал на колени, сложил руки и молился:

– Боже милосердый, спаси ее! Ни о чем другом не молю Тебя: спаси ее! Всемогущий отец! сохрани Свое лучшее творение на земле и

разбей сосуд, из которого подана ей отрава.

– Встаньте, господин оберст-вахтмейстер его королевского величества, крестьяне, работающие в поле, сочтут вас помешанным – не во гнев буди вам сказано.

– Даю тебе право говорить что хочешь, – сказал Густав, вставая. – Точно, я обезумел.

– Легче ли вам теперь?

– Фриц, друг мой, ты воскрешаешь меня.

– Вот утешенье, которое я обещал вам. Теперь поговоримте о надежде, которую я хотел вам наворожить. Во-первых, скажу: отчаяние – величайший из грехов. Я не пастор, а разумею кое-что. Худо вы сделали; но кто поручится, чтобы не сделал того ж другой молодец на вашем месте, с огнем вместо крови, как у вас? Кто знает, бароны и баронессы рассчитывали по-своему, а тот, кто выше не только их, но и короля шведского, который щелкает по носам других корольков (здесь Фриц скинул шляпу и поднял с благоговением глаза к небу), тот, может быть, рассчитал иначе. Еще скажу: дело не о прошедшем – его воротить нельзя, – а о будущем, которое можно предугадать и поправить.

– Особенно вам, коновалам-колдунам!

– Да, и наша милость будет тут стряпать.

Завтра Бог откроет нам Свое определение. Если он окажет милости Свои, то...

– Молю Бога об одной жизни ее.

– Для меня этого мало: я хочу устроить судьбу вашу.

– Ты? опомнись, Фриц!

– С помощью добрых людей.

– Вероятно, дворецкого, камердинера и прочей честной компании.

– А хотя бы и так? Разве вы отказались бы от сокровища, которому цены не знаете, если бы помог вам найти его бедный челядинец? Может статься, на этот раз усердный холоп передал бы его господину майору белоручке, надев перчатки на свои запачканные руки, чистившие коней.

– Ты не знаешь меня, Фриц! я обнял бы этого челядинца, как брата, хотя бы он был чернее трубочиста. Но к чему твоя сказка?

– К делу. Дочь баронессы Зегевольд будет женою того Траутфеттера, которого она любит, а не того, за кого хотят ее выдать насильно мать и дрянной старичишка.

– Вспомни, Фриц, что он дядя мой.

– Помню, что он обманщик, тать, разбойник. (При этих словах глаза и лицо Фрица разгорелись; также и Густав вспыхнул.)

– Ты с ума сошел!

– Нет, господин оберст-вахтмейстер! я говорю в полном уме. Когда б вы знали, что этот человек наделал моему семейству; когда б вы знали, что он похититель вашей собственности!

– Он владеет тем, что следовало ему по законам.

– По законам? по законам? (Фриц с горькою усмешкою покачал головой.) Разве адским! Вы, племянник его, ничего не знаете; я, конюх баронессы Зегевольд, знаю все, и все так верно, как свят Бог! У вас отнято имение; у вас отнимают ту, которую вы любите: то и другое будет ваше с помощью Вышнего.

– Ты призываешь Бога во свидетели?..

– Не грешно призывать его в деле правом. Давно есть у вас стряпчий, и вы должник его. Без ведома вашего, не желая от вас награды, трудится он для вас.

– Кто такой?

– Он! Более не скажу словечка; теперь нет ему имени. По приказу его поджидал я вас на нашу сторонку с нетерпением. Вспомните слова мои, когда вы в первый раз к нам пожаловали и когда я дрожащею рукой брал вашу лошадь за повод.

– Как теперь помню, ты сказал мне: «Добро пожаловать, гость желанный!»

– Так точно. Слова эти выговорили не губы мои, а сердце. Я знал тогда ж, что вы не Адольф, а Густав, и молчал.

– Зачем же не открыл ты в замке моего имени?

– Так приказал мне он.

– Странно, чудесно, невероятно!

– Скажу вам яснее: вы меня знавали; я держал вас маленьким на коленях; вы знавали его. Если вы разгадаете его имя, не сказывайте мне: я об этом вас прошу вследствие нашего уговора. По тому ж условию требую от вас, в случае, если б он, благодетель ваш, ваш стряпчий, попал в несчастье из беды и если б вы, узнав его, могли спасти...

– Право, смешно; однако ж даю слово выручить при случае моего названного благоде-

теля.

– Чтобы в делах наших было поболее чудесностей, скажу вам еще, что вы не иначе получите отнятое у вас имение и вашу Луизу, как посредством *чухонской девки* и *русских*, и то не прежде, как все они побывают в *Рингене*.

– Что за вздор ты городишь? Чухонские девки! Русские! Ринген! Далека песня!.. Только этой присказки недоставало в твоей сказке. А я, глупец, развесил уши и слушаю твои выдумки, будто дело! По крайней мере благодарен тебе за утешение.

– Помяните мои слова... но вот, мы чуть не наткнулись на Гельмет. Могут нас заметить, пересказать баронессе, и тогда – поклон всем надеждам! Прощайте, господин оберст-вахтмейстер! Помните, что вам назначено сокровище, которое теперь скрывается за этой зеленой занавесью... Видите ли открытое угольное окошко? на нем стоит горшок с розами... видите? – это спальня вашей Луизы.

– Моей!.. Боже мой!.. в каком она теперь состоянии?.. Я положил это прекрасное творение на смертный одр, сколотил ей усердно,

своими руками, гроб, и я же, безумный, могу говорить об утешении, могу надеяться, как человек правдивый, благородный, достойный чести, достойный любви ее! Чем мог я купить эту надежду? Разве злодейским обманом! Не новым ли дополнить хочу прекрасное начало? Она умирает, а я, злодей, могу думать о счастье!.. Завтра, сказал ты, Фриц...

– Завтра перелом ее болезни, говорил мне лекарь.

– Фриц, друг мой! об одной услуге молю тебя.

– Приказывайте.

– Могу ли завтра?.. Назначь место, час, где бы с тобою видеться.

– Извольте; я уж об этом думал. Вечерком, когда солнышко будет садиться, выйдите из своей квартиры. От гелеметской кирки поверните вправо, к погосту; чай, вы покойников не боитесь? Пройдя мимо их келий, ступайте целиком к старому вязу, что стоит с тремя соснами, на дороге из Гуммельсгофа: тут есть камушек вместо скамьи; можете на нем отдохнуть и дожидаться меня. Да, чур, быть осторожнее! Не погубите себя и меня.

Слышите? собаки на дворе почуяли вас; люди начали везде копошиться. Воротитесь скорее домой и уповайте на Бога. Прощайте!

Фриц, выговоря это, вспрыгнул на своего рыжака и скоро исчез из глаз Густава. Неугомонный лай собаки, все сильнее возвещавший о приближении к замку незнакомца, заставил Густава удалиться поспешнее, нежели он желал.

На следующий день, перед закатом солнца, выехал он на чухонской тележке с одним верным служителем из своей квартиры, переделся в крестьянское платье у гильметской кирки, где оставил своего провожатого, нахлобучил круглую шляпу на глаза и побрел к назначенному месту, как человек, идущий на воровство. Измученный скорою ходьбою и чувствами, раздиравшими его душу, он остановился у ограды кладбища, чтобы перевести дыхание. Последние лучи солнца одевали розовым отливом белые пирамидальные памятники. Ему чудилось, что усопшие в праздничных саванах вышли из могил навстречу новой своей гостье. «Может быть, в самую эту минуту она умирает!» – подумал он, и сердце

его стеснилось в груди. «Мечта расстроенного воображения! – прибавил он потом, стараясь призвать на помощь все присутствие рассудка. – Доктор сказал, что есть надежда».

Медленно, ходом черепахи шел он, желая, чтобы тень сумрака перегнала его до места назначения. Вскоре, к досаде его, послышались ему голоса человеческие. Проклиная эту помеху, он осторожно дополз до можжевельных кустов, шагах в двадцати от того места, откуда был слышен разговор, спрятался за кустами так, что не мог быть примечен с этой стороны, но сам имел возможность высмотреть все, что в ней происходило. Под такую защитой он увидел, при свете восходящего месяца, что под вязом, где назначено ему было дожидаться Фрица, сидели две женщины, спинами к нему, на большом диком камне, вросшем в землю и огороженном тремя молодыми соснами. Род пестрых мантий, сшитых из лоскутков, покрывали их плеча; головы их были обвиты холстиною, от которой торчали по сторонам концы, как растянутые крылья летучей мыши; из-под этой повязки торчали в беспорядке клочки седых с рыжи-

ною волос, которые ветерок шевелил по временам. Одна из них – может быть, услышав шорох, – оглянулась назад. Страшны были ее кошачьи глаза, прыгавшие между двумя кровавыми полосами, означавшими места, где были некогда ресницы; желтое лицо ее было стянуто, как кулак; по временам страшно подергивало его. Густав спешил отворотиться от этого безобразного явления. Грубый голос старух походил на сиповатое карканье старого, больного ворона. По-видимому, они кого-то поджидали из замка, потому что часто протягивали шеи в ту сторону. Из разговора их некоторые слова долетали до слуха Густава.

– Долго нейдет наш Мартышка, – говорила одна.

– Чай, заповесничался с дворовыми ребятами, – примолвила другая.

– Сорванец! негодяй! да какого добра ждать от подкидыша? Пойдет, видно, по бабтюшке: хорошие кусочки себе, оглодышки – другим.

– Поверишь ли, мать моя, сызмала на деньги не надышит; умеет уж хоронить их не хуже сороки. Сухари то и дело тацит беззубой

старухе, а шелег[124] чтобы принес, этого греха с ним не бывало.

– Запропастился, окаянный! Видно, лижет сковороды на кухне. До съестного ли теперь? Умрет... так получше что достанется... (Здесь ветер перехватил слова разговаривавших.) Дура, дура! что тебе в шелковом?.. Разве грешным костям на крышу? Нам с тобой лоскут холста да четыре доски: ляжем в них не хуже королевы или баронессы. Статочное ли дело беречь для себя? (Ветер опять помешал Густаву слышать некоторые слова.) Молвят, что барышня от него-то и слегла в постель. Выдавал он себя, невесть как, за племянника, ну, того скупого хрыча – ведашь, Мартышкина отца, чтоб ему ни пути, ни дороги, ни дна, ни места!

– Знаю, знаю, Фиргофа; провалиться бы ему в преисподнюю!

– Племянник этот створен за барышню. Ждали его; приехал он, а был не он, шведский офицер, чернокнижник: надел на себя харю жениха и давай отводить глаза у невесты и у всех холопов. Барышне показался он таким пригожим, добрым, ласковым, ну так, что

она, сердечная, умирала по нем. Раз хотела она поцеловать его, а у него и выставься из тупея два рожка. С того, дескать, часу бедняжке попритчилось, не в нашу меру буди сказано. Молодешенька была душа моя, пригожа, наподобие цветка макова, разумна, как скворушка. Подкосил цвет злой косец, запрятал ловец пташку в клетку вечную.

– Дай бог ей царство небесное, а нам что-нибудь на помин ее души!

Можно судить, что чувствовал Густав во время этого разговора: кровь начинала оставливаться в жилах, дыхание захватывало в груди. Он хотел встать и разогнать эту адскую беседу; но, услышав топот бегущего мальчика, решил еще остаться на прежнем месте.

– Вот и Мартышка бежит! – сказала одна старуха, привстав с камня. – Какие-то вести несет нам пострел? Бежит что-то весело.

– Видно, отдала богу душу! – отвечала другая со вздохом.

Посланник их, мальчик, по-видимому, лет четырнадцати, не спешил удовлетворить желание ожидавших его и, медленно приближаясь к ним, казалось, старался их поддразнить:

то кривлялся, как фигляр, то маршировал, как солдат, то скакал на одной ноге влево и вправо.

– Говори, бесенок! – закричала одна из старух, махнувшись на него костылем. – Не то пришибу тебя этою указкой. Жива, что ли, еще, аль умерла?

Мальчик, поравнявшись почти со старухами, начал качать головою и припевать жалобным голосом:

– *Упокой душу рабы Твоея! упокой душу...*

Густав более ничего не слышал; все кругом его завертелось. Он силился закричать, но голос замер на холодных его губах; он привстал, хотел идти – ноги подкосились; он упал – и пополз на четвереньках, жадно цепляясь за траву и захватывая горстями землю.

Старухи и мальчик, увидев в сумраке что-тодвигающееся, от страха почли его за привидение или зверя и что было мочи побежали в противную от замка сторону. Отчаяние придало Густаву силы, он привстал и, шатаясь, сам не зная, что делает, побрел прямо в замок. На дворе все было тихо. Он прошел его, взошел на первую и вторую ступень террасы,

с трудом поставил ногу на третью – здесь силы совершенно оставили его, и он покатился вниз...

Ни одного живого существа не было в этой стороне, да и в доме все было тихо, как бы все обитатели его спали мертвым сном. Вскоре началось тихое движение. Служители шепотом передавали один другому весть, по-видимому приятную; улыбка показалась на всех лицах, доселе мрачных: иные плакали, но видно было, что слезы их лились от радости.

Наконец Фриц потихоньку отворил дверь на террасу и начал сходить с нее. Свет из окон нижнего этажа освещал ему путь. Озираясь из предосторожности, он увидел человека, распростертого на земле и головой поникнувшего на последнюю ступень. Кровь струилась по его лицу. Добрый конюший, спешивший с радостною вестью к месту свидания, какою горестью поражен был, узнав в несчастном Густава! Он ощупал пульс его; пульс едва бился. Звать людей на помощь было невозможно; открыться медику – опасно. Наконец блеснула в голове его мысль о доброте души библиотекаря. К утешению его, в пер-

вой комнате нижнего этажа встретил он Адама, который прохаживался по ней мерными шагами, углублен будучи в размышления о суетах мирских. Фриц схватил его за руку. Адам оглянулся.

– Человек погибает! – быстро произнес конюх. – Спасите его.

– Куда? что надобно? – воскликнул Бир.

– Тише! Есть ли с вами ланцет и бинты?

– Ты знаешь, что они всегда при мне.

– Идем! – сказал Фриц, достал где-то фонарь и увлек за собою Бира на то место, где лежал Густав. – Видите ли этого человека? Помогите мне встать его на плеча ко мне: хорошо, так; ступайте за мной; придерживайте его дорогою, чтобы он не свалился.

Так распоряжался Фриц, и покорный ему библиотекарь с особенным усердием выполнял его волю. В поле, при свете фонаря, последний пустил страдальцу кровь. Бир узнал Густава, и, как скоро этот начал приходить в себя, он удалился, потушив фонарь.

Густав открыл глаза, остановил их на Фрице, посмотрел кругом себя и не мог придумать, где он находился.

– Не вовремя вздумали умирать! – сказал добрый конюх, стараясь понемногу ободрить больного. – Я нес вам приятные вести, а вы хотели сами приступом взять их.

– Приятные вести? – спросил Густав, приподнимаясь на одну руку, не понимая, почему другая не повиновалась. – Ах! я слышал такие ужасные, не понимаю где, во сне или наяву? Ради бога, говори!

– Потихе, повторяю вам, потихе. Видите ли кровь? я принужден был пустить вам ее. Теперь вы в моей команде, волей или неволей, прошу не прогневаться. Спокойны ли вы?

– Да, я спокоен!

– Теперь могу передать вам радостную весть: фрейлейн Зегевольд будет жива; перелом болезни миновался, и лекарь отвечает за ее выздоровление.

– Правда ли? Не стараешься ли меня утешить обманом?

– Верьте не мне, Богу.

– Отец милосердый! – воскликнул Густав, подняв к небу глаза, полные слез. – Благость Твоя неизреченна. Ты хранишь невинность и

милуешь преступление.

Он схватил руку благодетельного конюха и, сколько сил у него доставало, сжал ее в своей руке; потом с отдыхами рассказал, что с ним случилось в этот ужасный для него вечер.

– Старые колдуньи! – вскричал в ужасной досаде Фриц, выслушав рассказ своего пациента. – Я отучу их собираться на поминки к живым людям. А этот бесенок, из одного сатанинского с ними гнезда, напляшется досыта под мои цимбалы[125]! Однако ж, пока им достанется от меня, надобно подумать, как дотащить вас до кирки.

– Видно, радости не убивают, – сказал Густав, – я чувствую себя лучше и готов следовать за тобою...

Благополучно, хотя не без труда, добрали они до кирки, где дожидался слуга, начинавший уже беспокоиться, что господин его замешкался. Здесь почерпнули из родника воды в согнутое поле шляпы и дали выпить Густаву, ослабевшему от ходьбы. Прощаясь с Фрицем, он обнял его и просил докончить свое благодеяние, давая ему знать о том, что

делается в замке. Фриц обещал и сдержал свое слово.

После этого происшествия нередко прилетал он на любимом рыжаке своем в Оверлак и каждый раз привозил с собою более и более утешительные вести: «Фрейлейн Зегевольд лучше; фрейлейн Зегевольд сидит на креслах, ходит по комнате, порядочно кушать начинает», – и так далее, согласно с успехами ее здоровья. Наконец вестник уведомил Густава, что, кроме бледности, заменившей на лице ее прежний румянец, и грусти, в ней прежде незаметной, никаких следов от болезни ее не оставалось. Мысль, что Луиза здорова, успокаивала Густава, и хотя она подавляема была нередко другою горестною мыслью о безнадежности любви своей, но вскоре приобретала вновь свое прежнее утешительное влияние. «Она забудет меня, – думал Траутфеттер, – но, по крайней мере, будет счастлива, сделав счастье Адольфа». С другой стороны, добрый, но не менее лукавый Фриц, привозя ему известия из замка и прикрепляя каждый день новое кольцо в цепи его надежды, сделался необходимым его собеседником и уте-

шителем; пользуясь нередкими посещениями своими, узнавал о числе и состоянии шведских войск, расположенных по разным окружным деревням и замкам; познакомившись со многими офицерами, забавлял их своими проказами, рассказывал им были и небылицы, лечил лошадей и между тем делал свое дело. Так прошел с небольшим месяц. Однажды – это было в первых числах июля – Фриц уведомил Густава, что он отправляется в Мариенбург за пастором Гликом и воспитанницей его, девицею Рабе, лучшею приятельницей Луизы. Он прибавлял, что скоро наступит день рождения последней, что ко дню этому делаются большие приготовления в замке и что со всех концов Лифляндии должны съехаться в него сотни гостей: баронов, военных, профессоров, судей, купцов и студентов; а может быть, и тысячи их соберутся, прибавлял он с коварною усмешкой.

– Я один не буду там, – сказал, вздохнув, Густав и между тем просил Фрица исполнить к тому времени единственное, ничего не значащее поручение.

Конец первой части

Часть вторая

Глава первая

Стан

Здесь Русью пахнет.

Пушкин

В нейгаузенской долине, где пятами своими упираются горы ливонские и псковские, проведена, кажется, самою природою граница между этими странами. *Новый Городок* (Нейгаузен) есть уже страж древней России: так думали и князья русские, утверждаясь на этом месте. Отважные наездники в поле, они были нередко политики дальновидные, сами не зная того.

Замок нейгаузенский построен на крутом берегу речки Лелии, передом к Лифляндии. Четыре башни по углам, соединяющая их ограда – все это грубо выведенное из дикого, неотесанного камня, довольно глубокий овраг с трех сторон, с четвертой – обделанный берег – вот вся искусственная сила этой

твердыни. Зато как далеко, как зорко оглядывает она перед собою, вправо и влево, всю немецкую сторону! Все, что идет и едет от Мариенбурга, Риги и Дерпта, все движения за несколько десятков верст не укроются от сторожкого ее внимания. Только сзади господствует над нею отлогое возвышение, беспрестанно поднимающееся на две с лишком версты до гребня горы Кувшиновой; но там – сторона русская! Речка Лелия течет перед лицом замка, изгибаясь, в недалеком расстоянии, с левой стороны назад, с правой – вперед. На углу правого изгиба – насыпь (вероятно, и на левом была подобная же, но она застроена теперь корчмою); несколько таких искусственных высот, служивших русским военными укреплениями, идут лестницею по протяжению печорской дороги. Некоторые из них уцелели доньше, иные обросли рошицами, другие изрыты дождями, а может быть, и жадностию человеческою. Струи речки мелкие, но шумят, строптивные, преграждены будучи множеством камней, временем брошенных в нее с высоты башен.

Вид из замка обнимает Лифляндию на

несколько десятков верст: перед глазами разостлан по трем уездам край ее одежды. Прямо за речкою, в середине разлившейся широко долины, встал продолговатый холм с рощею, как островок; несколько правее, за семь верст, показывается вполонину из-за горы кирка нейгаузенская, отдаленная от русского края и ужасов войны, посещавших некогда замок; далее видны сизые, неровные возвышения к Оденпе, мызы и кирки. Левее струится из мрачной дали прямо на Нейгаузен дорога рижская, еще левее чернеет цепь гор гангофских, между которыми поднимает обнаженное чело свое, как владыка народа перед величеством Бога, царь этих мест Муннамегги (Яйцо-гора), наблюдающий, в протяжении с лишком на сто верст, рубеж России от Мариенбурга, через Печоры, до Чудского озера и накрест свою область от Нейгаузена, через возвышения Оденпе и Сагница, до вершины гуммельсгофской. Между горами видна и знакомая нам опекаленская кирка. Все как на блюде! Русская, однако ж, сторона закрыта отсюда скатом Кувшиновой горы, как полою шатра великолепного. Чем далее поднима-

ешься по этому скату, тем картина расширяется и углубляется. Глаз без помощи орудия отказывается схватить все, что она предлагает ему. На вершине Кувшиновой сильнее бьется сердце русского: с нее видишь сияние креста и темные башни печорского монастыря, место истока Славянских Ключей, родины Ольги, Изборск, и синюю площадь озера псковского. Здесь уже настоящая Русь! Только *полуверцы* – обычаями, верою, языком смесь лифляндцев с русскими – означают переход из одного края в другой.

Во время, которое описываем, замок представлял, как и ныне, одне развалины. Взорван ли он и покинут без боя шведами, безнадежными удержать его с малым *стрезенем*, который он мог только в себе вмещать, от нападений русских, господствовавших над ними своими полевыми укреплениями, давним правом собственности и чувством силы на родной земле; разрушен ли этот замок в осаде русскими – история нигде об этом не упоминает. Известно только, что последние в 1072 году уже властители Нейгаузена. Здесь и у стен печорского монастыря было сборное ме-

сто русских войск, главное становище, или, говоря языком нашего века, главная *квартира* военачальника Шереметева; отсюда, укрепленные силами, делали они свои беглые нападения на Лифляндию; сюда, не смея еще в ней утвердиться, возвращались с победами, хотя еще без славы, с добычею без завоеваний; с чувством уже собственной силы, но не искусства. Здесь полководцы, обезопасенные упрямою беспечностью Карла, имели время обдумывать свои ошибки, готовить новые предначертания и учиться таким образом науке войны над непобедимыми того времени.

Стан русских оброил возвышенный берег Лелии и всю отлогость горы Кувшиновой до вершины ее. Изгибами своими казала эта отлогость, будто зыблется под многочисленным воинством. Он весь виден был с ливонской стороны: белые ряды палаток и между ними отличные, начальнические, черные нити регулярной конницы, пестрые табуны восточных всадников, пирамиды оружий, значки, пикеты – все как будто искусно расставлено было на шашечной доске, немного к зрителю

наклоненной. Пушки выдвинули жерла свои из развалин замка и *раскатов*, воздвигнутых по сторонам ее и уступами в разных местах горы; бегущие из-за них струйки дыма показывали, что они всегда готовы изрыгнуть огонь и смерть на смелых пришельцев из Ливонии. Луч утреннего солнца, отзолачивая развалины замка, скользя по орудиям и теплясь в крестах походных церквей, расцвечивал эту картину.

Замок и передовые укрепления по берегу Лелии сторожили кроме полевой артиллерии драгунские полки Кропотова и Полуектова и пехотный Лимы. Везде видны были эти полководцы вместе, и в стане и против огня неприятельского. Продолговатый холм в середине горы, близ печорской дороги, где стояла богатая турецкая ставка с блестящим полумесяцем на верхушке ее, охраняла почетная стража: Преображенский и Семеновский полки и сотня дворян московских. Семеновцами командовал любимый начальник их, подполковник, князь Михайла Михайлович Голицын, преображенцами – майор Карпов; один более другого встречавшиеся на перепутьях

этой войны, где только говорилось о чести русского оружия. В рядах московской сотни находился сын военачальника, *волунтер*[126] Михайла Борисович, уже с именем храброго офицера и неизменного товарища. Старый, созданный родителем Петра I, Бутырский полк, прославившийся на приступах Азова, имевший счастье избежать неудачи при Нарве, но в первой сшибке со шведами при Эррастфере изведавший сладость победы, стоял неподалеку отборной стражи, готовый заменить ее. До двенадцати драгунских полков разных имен, более или менее известных, основания трех эскадронов московских гусар, копейщиков и рейтар, несколько пехотных полков стройно расположены были по отлогости горы. Перед лицом стана, за речкою Лелией, отправлял должность передового стража знаменитый татарский наездник Мурзенко: он занял с пятисотнею своею продолговатый зеленый холм, одиноко возвышавшийся в долине. Печорский монастырь, вновь укрепленный, охранял *ертаульский* воевода [127] Иван Тихонович Назимов[128].

В стане, в бесчисленных местах, закурился

дымок, приятный для обоняния солдат; уже везде около котлов засуетились кашевары. Также калмыки и башкирцы готовили свой обед; вдоль и поперек долины скакали восточные витязи, запаривая под седлом нежное мясо жеребят. Затрубили к водопою, и ряды конницы, как нагорные ключи, потекли из стана. С другой стороны свистом и гарканьем отвечали на звук труб, и послушные этому зову табуны поспешали к речке. Оба берега ее оступили тысячи коней. Звонкое ржание, глухой топот, суетливый говор, крик — все слилось в какой-то тревожный гул, полный торжества жизни. Но скоро все пришло опять в прежнее положение.

Посмотрим ближе, что делалось во внутренности лагеря. Подойдем к ставке фельдмаршала. Возле нее ходил на часах преображенский солдат, статный, бравый, кровь с молоком. Походка его была мерная, движения изученные. Одежда на нем, будто он снарядился в маскарад: не к лицу ему треугольная шляпа и распущенные волосы; немецкий широкий кафтан не *по нем* сшит; исподнее платье стягивало его ноги. Но изменявшие ему

по временам, хотя немедленно сдерживаемые ухватки, огонь, разыгрывающийся в глазах его, казалось, говорили: «Остригите мне волосы, сбросьте этого жаворонка с головы, скиньте с меня этот халат, подпоящите меня крепко кушаком, который я с детства привык носить и которым стан мой красовался, дайте волю моим ногам – и вы увидите, что я не только шведа – медведя сломаю, догоню на бегу красного зверя: вы увидите, что я русский!»

По правую сторону ставки, у входа ее, стояла *колясочка* с литаврами; тут же бродило несколько трубачей. Инструменты их были разложены на козлах. В некотором расстоянии от палатки трапезничали за длинным столом, накрытым скатертью браной, священники, офицеры и поселяне обоего пола, человек до пятидесяти. Здесь гостеприимство русского барина угощало, без разбора званий, всякого, кто не имел *своего* стола или насущного хлеба. Если самого фельдмаршала не было с ними, так это значило, что важное дело отозвало его от *хозяйничества*, которое не хвастливость, но добродетель наследственная

положила себе обетом. Мало, что всякий бедный мог вкушать от его трапезы: он был еще оделяем деньгами. Так жили деды наших бар! Кругом братского стола прислуживал рой *холопов*: дворецких, мундшенков[129], егерей, сокольников, ловчих, гайдуков, скороходов и камердинеров, составлявших пеструю дворню вельможи того времени дома и в походе. Несколько борзых собак, вероятно любимиц, шныряли под столом и около него, выжидая себе подачи. По левую сторону ставки толпились в уважительном отдалении адъютанты, ординарцы, курьеры. Далее, в углублении сцены, нами рассматриваемой, стояла палатка, у которой раскрытые при входе полы позволяли видеть, что в ней происходило.

В ней производился суд. На переднем конце длинного стола сидел *президент*. По месту, им занимаемому, и глубокомыслию, осенявшему его приятную наружность, видно было, что в нем пожилого возраста не ждала мудрость, которой, вопреки своенравной природе, хотят назначить постоянный срок. В глазах его с пронизательностью ума спорило, однако ж, беспокойство сильных страстей; ред-

ко сходила с губ его усмешка осуждения. Одежда его показывала некоторую небрежность; по камзолу, расстегнутому почти до нижней пуговицы, висели длинные концы шейного платка; обшлаг у левого рукава был отворочен. Это был Рейнгольд Паткуль. На этот раз, по болезни генерал-аудитора, исполнял он его должность. Каковым видели его теперь, таковым бывал он в ставке фельдмаршала и во дворце. Он не старался скрыть себя; ни одежды, ни движений, ни чувств не подчинял формам; он весь был наружу. Свободные движения его в обществе высших хотя и не изменяли правилам светского образования и знанию придворной жизни, должны были, однако ж, пугать взоры и чувства людей, воспитанных в строжайшей почтительности к старшим, если не в страхе к ним.

Перед главным судьёю лежали накрест белый посох и обнаженная шпага – знаки чистоты суда и возмездия пороку. Во всю длину стола, по обеим сторонам его, сидели члены суда, *ассессоры*[130], из высших офицеров разных полков; у нижнего конца стола священник в епитрахили, с крестом в одной руке, а

другую – положив на Евангелие. От него неподалеку стояли трое солдат, закованных в железа: лица их говорили, что они ждали своего приговора. Засучив рукава своего засаленного зипуна, заткнув большой палец левой руки за красный кушак, спереди потонувший в отвислом брюхе, прижался к стене мужичок отвратительного и зверского лица. Он то морщился, как бы недовольный медленным судом, и огромным перстом правой руки, на котором могли бы улечься три обыкновенных, почесывал налитую кровью шею, исписанную светлыми рубцами, то важно поглаживал целою ручищею своею рыжую бороду, искоса поглядывал на собрание и улыбался, едва не выговаривая: «И я здесь что-нибудь да значу!» Он ждал своих жертв. Это был палач Оська, по прозванию и отличительным признакам его мастерства – *Томила*. Глубокое молчание царствовало в заседании: можно было слышать скрип работающего пера. Вокруг стола ходила по рукам бумага, которую всякий, прочитав про себя, подписывал. Она обратилась к президенту, который, также прочитав ее еще раз, подписал и весь лист

кругом очертил узлами, чтобы невозможно было ничего приписать в нем. Наконец президент встал и за ним ассессоры. Он положил правую руку на посох и меч. Все сотворили знамение креста, кроме немцев, которые вместо того благоговейно сложили руки на грудь. Потом он отдал бумагу секретарю для прочтения и громко произнес:

– *Богу единому слава!*

Секретарь начал читать дело о порублении Андреем Мертвым татарина саблею и приговор, коим он, согласно двадцать шестому артикулу Военского устава, должен был быть *живота лишен* и отсечением головы казнен. Такому ж наказанию, по двадцать пятому артикулу, подвергнулся Иван Шмаков, дерзнувший поколоть своего полковника Филиппа Кара. Но в уважение, что раны порубленного татарина подавали надежду к исцелению и что у полковника пробиты были только мундир и фуфайка, Мертвый приговаривался к наказанию батожем, а Шмаков к выведению в железзах перед фрунтом и к пробитию руки ножом. Важнее этих преступников был третий, казак Матвей Шайтанов, чер-

нокнижец, ружья заговоритель и чародей. А как, по толкованию первого артикула Военского устава: «наказание сожжения есть обыкновенная казнь чернокнижцу, ежели оный своим чародейством вред кому учинил или действительно с дьяволом обязательство имеет»; но поелику он чародейством своим никому большого вреда не учинил, кроме заговора ружей, присаживания шишки на носу и прочего и прочего, и от *обязательства с сатаною отрекся* по увещанию священника, то приговаривался он к прогнанию *шпицрутеном* и церковному публичному покаянию. Тут палач нахмурился, по-видимому недовольный облегчением наказания. Казалось, на узком его лбу выклеймены были слова: «Ах! кабы меня сделали главным судьей, я все б усиливал приговор, чтоб нашей братье была работа». Паткуль, нечаянно взглянув на него, прочел его сожаление: он сменил этот зоркий взгляд другим, грозным, и дал знак, чтобы преступников удалили для немедленного исполнения над ними приговора.

Судейская мало-помалу начала пустеть. Остались Паткуль и три высших офицера; их

заняло чтение каких-то приготовительных бумаг. Вскоре внимание их прервано было приходом *румормейстера*, блюстителя порядка на маршах и в лагере, за которым, между двумя солдатами с мушкетами на плече, следовал русский крестьянин. В глазах его горело дикое ожесточение; он не склонялся головою; уста его искривлены были презрением. Длинная борода у него делилась надвое, представляя из себя два языка; широкий серый зипун, сзади весь в сборах, спереди в двух местах застегнутый дутыми медными пуговицами, едва покрывал колена. В левой руке держал он *лестовки*, в правой – посох. Румормейстер подал Паткулю бумагу и доложил ему, что этот крестьянин втерся между братьею за общий стол, не крестился, подобно другим, сядя за него, не ел, не пил, чуждался всякой беседы, беспрестанно плевал и творил, то шепотом, то вполголоса, молитвы; потом, вставши из-за стола, бродил около фельдмаршальской ставки, хотел взойти в нее, но, быв удержан часовым, бросил в палатку свернутую бумагу.

– Фельдмаршал, – продолжал офицер, –

поднял ее и, успев прочесть только три первые слова – так именно приказано мне доложить вашему превосходительству, – повелел мне отвезть сюда подозрительного крестьянина за крепким караулом, отдать вам подметную *цидулу* и сказать, чтобы вы *поволили* исследовать, кто такой этот мужичок и не лазутчик ли от шведов или другой какой *шельм*, также и наказать его по усмотрению вашему. Он полагает, что подмет сей до вашей особы касается.

– Что это за урод? – сказал Паткуль, принимая от румормейстера бумагу.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! – произнес крестьянин. – Господи! спаси нас от нечистых силы.

Паткуль посмотрел на него и усмехнулся, но, развернув поданное ему письмо и взглянув на первые слова, вспыхнул, вскочил со стула, подошел к крестьянину и, тряся его за ворот, задыхающимся голосом спросил его:

– Паткуль изменник? кто это пишет?

– Христианин зарубежный, – отвечал спокойно вопрошенный.

– Какой христианин! Лжец, обманщик, са-

тана! – закричал Паткуль, не в силах будучи владеть сам собою.

– Брешешь, басурман! Пославший меня учитель православных, соборных, апостольских церкви и мы, братья ему по духу, исповедуем закон правый. В вашем сборище, в крещении отщепенцев, беси действуют; учение ваше криво, предание отцов ваших лживо, закон ваш проклят. Ты щепотник[131], табачник, скобленое рыло, и с тобой сидящие никонианцы[132] – слуги антихристовы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Паткуль взглянул на него, пожал плечами, сел опять на стул и, хладнокровно сказав:

– Он – сумасшедший! – стал читать продолжение подметного письма.

Между тем один из офицеров, сидевших в палатке, примолвил:

– Это злой раскольник!

– Он послушник царского величества указ! – воскликнул другой. – Осмеливается показываться в народе без желтого раскольниковского лоскута на спине!

– Имеешь ли ты *бородовую* квитанцию [133]? – сказал третий. – Ему надобно бороду

обрить.

Раскольник молчал.

– Его надобно строжайше судить! – закричали двое офицеров вместе.

Крестьянин, покачав головою, отвечал:

– Аще пойду под иноверный суд, достоин есмь отлучения от церкви.

Здесь один из офицеров хотел убедить его словами Священного Писания: «Всяка душа властей предержащим да повинуется: несть бо власть, аще не от Бога».

– Не претися о вере и мирских междоречий пришел я к вам, никонианцам; досыта учителя наши обличили новую веру и вбили в грязь ваших фарисеев[134]. Как видно, вы не рассмотрения и не правды ищите, но победы и одоления. Ваша правда, аки паутиное тканье, прикосновением крыла бездушныя мухи разоряется. Како бо пети Господню песнь в земле чуждой, в земле бесова пленения? Несть здесь воздвигающего долу лежащих, несть руководящего. За рубежом тот, кто бы изобрел сокровище, четыредесятним пеплом загребенное, кто бы собрал воедино стадо расточенное, кто бы процвел, яко сельный

крин[135], обогатити связанных нищетою, просветити во тьме седящая, укрепити изнемогающих, свободити бедств и скорбей исполненныя. Там образование горнего Сиона, там начертание горнего Иерусалима! Образумьтесь, суетные, откройте глаза, слепотствующие! Идите за мною и обряцете сокровища нетленные[136].

– Благодарствуем, любезный! – сказал офицер, понюхивая табак. – Не хочу ради вашей веры ни сгореть в огне, ни голодом умереть. Ты не морельщик[137] ли?

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

– Или из беспоповщины[138], где вместо попов девки служат?

Раскольник молчал.

– Нетовщик, что ли? Ну, говори, ведь мы знаем все ваши бредни. Вы не признаете православного священства и таинств в мире? Адамантова согласия, что ль? Ваша братия по каменной мостовой никогда не ходит: не так ли? Титловщик? Ну, говори, борода! (Офицер потряс его порядочно за бороду, но он молчал.) Можно заставить тебя говорить. У Оськи

Томилы немые песни поют: знаешь ли ты?

Раскольник горько усмехнулся и отвечал:

– Ешьте мое тело, собаки, коли оно вам по вкусу. Ведаем мы, православные, что вера правая и дела добрые погибли на земли. Наступило время последнее. Антихрист настал; и скоро будет скончание мира и Страшный суд. Ох, кабы сподобился я святым страдальцем предстать ко Господу!

Во время допросов крестьянина высшим офицером Паткуль продолжал читать подметное письмо. В этом письме давалось за известие фельдмаршалу, что Паткуль, изменник и предатель, связался с злодеем, который, под видом доброжелательства русскому войску, старается заманить его в сети, предать начальнику шведскому и погубить. Злодей этот кажется не тем, что он есть. Если бы фельдмаршал знал, кто он такой, то купил бы голову его ценою золота. Сам царь дорого заплатил бы за нее. Сочинитель письма обещается подвести обманщика, с тем чтобы войско русское, особенно Мурзенко, не тревожили на жительстве зарубежных христиан.

Прочтя это письмо, Паткуль задумался: ка-

кое-то подозрение колебало его мысли и тяготило сердце. «Неужели? – говорил он сам себе. – Нет, этого не может быть! Понимаю, откуда удар! Нет, Вольдемар мне верен». Окончив этот разговор с самим собою, он поднял глаза к небу, благодаря Бога за доставление в его руки пасквиля, разодрал его в мелкие клочки и спокойно сказал присутствовавшим офицерам:

– Оставим эту заблудшуюся овцу. В лагере нет дома для сумасшедших; так надобно отпустить его туда, где больные одинакою с ним болезнию собрались ватагой. Что делать? Заблуждение их есть одна из пестрот рода человеческого. Предоставим времени сгладить ее. Ум и сердце начинают быть пытливы сообразно веку, в который мы живем: наступит, может быть, и то время, когда они присядутся на возвышенных истинах.

– Но подметное письмо? – спросил румормейстер.

– Пасквиль именно на меня! – сказал, усмехаясь, Паткуль. – А как мое доброе имя не может пострадать от сумасбродных людей, то я сочинителю письма и посланнику его охотно

прощаю. С тем, однако ж, – прибавил он, обратившись к раскольнику, – подобных бумаг в стан русских не пересылать. Смотри! перескажи это, закоснелый невежа, твоему учителю. В противном случае Мурзенко с своими татарами отыщет его в преисподней. Тогда не пеняйте на изменника Паткуля. Вот мой ответ: слышишь ли?

– Близок час Страшного суда! – вздохнув, отвечал раскольник.

– Теперь, – продолжал Паткуль, обращаясь к румормейстеру, – передаю вам пленника. Прошу вас поступить с ним великодушно.

Румормейстер, обещав не делать ему никакого телесного истязания, принял раскольника в свое ведение; но, желая согласить веселый нрав со своею обязанностию, повелевающею ему ловить и наказывать, как нарушителей спокойствия в стане, подметчиков писем, рассевающих ложные слухи, и ослушников царских указов, решился подшутить над своим пленником. Он отвел его за караулом к высокому берегу Лелии, велел нескольким солдатам окружить раскольника, поставить его на колени и положить голову его на бара-

бан. Во всю эту операцию крестьянин производил только:

– О имени Господа Бога и Спаса нашего страдахом.

Но, как скоро увидел, что цирюльник собирался брить ему бороду, он начал бороться с солдатами, проклинал всех, ревел и, наконец, умолял лучше умертвить его. Стоны его раздавались по лагерю. Сильные руки сжали ему рот, держали его за волоса, за два конца бороды, за ноги, затылок – и сокровище, которое было для него жизни дороже, – борода упала к ногам нечестивых никонианцев, которые с хохотом затоптали ее. Смертная бледность выступила на его лице; холодный пот капал со лба; пена во рту клубилась; как вкопанный в землю стоял он. Вдруг какое-то исступление оживило его черты, глаза его страшно запрыгали:

– Настала кончина века и час Страшного суда! Мучьтесь, окаянные нечестивцы! я умираю страдальцем о Господе, – произнес он, пробился сквозь солдат и бросился стремглав с берега в Лелию. Удар головы его об огромный камень отразился в сердцах изумленных

зрителей. Ужас в них заменил хохот. Подняли несчастного. Череп был разбит; нельзя было узнать на нем образа человеческого.

– Собаке собачья смерть! – сказал румормейстер и велел писарю изготовить *репорт* высшему начальству об этом происшествии.

– На чью-то душу грех ляжет? – роптали в унынии солдаты.

Как водится, зарыли самоубийцу в лесной глуши. Говорили впоследствии времени, что на месте том видели осьмиконечный деревянный крест и слышимо бывало, раз в год, жалобное протяжное пение.

Глава вторая

Посланник

*Со взором, полным хитрой лести,
Ей карла руку подает,
Вещая: дивная Наина!
Мне драгоценен твой союз.
Мы посрадим коварство Финна.*
Пушкин

Суд и происшествие это отдалили нас от Сставки фельдмаршальской. Возвратимся к ней и послушаем, что там говорится. В ней слышны были два голоса: долго и тихо беседовали они между собою на полурусском и полунемецком языке, как будто совещались о весьма важном деле; по временам раздавался третий, пискливый голосок. Наконец один из совещателей произнес твердо и чисто по-русски:

– Смотри же, Голиаф Самсонович[139]! не ударьте лицом в грязь да выполните дельце чистенько.

На эту просьбу, в которую вкрадывалось повеление, отвечал тоненький голосок:

– Потолкуй еще, Борис, да потолкуй; поворачи да еще накажи. Тебя бы Августом, а не Борисом звать. Эко диво один блин не комом испечь! Ныне времена не те: послан за одним делом, сделай их пять хорошенько! Это *по-батюшкиному* да по-моему. О, ох, вы полководцы! гадают по дням и ночам на каких-то басурманских картах, шевелят, переворачивают, думают думу великую, а с места ни шагу. Добро б ломали голову, как целый край забрать; а то сидят, бедняги, повеся нос над бедной деревушкой, которую муха покроет, с позволения сказать... Тьфу!.. По-моему, взял ее да и помарал на карте; в глазах не рябит, и в голове заботушкой меньше. Эх, Борис! кабы не пугнул тебя *батюшка* на легкий день, да на Новый год, под Ересфер, ты бы, чай, и теперь переминался, как дать шведу щелчок и отплатить ему за нарвскую потасовку.

– Заврался, Голиаф! – произнес прежний повелительный голос.

– То-то и есть, – продолжал тоненький голосок, – теперь Голиаф, а давеча Самсонович! Недаром говорят, что бояре правды не любят. Это, видно, не чужую рубашонку дерут. При-

ложу к правде другую, выйдут две; локоть выше головы не будет... честь имею репортовать высокоповелительному, высокомощному господину... Прощай, Боринька! будь покоен, mein Herzens Kind![140] все будет исполнено по-твоему. Adieu, mein Herr Patkul![141] Большой такой, гросс? черна волос... шварц? не правда ли? о ја! о ја! gut! gut![142] Ильза повезет меня к нему?.. Девка славная, по мне! Да скажи ему, Борис, что он будет отвечать мне своею головой, если приятель его набедокурит надо мною: ведь я не Карлуша!

С последним словом выползла из палатки маленькая живая фигурка, от земли с небольшим аршин, довольно старообразная, но правильно сложенная. Этот человек был в треугольной, обложенной мишурным галуном шляпе, из которой торчало множество павлиньих перьев, в алонжевом парике[143], пышно всчесанном, в гродетуровом сизом мундире с бархатным пунцовым воротником и такими же обшлагами и с разными знаками из золотой бумаги и стекляруса на груди, при деревянной выкрашенной шпаге. Это был карла Бориса Петровича Шереметева – необходимая

потребность знатных людей того времени! Для сокращения походного штата он же исполнял и должность шута.

Сам государь бывал всегда окружаем этими важными чинами. В извинение слабости, веку принадлежавшей, надобно, однако ж, сказать, что люди эти, большею частью дураки только по имени и наружности, бывали нередко полезнейшими членами государства, говоря в шутках сильным лицам, которым служили, истины смелые, развеселяя их в минуты гнева, гибельные для подвластных им, намекая в присказочках и побасенках о неправдах судей и неисправностях чиновных исполнителей, – о чем молчали высшие бояре по сродству, хлебосольству, своекорыстию и боязни безвременья. Карла, или шута, искал только угодить своему господину, не имел что потерять, а за щелчком не гонялся: неудовольствие посторонней знати не только не пугало его, но еще льстило его самолюбию. По наружности обиженный природою, он утешался, по крайней мере, тем, что в обществе людей не только не был лишний, но еще играл роль судьи и критика и имел влияние на

сильных земли. Нередко уважали его и даже боялись. Одним словом, шуты были живые апологи[144], Езопы того времени.

Карлу Шереметева любили почти все солдаты и офицеры армии его, не терпели одни недобрые. Он знал многие изречения Петра Великого и умел кстати употреблять их.

Нарядный человек отошел несколько от палатки фельдмаршальской, стал на бугор, важно раскланялся шляпою на все стороны, вытянул шею и, приставив к одному из сверкающих глаз своих бумагу, сложенную в трубку, долго и пристально смотрел на Муннамегги. Солдаты выглядывали сначала из палаток, как лягушки из воды, потом выползли из них и составили около него кружок.

– Здравствуй, названная кума! здравствуй, душечка! – сказал карла, кивая горе головою и посылая ей по воздуху поцелуи.

– Кого ж ты, ваше благородие, с нею крестить-то собираешься? – спросили два молодых солдата Преображенского полка.

Карла начал морщиться, пожимать плечами и, закрыв глаза ручонками своими, запищал жалобным голосом:

– Остыдили, осрамили отца-командера! да еще кто ж?

Кажись, гвардейцы. Эки недогадливые! Кого ж чухонке с русским крестить, как не шведенка?

– Ха, ха, ха! и дельно так! – отвечали несколько солдат.

– Да что ж названная кума не жалует к тебе?

– Спесива, ребяташки, хватики, молодцы! позывает меня к себе на крестины. Жду и ныне зова, как петух на взморье; да где ж мне... одному?

– Прикажи, отец-командер, выручим! – закричал Бутырского полка солдат с седыми усами.

– Тебя выручим, а чухонку выучим, чтобы не спесивилась, – повторили несколько голов.

Карла. *Уж мы ее взъересферим! Добро, злодейка! (Грозится на лифляндскую сторону.)*

Старый солдат. Кого ж из нас выберешь для школы?

Карла (*задумавшись*). Вот-те и задача! Преображенцы-молодцы со крестом и молитвою готовы один на двоих; будет время, что пой-

дут один на пятерых. Верные слуги царские! с ними не пропадешь. Семеновцы-удальцы, потешали, вместе с преображенцами, батюшку, когда он еще был крохоткою. Теперь надежда-государь вырос: рукой не достанешь! потехи ему надобны другие, не детские! Вырвут из беды да из полымя; будут брать деревни, города, крепости, царства... Только жаль, командер у них... плохой.

Множество семеновцев (*выступая вперед, с досадою, в разные голоса*). Плохой?

– В уме ли ты, Самсоныч?

– У нас командер не переметчик какой немчура Якушка, Крой, Брусбард или Умор, а русский боярин, князь Голицын.

– С ним мы умереть готовы.

– Голицыны всегда служили царям верою и правдою, не изветами.

– Дай бог нашему Михайле Михайловичу многие лета здравствовать!

– Дай бог роду его несчетные годы красоваться!

Карла. Прост, ужас прост!

Несколько голосов. Докажи, бесенок!

Старый солдат. Эки вороны! разве не види-

те, что Самсоныч балясы точит, нас морочит?

Карла. Солдат кормить жирно – страх нездорово животу! Кармана не набивает, государевой казны не крадет.

Один из толпы. То-то начальник: чист перед царем, как свечка перед образом Спасителя! Солдатская слеза на него не канет в день Судный.

Карла. Что ж он сделал еще доброго?

Один за другим. Он первый показал нам, что шведские ружья не заколдованы.

– Он первый шел в огонь под Ересфером и прорезывал нам дорогу своею молодецкою грудью.

– А где он шел, там делалась улица из шведского полка.

Карла. Экой ум! лба не жалеет за матушку за церкву, за царя-надежу. Как будто у него тройной череп! А я расскажу вам про одного: то-то разумник, то-то бисерный! Сначала, как услышал тревогу, так и убрался под пушку, а потом – знать, бомбардир ударил его банником...

Многие. Поднес ему бомбардирскую закуску! Ха-ха-ха!

Карла. Потом ускользнул он ко мне в обоз. Лишь кончилась беда, он первый рассказывает, как дело шло, где кто стоял, что делал, как он пушки брал. Послушать его, так уши развесишь, поет и распевает, как жаворонок над проталинкой.

Старый солдат. Видно, какой-нибудь ма-тушкин сынок, вырос во хлопках да на молоке: по-телячьи и умрет! Благодарение Богу! в нашем полку таким боярам не вод.

Карла. А что ваш князь Михаил? сделает дело на славу, да и молчит. Ну кто бы знал про его храбрество?

Старый солдат. Как! кто бы знал? Не все хорошей славе на сердце лежать, а дурной бежать; и добрая молва по добру и разносится. От всего святого русского воинства нашему князю похвала; государь его жалует; ему честь, а полку вдвое. Мы про него и песенку сложили. Как придем с похода по домам, наши ребята да бабы будут величать его, а внучки подслушают песенку, выучат ее да своим внучатам затвердят.

Карла (*запрыгав и забив в ладоши*). То-то молодец, то-то удалец! Умрет, да не умрет!

(Скидает шляпу.) Станет и в Царстве Небесном по правую сторону. Эка слава! эка благодать! Простите, ребяташки! не помяните меня лихом за ошибку.

Старый солдат. Ничего, Самсоныч! мы ведаем, что ты пошучивал, а шутка ведь не убивает, хоть она у тебя попадает иногда не в бровь, а прямо в глаз. Иной думает – ты спросту, ан у тебя штука – да загвоздка.

Карла. За прощение покажу вам утешение. Уж то-то штука!

Несколько голосов. Покажи, Самсоныч, покажи. Ты ведь затейник большой.

Старый солдат. Да ты, чай, устал, Самсоныч? Садись ко мне на колена, а ребята в кружок около тебя.

Несколько голосов. Ко мне, ко мне, Самсоныч!

Карла *(оглядываясь)*. У старика совестно сидеть: ведь я тяжел, куда как тяжел! *(Выбирает дюжего, молодого парня из драгун и располагает у него на коленах.)* Люби ездить, дружок, люби и повозить. Слушайте же, православные, да... *(Отстраняет некоторых рукою, чтобы ему не мешали видеть Муннамег-*

зи.)

Солдат. Что ни говори, а все кума на уме!

Карла. Зазнобила сердечушко; только вы, ребяташки, и заживите рану снадобьем пороховым, вырвете занозу штыком молодецким. *(Развертывает ландкарту Лифляндии в большом размере, с разными украшениями.)* Посмотрите-ка сюда!

Солдаты пожимаются около него, смотрят на бумагу, иные через плечо товарищей, и передают, что они видели, тем, которые сзади ничего не могли видеть.

Несколько солдат, один за другим. Вот это на одном углу – гвардейский солдат, на другом – бомбардир, на третьем – драгун, а на четвертом – калмык – ахти, ребята! точь-в-точь полковник Мурзенко! Что ж это за грамотка размалеванная и что они делят меж собой?

Два солдата, постарше и посмышленнее других. Кружки со струйками, один более другого, словно озера!

– Смотри-ка, брат, будто жилки текут, не урчайки[145] ли уж, а может, и речки.

– Здесь крайницы, словно у Чудского, а

тут перепутано нитей, нитей-то, подобно паутине. Травки, бугорки, букашки, мурашки, крестики – и все с подписями!

Карла. Это Лифлянды сведены на бумагу.

Несколько голосов. Лифлянды? Статошное ли дело?

Карла. А вы небось думали, что латышская земля и бог вещь какой огромный край. Вот этого листика для него довольно, а для России надобно листов сто таких. Хотите ли знать, где Юрьев?

Молодой солдат. Юрьев? покажи, Самсоныч!

Карла (*водя его палец*). Не тут, вот здесь, поймал! Покрой же пальцем.

Молодой солдат. Не величек же; а коли ладонь разверну, так, чай, целый край захвачу.

Карла. Вестимо.

Старый солдат. Пора бы и ладонь распротавить.

Карла. А вот Ересфер, где мы на Новый год пощелкали шведов.

Солдат. Эка крохотка! а, кажись, вечер и утро дрались.

Карла. Круг-то большой со струйками –

Чудское озеро; на берегу его Рапин, откуда Михайла Борисович выгнал шведов. *(Берет карандаш и замарывает некоторые места.)*

Солдат. Это ты для чего делаешь, Самсоныч?

Карла. Все эти места из счету вон – за нами!

Солдат. За нами! Вот как славно! авось мы еще помараем.

Карла. А вот Медвежья голова, далее – Ракобор, Колывань[146]...

Солдат. Имена-то все русские, а в Лифляндах стоят!

Карла. Эка ты башка! ведь все Лифлянды в старину были за Россиюю, за домом Пресвятыя Богородицы; города-то построены нашими благоверными русскими князьями и платили нам дань. В смуты наши пришел швед из-за моря – вот, смотрите, из-за этого.

Солдат. Отколь его, окаянного, несло! Видно, братцы, из этого моря выскакивают фароновы люди[147] и кричат проезжающим: долго ли нам мучиться? скоро ли, скоро ли будет преставление света?

Карла. Швед, как пришел из-за этого моря,

застал врасплох наших да и завладел всем здешним краем и святую церковь в нем разорил. За что ж дерется ныне наш православный батюшка (*снимает шляпу*) государь Петр Алексеевич, как не за свое добро, за отчину свою давнюю? Видите, как она примкнута к России, будто с нею срослась. Россия-то вправо, рубеж зеленою каемочкою означен.

Солдат. Чуть-чуть рубчик виден, да мы его сотрем.

Другой. Стоять будем здесь, так сами скоро заплеснеем. Под лежащий камень вода не подтечет.

Карла. А теперь куда бы хорошо поведаться со шведом! Скажу вам, ребятушки, восточку горяченькую, только что с пыла; я слышал ее сам своими ушми в ставке фельдмаршальской – да не выдайте ж меня, братцы!

Многие солдаты вместе. Статошное ли дело, Самсоныч? Ведь мы не некрести какие!

Карла (*вполголоса*). Фельдмаршал сидел вчера вечером с князем Михаилом, да с князем Василием Алексеевичем Вадбольским, да с Никитою Ивановичем Полуектовым. Взяла меня охота подслушать их: я и притаился за

полою ставки, как зайчик за кустом, и слышу, Борис Петрович говорит: «Поздравляю вас, господа! скоро у нас поход будет. Я для этого к вам из Пскова приехал. Шлиппенбах задремал и думает, что мы также заснули. Распустил он полки свои по хватерам и нас, неожиданных гостей, к себе не чаает; а мы в добрый час да со святою молитвою нагрянем на него, как снег на голову».

Несколько солдат, один за другим. Разобьем его в пух.

– Растрясем его кармашки с ефимками[148]

– Возьмем Лифлянды, свое старое добро, отчину царскую.

Карла. Тогда ему и воевать не с кем будет: ведь и офицеры-то у него лучшие лифляндцы; уж сказать правду-матку, служат грудью своему государю, а как нашему крест поцелуют, станут так же служить, будут нашей каши прихлебатели. Поладим с ними, забражничаем, заживем, как братья, и завоюем под державу белого царя все земли от Ледяного до Черного моря, от Азова до...

Толстый немецкий офицер, уча рекрут, на-

ходит на толпу солдат и, разгоняя их палкой, кричит:

– Форт! форт!

Солдаты расходятся, толкуя про себя: «На беду окаянного басурмана тут наткнуло! Не спросили мы, ребята, Самсоныча, когда-то скажут поход?»

Немецкий офицер (*запыхавшись*). Ряз, двиа, уф! ног више, die Spitzen nieder[149], уф! (*Сердится, что рекруты его не понимают, скидает с себя в досаде шляпу и парик, которые трясет в руках; то, вытянувшись, как аршин, ступает по-журавлиному, то, весь искобенившись, прыгает едва не вприсядку, то бьет по носкам рекрут палкою.*) О шмерц! [150]

Карла. Палочка здоров для русска. Еще, еще прибавь. Кажись, ваша братья на муштре собаку съели, а еще не дошли до хвоста. Кабы я был немец, поделал бы для ног станки, заставил бы ходить по натянутой струнке да прыгать на одной ножке.

Немецкий офицер (*продолжая сердиться*). О шмерц! о бестолков русска народ! (*Толкает с дороги карлу.*)

Карла. Эку тучу надвинуло! словно нареченная кума Муннамегги! Смотри, Каспар Адамович, выучишь скалозуба русского на свою голову, на беду своей братьи, имячку «шмерца». Передаст он это прозваньице, как песенку про князя Михаила, в роды родов. Ведь русский – проказник большой: зарубит присказочку языком, не сгладишь терпугом [151]; вставит разом в рамочку и выставит на показ на лобное место. *(Идет далее, маршируя и приговаривая.)* Ряз, двиа, ног више, спина ниже, брюко толсто, голиовко пусто! О шмерц! о шмерц!

Немного отойдя, мишурный генерал посмотрел опять в свернутую бумагу на гору Муннамегги и, как будто заметив на ней дымок, побежал опрометью в разоренный Нейгаузен. При выходе из городка ожидала карлу женщина лет сорока, высокая, сухощавая. Она одета была, как обыкновенно снаряжаются чухонские девки в праздничные дни; но, с необыкновенною наружностью ее, одеяние это давало ей какой-то фантастический вид. На ней была повязка, подобная короне, из стекляруса, золотым галуном обложенная, ис-

кусно сплетенный из васильков веночек обвинял ее голову, надвинувшись на черные брови, из-под которых сверкали карие глаза, будто насквозь пронизавшие; черные длинные волосы падали космами по плечам; на груди блестело серебряное полушарие, на шее – ожерелье из *коральков*[152]; она была небрежно обернута белою мантией. Сквозь правильные черты пожелтевшего лица ее мелькали по временам глубокая задумчивость или дикое, буйное веселье. Голос ее то резал воздух, подобно крику вещей птицы, то был глух, как отзвук гробовой. Казалось бы, это необыкновенное существо должно бы в стане русском привлечь на себя жадное любопытство толпы; напротив, ни один взор, ни одно движение не обличали этого любопытства. Чужеземка эта в стане находилась будто в своем селении, в своем семействе. Все, от высшего до нижнего чина, знали ее по имени, разными знаками изъясняли ей свою приязнь, называли ее родными именами тетушки, сестры. Кто ж была она такая? Чухонская девка Ильза, *маркитантша*[153] при корпусе Шереметева, уже два года отправлявшая эту

должность. Никто скорее и лучше ее не мог достать сладкого лагерного кусочка; не было для нее ни запрещенного, ни далекого, ни скрытого. Для солдата имела она всегда искрометного шнапса и табаку-папушника. Это зелье еще недавно вошло в употребление, но уже нравилось солдату своим приятным головокружением. Высшим чинам умела она угодить хорошою анисовою водкой, животрепещущею рыбою, мастерским варением кофе, употребление которого начинали русские перенимать у немцев, и мало ли чем еще! К тому же исправляла она в стане и должность сивиллы[154]: генерал и профос[155] равно веровали в этого оракула. Говорили даже, что сам фельдмаршал не раз призывал ее в свою ставку гадать об успехах русского оружия. Она предсказала ему победу под Эррастфером. Иные верили этим слухам, другие – и это была самая меньшая часть – отыскивали в этих свиданиях военачальника с ворожеей причину не столь сверхъестественную: именно видели в ней лазутчицу, передающую ему разные вести из Лифляндии, которую она то и дело посещала. Мы не можем до времени под-

тверждать ни того ни другого мнения. Знаем только, что она в два года умела принорочиться к русским обычаям и выучиться несколько русскому языку, на котором говорила пополам с чухонским и немецким, приправляя эту смесь солью любимых поговорок народа, между которым хотя она и не родилась, но нашла пропитание, ласки и, может быть, утешения.

Среди обгорелых стен опустошенного городка Нейгаузена видна была Ильза, одна, как привидение. Длинною, сухощавою рукой манила она к себе нарядного карлу; белый хитон ее, удерживаемый другою рукой, парусил ветер. Подле нее стояла тележка о двух колесах, в которую запряжена была оседланная гнедая лошадка с косматою гривой, круглая, как шарик. Бойкое животное выглядывало по временам из-за маленькой, едва согнутой дуги на свою повелительницу и потом нетерпеливо ударяло копытом в землю, но с места тронуться не смело, хотя и не было на привязи. По тележке разостлано было пышное ложе из свежей соломы. Пока бежал карла к Ильзе, ее обступило несколько солдат из ка-

раульни, помещенной в развалинах одного дома.

– Скажи-ка нам слово и дело.

– Поворожи-ка нам на ручке, тетушка!

– Будет ли нам талан? – кричали один за другим, протягивая к ней руки, полновесные и широкие, как у мясника.

Сивилла, с нетерпением лошадки своей, поглядывала на ожидаемый ею предмет, осматривала попеременно простертые к ней ладони и приговаривала:

– Линия карош, mein Kindchen[156], прямо в Лифлянды! Добре, очень добре! много денех, богата замок; дом такой большой! О! пожив будет велик! мой не забудь тогда, голубчик!

– Не забудем, не забудем!

– Прощай, ребятушка! (Здесь Ильза низко присела и послала рукою одному пригожему новобранцу поцелуй, заставивший его трянуть головой, как будто на нем волосы были острижены в кружок, и покраснеть до белка глаз.)

– Куда ж ты спешишь, тетушка?

– Все тетушка! Я молода девочка.

– Ну скажи, сестрица-голубушка, куда?

– С моей любезный Самсоныч на Мунна-мегги, поколдовать для большой, большой генерал.

– Ага! смекаем! поспешеньница вам желаем.

Солдаты воротились в караульню и продолжали между собой говорить:

– Видно, быть походу, братцы! линии-то выходят у всех на Лифлянды, и ветерок туда позывает.

У входа в опустошенное местечко стоял на часах солдат из рекрут, недавно прибывший на службу, а как фельдмаршал приехал только накануне из Пскова, то новобранец и не имел случая видеть его карлу. Долго всматривался он издали в маленькое ползущее животное, на котором развевались павлиньи перья; наконец, заметив галун на шляпе, украшения на груди и шпагу, он закричал:

– Кто идет?

– Солдат! – бодро отвечал Голиаф.

– Пароль?

– Троицын монастырь!

– Извольте идти, ваше благо... высоко... перевос... ходительство, как вас звать? Да про-

стите меня, виноват! я думал, что вы птица.

– Птица, птица! только не тебе стрелять ее, молокосос! – сердито проворчал мишурный генерал и обратился с важным поклоном к Ильзе, которая, не говоря ни слова, сделала ему глубокий *книксен*, длинными руками схватила его в охапку, посадила бережно на тележку и мигом вспрыгнула на седло. Борзая лошадка, послышав на себе повелительницу свою, понеслась с места и засыпала ногами, как по току дружная молотьба. Скоро колесница, из которой едва торчал палаш рыцаря *веселого образа* и над которой господствовала корона сивиллы, начала исчезать из виду и наконец совсем потонула в двойственном мраке отдаления.

Глава третья

Офицерская беседа

Вперед, вперед, моя история!

Пушкин

Между тем в развалинах замка собралось несколько офицеров, большею частью начальников разных полков. Вместо стульев каждый избрал себе по удобности камень или отломок стены. Налево от входа из лагеря, в тени, далеко ложившейся на землю от уцелевшей в этой стороне ограды, сидели друг к другу лицом, придерживая на коленях шахматную доску, Преображенского полка майор Карпов и драгунского своего имени полковник князь Вадбольский. Наружностию своею они составляли живописную противоположность, хотя оба известны были равными душевными достоинствами. В одежде, разговорах и обращении первого замечалась если не совершенная европейская образованность того времени, по крайней мере близкое подражание ей. Кажется, он был из числа тех молодых русских дворян, которых Петр посылал

путешествовать. Следуя французской моде, он носил на голове русый, со тщанием причесанный парик, с которого пышные локоны небрежно свивались и развивались по плечам; на приятном, дышащем свежестью лице его едва означались тонкие усики. Он был в темно-зеленом мундире с узеньким, в полувершок, отложным воротником, с огромными, в маленький грецкий орех, дутыми из меди и позолоченными пуговицами, прикрепленными ремешками на правой поле, на обшлагах рукавов, на клапанах и спинке, в две четверти шириной, собранной множеством складок. Весь мундир по краям обложен был золотым позументом. На правом плече вился золотой шнурок, цепляясь за такую же, в горошину, пуговицу; на груди вздувался серебряный знак с вызолоченною арматурою и с цифрою «1700», означавшею год взятия Азова. Камзол и короткое исподнее платье, очень удобное для бального представления, были из темно-зеленого же сукна, ярко перерезывавшего красный цвет чулок. В тогдашнее время не было еще мудрых ваксоизобретателей, и потому на майоре Преображенского полка не

блестели чернокожаные башмаки, вероятно вычищенные просто постным маслицем с сажею. Зато пушок не смел пасть на мундир его: в такой он содержался чистоте!

Князь Вадбольский был без мундира, без камзола и галстука – в пестрой, распашной рубашке с косым воротом, на котором горела богатая изумрудная запонка. На косматой широкой груди его висел наперсный серебряный крест необыкновенной величины. Смуглое, рябоватое, неправильное лицо его было залито добротою и благородством души. Слова его, не подслащенные, без украшений, считались вернее крепостных актов – они заменяли в устах его: *ей-ей, да будет мне стыдно!* Зато и дружба его была не ходячая монета: ею дорожили, как бесценным оружием, которое на важный случай берегут.

Игроки углубились в игру свою. На лбу и губах их сменялись, как мимолетающие облака, глубокая дума, хитрость, улыбка самодовольствия и досада. Ходы противников следил большими выпуклыми глазами и жадным вниманием своим полковник Лима, родом венецианец, но обычаями и языком со-

вершенно обрусевший. Он облокотился на колено, погрузив разложенные пальцы в седые волосы, выбивавшиеся между ними густыми потоками, и открыл таким образом высокий лоб свой.

Круглый большой обломок стены, упавший на другой большой отрывок, образовал площадку и лестницу о двух ступенях. Тут на разостланной медвежьей шкуре лежал, обхватив правою рукою барабан, Семен Иванович Кропотов. Голова его упала почти на грудь, так что за шляпой с тремя острыми углами ее и густым, черным париком едва заметен был римский облик его. Можно было подумать, что он дремлет; но, когда приподнял голову, заметна была в глазах скорбь, его преодолевавшая.

Ниже его сидел на ступеньке Никита Иванович Полуектов; он изредка подстерегал его движения, стараясь проникнуть в их тайну, ему в первый раз не открытую.

Довольно высоко от земли, на уступе ограды, небрежно расположился пригожий, молодой Дюмон. Живость, любезность и остроумие его нации блестели в его глазах; по раз-

горевшимся его щекам развевались полуденным ветром белокурые локоны. Он то играл на гитаре припеваючи, то любовался в задумчивости прекрасною окрестностью, перед ним разостланною.

Дюмон родился в Провансе. Бедный и предприимчивый, он приехал в 1695 году искать приключений в России, стране, еще именем варварской, попытать в ней счастья и надеялся, может быть, мимоходом наткнуться на славу. С первым шагом его на землю русскую ему предложено было вступить в ряды осаждавших Азов. Служа за честь, хотя и не за свое отечество, он был один из первых на всех приступах этого города, один из первых вошел в него победителем, за что при случае был царю представлен Гордоном[157], как отличнейший офицер его отряда.

В тогдашнее время завистливые и недостойные искатели фортуны, эти шмели государства, не смыкались еще в грозные фаланги, чтобы заслонить собою заслугу, не рассыпались по разным путям, чтобы перехватить достоинство и втоптать в грязь цвет, обещающий плод, для них опасный. Служившие голо-

вой и грудью смело шли вперед, не думая угождать единственно лицу начальника, не боясь за то названия людей беспокойных.

Петр Великий видел все своими глазами, все знал и рукою верно назначал каждому свое место по старшинству ума, труда, познаний и душевных достоинств, а не по степени искательства и рода.

– *Князь Никита*, – говорил он своему любимцу, который испрашивал одному знатному человеку место не по его способностям, – *хотя и достоин той чести и сердца доброго, только не его дело.*

Можно судить, что государь с таким суждением не замедлил наградить храброго Дюмона, при образовании регулярной конницы ему дан и назван по имени его драгунский полк. С добрым сердцем и живым умом, он не мог также не быть любим товарищами. Солдаты, одушевленные быстротою его движений и речи, преданные ему за отеческие о них попечения, за внятное и терпеливое изъяснение обязанностей службы и, особенно, за то, что он один из иностранцев их корпуса носил на шее медный солдатский крест, горе-

ли нетерпением, в честь начальника своего, окрещенного любовью их к нему в Дымонова, скусить не один патрон и порубиться на славу со шведом. Честно и молодецки выполнили они свою обязанность при Эррастфере.

Пониже Дюмона покачивался на барабане, боком положенном, капитан Преображенского полка Глебовской, молодой и наружности привлекательной. Чистым, приятным голосом вторил он мастерски прованскому трубадуру. У ног его сидел, сложив свои под себя крестообразно, Бутырского полка солдат, небольшого роста, худоцавый. Седые волосы его были острижены в кружок и кваском приглажены; густые брови нависли над серыми глазами, прыгавшими будто на проволоке. Он держал двухструнную балалайку, на которой пальцы его перебегали, как молния. Иногда вслушивался он пристально в голоса Дюмоновых песней и разом переводил на свой бедный, но послушный ему инструмент. Этот чудодей был Филя, ротный скоморох и сказочник. Несмотря на смелость его в обращении и колкость языка его, зацеплявшего иногда за живое, офицеры любили его и, по-видимому,

ободряли вольное его с ними обхождение.

Правей от шахматных игроков сидели на двух скамейках, на которых постланы были аккуратно два клетчатых носовых платка, старые полковники фон Верден и фон Шве-ден, первый – в пестром бумажном колпаке, кожаном колете[158] из толстой лосиной кожи, в штиблетах с огромными привязными раструбами, другой – с обнаженною, как полный месяц, лысиною, при всей форме пехотинца. Куря табак, они рассуждали о политике. По дыму трубок их, то усиливавшемуся, как вспышка Этны, то почти умиравшему, можно было судить о степени их душевного волнения, производимого важным разбором прав шестидесятого Генриха на наследование престола рейс-эберсдорф-лобенштейнского. К одному выходу из замка разложен был огонек, уже потухавший. Обгорелый шест, которого концы опирались на двух камнях, держал медный котелок с водою; один из этих камней обставлен был сковородою с остатками изжаренной с луком жирной почки, облупленным подносом с изукрашенным золотыми цветами карафином[159], с двумя сереб-

ряными чарами, расписанными чернью, работы устюжской, и узорочною серебряною братиною[160] с кровлею, вероятно, жалованною царями кому-нибудь из родителей собеседников при *милостивом слове*. Широкоплечий драгун с огромными усами и в засаленной рубашке, стоя на одном колене, обмывал в деревянной чаше оловянную посуду. По этому уголку можно было судить, что собеседники недавно подкрепили силы свои доброю закускою. Близ походного кухмейстера стоял почтенный старец Айгустов, опиравшийся иссохшими жилистыми руками на палаш. Улыбка детской непорочности порхала на устах его; он любовался тихим пламенем, переливавшимся по угольям. Изредка шевелил он их концом палаша, стараясь разбудить дремлющий огонек. Прислонясь затылком к стене и растянувшись на голой земле, спал, похрапывая, татарский наездник Мурзенко. В угодность царю-преобразователю, он сделался по наружности казаком; но большая голова, вросшая в широкие плеча, смуглое, плоское лицо, на котором едва означались места для глаз и поверхность носа, как на

кукле, ребячески сделанной, маленькие, толстые руки и такие же ноги, приставленные к огромному туловищу, — все обличало в нем степного жителя Азии. Хитрость писалась резкими чертами на лице его; казалось, она и во сне его не покидала. Мурзенко славился в войске Шереметева лихим наездничеством, личною храбростью, умением повелевать своими калмыцкими и башкирскими сотнями, которые на грозное гиканье его летели с быстротою стрелы, а нагайки его боялись пуще гнева пророка или самодельных божков; он славился искусством следить горячие ступни врагов, являться везде, где они его не ожидали, давать фельдмаршалу верные известия о положении и числе неприятеля, палить деревни, мызы, замки, наводить ужас на целую страну. Такими качествами успел он приобрести отличное внимание начальства и государя до того, что удостоился чина полковничьего, и умел сделать себе такое грозное имя в Лифляндии, что дети переставали плакать, когда его поминали.

Общество это было в гостях у князя Вадбольского, и в ожидании трубной повестки,

по которой все начальники полков должны были немедленно явиться к фельдмаршалу, разговаривали о важных и смешных предметах, пели, играли и не забывали изредка круговой чары.

– Что ты делаешь с рукою своею? – спросил Дюмон Никиту Ивановича Полуектова, который, подняв руку, держал ее несколько времени в таком положении.

– Пытаю, откуда ветер подует! – сказал Полуектов. – Не попутный ли для моего желанья? Так точно! С полудня! Помнишь ли свое обещание, соловушко французский?

Дюмон. Довольно хоть чиж прованский! Какое же обещание, полковник?

Полуектов. Когда ветер твоей родины подует, спеть нам песенку...

Дюмон. О прекрасном паже короля Рене [161]? Помню, помню и готов исполнить желание ваше, только боюсь, чтобы меня не стал передразнивать Вадбольский, как он делал это некогда в Москве, в доме князя Черкасского.

Полуектов. Злодей! Да еще при миловидной дочке княжеской, при целой веренице

пригожих девушек!

Дюмон. Вот это-то и лежит у меня на сердце. Правду сказать, любя Россию, пригревшую меня под крылом своим, любя ваш сладкий, звучный язык, созданный, кажется, для поэзии, я с того времени старался исправиться. Вы это знаете, господа!

Карпов. Мы знаем, что любезный наш полковник Дюмон не пренебрегает ни языком, ни обычаями нашими. *Король берет пешку на третьей клетке коня своего.*

Лима. Все кончено! Дожд[162] пропал.

Князь Вадбольский. До времени молчок, любезный Юрий Степанович! *Ферзь на четвертой клетке ладьи: шах королю!*

Карпов. *Король ретируется.*

Князь Вадбольский. Теперь и я скажу: дал зевка, брат Карпов! *Ферзь на второй клетке слона. Королю шах и мат!*

Карпов. Поздравляю: победа за вами!

Князь Вадбольский. Исполать[163]! теперь поразведемся и с певуном. Кажется, речь была о Вадбольском, который неосторожно когда-то, во времена оны, посмеялся над тем, что нерусский коверкал в песне русский

язык. Грех утаить: надрывался аз грешный от смеху, когда этот любезник пел: «Прости, зеленый лук! Где ты, мыла друк?» – и многое множество тому подобного.

Дюмон смеется.

Князь Вадбольский. Самому теперь смешно! Тогда и мне не было грустно, и я поджимал животики. Виноват, буду и вперед то же делать, когда случай придет. А то неужели, скорчив личину, подъехать было мне к вам, сударь, с турусами на колесах и обратиться со следующей речью: «Ах! мой милый, мой почтеннейший, мой наивеселеннейший Осип Осипович! как вы прекрасно изволите объясняться на русском! Не может стать, чтоб вы прожили только четыре года в России! Не поверю этому, воля ваша. Вы настоящий уроженец здешний. По крайней мере, *тятенька* или ваша маменька не жила ли в России? Ах! сколько вы чести делаете нашему народу, – ошибся – нашей грубой, варварской нации, вставляя в такую низкую оправу такой драгоценный алмаз! Ах!..» Еще ах! Тут пошли бы иудины лобзания, братские пожимания руки... а лишь за стенку – так не только рас-

писал бы сажеею наречие друга закадышного, да и все кишочки б его вымыл. Деды и отцы не тому нас учили. По-нашему: смешно, так смейся, груди легче и сердцу веселее; дурно – поправь; а когда не слушают – плюнь да отойди от зла; нездорово – так помоги; грустно – так погрусти немного, а хандре воли не давай, как наш Семен Иваныч, буди не к вечеру сказано...

Полуектов (*обращаясь к Кропотову*). Христос с тобой! Здоров ли ты, друг?

Кропотов. Телом здоров, только духом упал, как баба. Такая грусть, такая тоска на меня напала ныне, хоть бы бежать в воду.

Князь Вадбольский. Ге, ге! не белены ли ты объелся, Семен, что собираешься не христианскою смертью умереть? Лучше положить живот на поле бранном, сидя на коне вороном, с палашом в руке, обмытым кровью врагов отечества.

Кропотов. Смерти не боюсь; в жизни бывают обстоятельства мучительнее ее.

Князь Вадбольский. Разве совесть твоя нечистенька? Не верю этому. Неизменный слуга царский, православный христианин

словом и делом, хороший муж, добрый отец...

Кропотов (с горькой усмешкой). Добрый отец!.. Прекрасный... образец отцам!

Полуектов. Полно, князь Василий, его расшевеливать: видишь, ему не по себе.

Князь Вадбольский. Что ж? у него болит сердце, может быть, к радостной вести о походе. (Поет.) *Трара-ра! В литавры забьют и в трубы затрубят.* Гаркнут: на коней! и с нашего Сени хандра, как с гуся вода.

Мурзенко (протирая себе глаза). На коня? Кто, что?

Князь Вадбольский. Мимо проехали! Спи себе, Мурза, покуда есть время спать; может быть, ночью и некогда будет. Теперь мы сражаемся со своими. Дай-ка переведаться мне с Дюмоном, а там примемся за Семена: он свой брат, подождет.

Дюмон. А меня разве не считаете своим? Верьте, полковник, что вы хотя, иногда жестко побраниваете, но я за то не менее предан вам и готов...

Князь Вадбольский. Доказать? Ты уж доказал, друг, лучше слов. Помнишь, Никита Иваныч, под Эррастфером?

Полуектов. Как не помнить! Мы не в плену, в стане русском. Этим обязаны нашему храброму товарищу.

Дюмон. Стоит ли об этом говорить? Кто в войске нашем не сделал бы того же? Но, господа, вы просили меня о песенке...

Князь Вадбольский. Нет, братец, ты меня за живое задел. Теперь не взыщи, дай мне спеть свою песенку; твоя будет впереди. Мы, русские, простачки: сделай-ка нам добро, умеем чувствовать его, хоть не умеем рассыпаться мелким бесом. Фон Верден! ты еще не слышал этой *гистории*?

Фон Верден (*кашляя*). Нет еще, высокоблагородный каспадин полковник!

Князь Вадбольский. В этих высокоблагородиях да высокородиях черт ногу переломит. Иной бы и сказал: высокий такой-то, а сердце наперекор твердит – низкородный и даже уродный. Ой, ой, вы немцы! все любите чинами титуловаться. По-нашему: *братец!* оно как-то и чище и короче. Послушайте же меня, господин полковник фон Верден: для вас эта *гистория* будет любопытна. Ведь вы под Эррастфером не были?

Фон Верден (*потирая себе руки*). Не имел чести.

Князь Вадбольский. Мы, благодаря Господа и небесные силы, сподобились этой чести. (*Крестится.*) Да будет первый день нынешнего года благословен от внуков и правнуков наших! Выиграло от него сердце и у батюшки нашего Петра Алексеевича. И как не выиграть сердцу русскому? В первый еще раз тогда наложили мы медвежью лапу на шведа; в первый раз почесали ему затылок так, что он до сей поры не опомнится. Вот видишь, как дело происходило, сколько я его видел. Когда обрели мы неприятеля у деревушки в боевом порядке...

Фон Верден (*обращаясь к Карпову с видом недоумения и язвительной усмешкой*). Баевой паряток? Катится, этого термин нет...

Карпов. По-вашему это значит – в орде-ре-де-баталии[164].

Князь Вадбольский. Ох, батюшка Петр Алексеевич! Одним ты согрешил, что наш язык и наружность обасурманил: нарядил ты оба в какие-то алонжевые парики. Ну да за то, что просвещаешь наши умы, за твои великие

дела Бог тебя простит! Будь же по-твоему, фон Верден! Слушай же мой *дискурс*[165]. Когда обрели мы неприятеля в *ордере-де-баталии* и увидели, что *регименты*[166] его шли в такой *аллиенции*[167], как на *муштре*, правду сказать, сердце екнуло не раз у меня в груди; но, призвав на помощь Святую Троицу и Божью Матерь Казанскую, вступили мы, без дальних *комплиментов*, с неприятелем в рукопашный бой. Войско наше, яко не *практикованное*, к тому ж и пушки наши не приспели, скоро в *конфузию* пришло и *ретироваться* стало, *виктория*[168] шведам *формально фаворизи-ро-ва-ла*. Желая с Полуектовым *персонально* сделать *диверсию* важной *консеквенции*[169] и надеясь, что она будет иметь добрый *сукцес*[170], решились мы с ним в *конфиденции*[171]: в *принципии* атаковать... Уф, родные, окатите меня водою! Мочи нет! не выдержу, воля ваша! Понимай меня или не понимай, фон Верден, а я буду говорить на своем родном языке. Вот видишь, нас с Полуектовым нелегкая понесла прямо на тычины, которыми окружена была мыза; мы хотели спешить своих и по-русски махнуть через забор.

Не тут-то было! Шведские дуры из-за него плюнули в нас так, что мои воронок – славный конь был покойник, честно и пал! – свернулся на бок и меня порядочно придавил. Никите не было легче, как он сказывал после. Один окаянный швед собирался уже потрошить меня, а другой сдирал с шеи вот этот серебряный крест с ладонкою, подаренный мне бабушкой и крестною матерью Анфисою Патрикеевною, – дай бог ей царство небесное! «Вражья сила тебя никогда не одолеет, пока будешь носить его!» – сказала она, благословляя меня этим крестом. Я вспомнил слова ее и только что успел скусить палец разбойнику-шведу, так что и крест выпал у него из рук, вдруг зазвенел надо мною знакомый голос: «Сюда, сюда, детушки! спасайте князя Вадбольского, спасайте Полуектова». Окаянные отскочили от меня... слышу: фит, фит, чик, чик, хлоп!.. вслед за этим назади из наших пушек попукивать стали. Узнал родных по языку их: ведь они, братцы, вылиты из колоколов московских. Вместо шведов явились передо мною два дюжих драгуна Дюмонова полка, вытащили меня из-под мертвой лошади и по-

садили на шведского коня. Злодей, хоть и скотина, врезал меня в басурманский полк, но тут осенили меня знамена русские. Наши гнали, швед бежал. Палаш мой на себя охулки не положил. В тот же день под сенью этих святых знамен отслужили мы благодарственный молебен Спасу милостивому и пречистой Его матери за первую славную победу, дарованную нам над шведами, и oprичь того за избавление меня от позорного плена. Вот наш с Полуектовым избавитель! *(Указывает на Дюмона.)*

Дюмон. Не для вас, господа, а для чести моей я спешил вас выручить.

Князь Вадбольский. Что у тебя было на душе, приятель, мы не знаем и не хотим знать. Чужая душа потемки. Бог один провидец и судья ее. Человек же должен судить ближнего по делам его, а не по догадкам своего уразумения, часто кривого, и сердца, нередко ненавистного. Добро называю добром и не разбираю, почему и как оно сделано. Так и мы с Полуектовым ведаем, что мы, по милости твоей, остались живы да здоровы и не охаем в штокгольмской тюрьме, где – не нашему чета –

брatья дoныне тoмятcя мeдлeннoю смeртнoю, гдe ржa цeпeй грызeт их кoстн.

Дюмoн. За нзбавлeннe вaшe скажнтe спaснбo eщe вoт этoй живoй куклe. *(Он пoкaзaл нa дрeмлющeгo Мурзeнкo.)*

Полуeктoв. Емy жe за чтo?

Дюмoн. Нe eгo лн блaгoдaрнл фeльдмaршaл за спaсeннe нaшeгo oтрядa с aртнллeрнeй, кoтoрyю он вывeл крaтчaйшeю дoрoгoй нз снeгoв? нe за этoт лн пoдвнг он пoжалoвaн в пoлкoвннкн?

Кaрпoв. Прaвдy скaзaть, eслн бн нe прнспeлa в дoбрый чaс нaшa aртнллeрнa, нa сeкх пoлoжнл бн лoскoм нa мeстe.

Мурзeнкo *(зeвaя)*. Агн, агa! Твoя прo мoя гoвoрнт? Нeт, пoлкoвннк, мoя нe знaлa дoрoг, a у мoя былa прoвoдннк хoрoш. Спрoсн Юрнй Стeпaнoвнч: eгo шлa тoгдa с пушкoю.

Лнмa. Прaвдa. Еслн б нe вoжaтый, o кoтoрoм гoвoрнт Мурзa, тo бoг знaeт, чтo с нaмн бн случнлoсь. Вoт кaк былo дeлo. Чуть брeжнлoсь пeрeд рaссвeтoм. Гoспoднн фeльдмaршaл пoдвнгaлcя с oтрядoм нaшнм к Эррaстфeрy; нo, услышaв, чтo в aвaнгaрдe нaчннaл зaвязывaтьcя бoй, пoручнл мнe вмeстe с Мур-

зою привести, как можно поспешнее, на место сражения артиллерию, которая за снегом и нагорными дорогами отстала от головы войска; сам же, отделив от нас почти всю кавалерию, кроме полка моего и татар, поскакал с нею вперед. Фельдмаршал будто унес с собою хорошую погоду. Едва потеряли мы его из виду, как небо застлала огромная туча; сначала запорошил снежок, но вдруг, усилившись, посыпал решетом. С этим поднялся ветерок и завертела метелица. Дорогу начало заметать и скоро совсем заткало. Кроме снеговой сети, ничего не было видно. Лица солдат приметно изменились: они вспомнили о снеге, ослепившем их под Нарвою. К несчастью нашему, проводник, латыш, добытый Мурзою, сбился с дороги. В отчаянии он стал метаться в разные стороны и наконец, измученный, пал на снег. Кровь хлынула у него изо рта и ушей. Я подъехал к нему – он был уже мертвый; одна минута – и над ним возвышался только снежный бугор. Пораженные этим зрелищем, солдаты остановились: казалось, холод его смерти перешел в них. Что до меня, признаюсь, не помню, чтобы я когда-либо ис-

пытал подобную муку. Не за жизнь, а за честь свою я опасался. Отряд был поручен мне. С морозом, думал я, русский солдат совладеет; но я мог не успеть в дело: со мною была главная сила русского войска – артиллерия... судите о последствиях. Несчастье мое причли бы к измене: я иностранец...

Карпов и Кропотов. Мы давно это забыли, Юрий Степанович!

Полуектов. Давно уже ты брат наш и службою и сердцем.

Князь Вадбольский. Ты только по-нашему не крестишься.

Лима. Благодарю за дружбу вашу; уверен в вашем хорошем мнении обо мне; но вы... не целое войско русское. Была у меня тут мысль другая. Русские уж извели силу свою; извели, что побеждать могут и должны, и потому всякую неудачу, всякое несчастье причтут к измене. Начальник русского войска из иностранцев, сверх качеств, требуемых от него как от полководца, должен еще быть счастлив. Одна неудача – и он пропал в общем мнении. Боже! не дай мне дожить до подобного опыта. Мысль, что меня почтут предателем,

мучила меня более казни. Время было дорого, друзья мои! Я решился идти прямо в ту сторону, откуда слышна была пальба, все усиливавшаяся. Мы поворотили уже влево целиком и радовались, что колеса шли легче по ледяному черепу, принятому нами за дорогу, как вдруг, сквозь сеющий снег, увидели быстро двигавшуюся фигуру. «Стой!» – гаркнула она по-русски и стала передо мною и Мурзой. Здесь мог я разглядеть, что это был мужчина высокого роста, в коротком плаще из оленьей кожи, в высокой шапке, на лыжах, с шестом в руке. «Что тебе надобно?» – спросил я его, не зная, чему приписать необыкновенное явление этого человека. «Овраг – и смерть!» – произнес он глухо, ухватил мою лошадь за узду, осадил ее, сделал шага два вперед, стал на одно колено, дал знак казаку, чтобы он подержал его за конец плаща, и могучею рукою разворотил шестом бугорки, что стояли перед нами. Боже мой! в какой ужас я пришел, когда увидел вместо снежных возвышений узенький, но глубочайший овраг, заросший сверху редким кустарником; густой снег застилал пропасть. Из глубины души благодарил

я Бога за спасение наше; солдаты у окраины-цы оврага крестились. «Кто говорит у вас по-немецки?!» – спросил меня незнакомец на этом языке. «Я, но ты по-русски объясняешься», – отвечал я ему. «Мало! Дело не в том. Время не терпит. Ваши без артиллерии пропали. За мною! я проведу вас, куда надобно», – сказал он опять по-немецки и поворотил вправо. Слова его, его движения возбуждали доверие. То, что он сделал для нас, не мог сделать недруг. Я последовал за своим избавителем и велел то же исполнять всему отряду. Вожатый не шел, а, казалось, летел на лыжах; шестом означал он нам, где снег был тверже, и оставлял по нем резкие следы. Когда мы замедляли, он с особенным нетерпением махал нам рукою и указывал в ту сторону, где слышна была пальба. Нежный сын не с меньшим трогательным участием вел бы врача к одру болящего родителя. Проехав сажень двести, мы почувствовали кое-где твердость битой дороги; здесь тронулись мы маленькою рысью. Между тем снег начал редеть, скоро небо совсем очистилось, солнышко просияло, про-светлели у всех и лица. Проехав еще с версту,

гаинственный вожатый остановился и указал мне рукою на чернеющую толпу всадников. Это были наши! «Наши!» – закричал с восторгом отряд. Я успел только, в знак благодарности, кивнуть благодетелю и бросить ему кошелек с деньгами. Мы понеслись на всех рысях. Фельдмаршал ожидал нас с нетерпением. Остальное вам известно. Честь запрещала мне принять на свой счет доставление ко времени артиллерии: я указал на Мурзу – и фельдмаршал благодарил его.

Мурзенко. Моя говорила фельдмаршалу: провожатая моя была хороша; его не слушала.

Карпов. С того времени не видал ли ты этого проводника?

Мурзенко. Просила моя Юрий Степанович отыскать его; не сыскала моя.

Лима. Да, я забыл вам сказать, что спаситель наш остановил последнего офицера в ариергарде и, отдавая ему кошелек с деньгами, брошенный мною, сказал худым русским языком: «Полковник потерял деньги; отдай их ему. С богом!» С этими словами он исчез.

Кропотов. Чудесный человек! По крайней мере, узнаешь ли ты его в лицо, если с ним

встретишься?

Лима. Вряд, помню только, что он не стар, черноволос, с глазами пламенными, как наш юг.

Мурзенко. Моя увидеть его, тотчас узнать.

Князь Вадбольский. Кабы отыскался он, не пожалел бы разменяться с ним по-братски крестом, подаренным мне бабушкою... те, те, те! я забыл ведь, что он немец и креста не носит. Ну, просто назвал бы я его другом и братом. Да куда ж он, чудак, девался? и что за неволя была ему таскаться по снегу в такую метелицу. Что за охота пришла немцу помогать русским?.. Тьфу, пропасть! Чем более ломаю себе голову над этим чудаком, тем более в голове путаницы. *(Творит крестное знамение.)* Оставим его, но не забудем примолвить от благодарного сердца: *дай бог ему того, чего он сам себе желает!* Теперь попросим певца Дюмона разбить нашу думушку обещанною песнею.

Дюмон *(проиграл на гитаре прелюдию и произнес с чувством, обращаясь к югу)*. Ветер полуденный! ветер моей отчизны, Прованса, согрей грудь мою теплотою твоих долин и на-

вей на уста мои запах твоих оливковых роц.

Князь Вадбольский (*потапкивая Карпова под бок*). Француз без кудреватого присловия [172] не начнет дела.

Дюмон пропел очень искусно и приятно романс, в котором описывалась нежная любовь пажа короля Рене к знатной, прекрасной девице, – пажа милого, умного, стихотворца и музыканта, которого в час гибели его отечества возлюбленная его одушевила *словом любви* и послала сама на войну. Паж возвратился к ней победителем для того только, чтобы услышать от нее *другое слово любви* и умереть.

Когда певец кончил свой романс, иностранные офицеры в восторге захлопали в ладоши. Русские кричали:

– Славно! Прекрасно!

И Кропотова язык машинально пролепетал одобрение. Один князь Вадбольский при молвил:

– Прекрасно, братец! только жаль, не на русскую стать. Для ушей-то приятно, да не взыщи, сердца не шевелит. Это уж не твоя вина: тут знаешь, чего недостает? – родного!

Дюмон. Очередь за вами, Глебовской! я заплатил дань моей Франции...

Кропотов. Подай нам голос, соловей моей родины, соловей московский!

Карпов. Слышишь ли, любезный однополчанин?

Глебовской. Отговариваться не стану: я не красная девица, которую ведут к венцу; сердцем полетела бы, как перышко, а глазами показывает, будто свинцовые гири к земле тянут. Извольте, буду петь, только с тем, чтоб Филя подладил мне своею балалайкою.

Несколько голосов. Что дело, то дело!

Филя. Какую же, ваше благородие, прикажете? Надобно и нам приготовиться. Вы видели, что Осипа Осиповича обдувал теплый, родной ветерок, обливало какое-то масло прованское. *(Дюмон, смеясь, погрозил ему пальцем.)* А нам разве вспомнить свои снега белые, метели завивные, или: как по матушке по Волге, по широкому раздолью, подымалася погодушка, ветры вольные, разгульные, бушевали по степям, ковыль-трава, братцы, расколышилась; иль красавицу чернобровую, черноокою, как по сенницам павушкой, лебе-

душкой похаживает, белы рученьки ломает, друга мила поминает, а сердечный милый друг не отзовется, не откликнется: он сознался со иной подруженькой, с пулей шведскою мушкетною, с иной полюбовницей, со смертию лютою; под частым ракитовым кустом на чужбине он лежит, вместо савана песком повит; не придут ни родна матушка, ни...

Кропотов. Полно, Филя, ты за душу тянешь; словно поминаешь меня.

Князь Вадбольский. Эй, брат Семен! не собирайся так скоро со здешнего света. Подожди немного: похороним с честью да со славою, только не здесь, не в стане, а там, в Лифляндах, на боевом поле. За царя и землю русскую сладко умереть и в чужбине! Благодаря вышнего, наших убитых в сражении с Нового года не топчет враг поганый, не клюет вран несытый; тела нашей братьи честно, по долгу христианскому, предаются уже земле. Кто знает, Семен Иваныч? к лифляндским землянкам, где спят наши молодцы, где, может статья, положат и наши грешные кости, придут некогда внуки; перекрестясь, помянут нас не слезами – нет, плакать бабье дело, – а сло-

вами радостными. Здесь, скажут они, лежат такой-то и такой-то. Мир праху их! Память им вечная на земли! Они были неизменные слуги государевы, верные сыны отечества: в царствование Петра Великого положили здесь живот свой. Русские – и мертвые – не хотели спать на земле чужой: они купили ее кровью своею для имени русского! Поверь мне, друг, земля, в которой мы ляжем с тобою, будет наша и останется вечно за нами. Отдадим ли мы иноплеменникам кладбище отцов наших? Не отдадут и наших могил на стороне ливонской дети и внуки наши; положат и на них камушки, и на них поставят кресты русские.

Кропотов. Кто бы не захотел умереть под твое сладкое поминанье?

Лима. Грустно, может быть, Семену Ивановичу смотреть на Лифлянды, сложив руки!

Полуектов. Дай-то бог нам скорее поход, да не прогульный.

Князь Вадбольский. Скажут поход – пойдем; не скажут – будем ждать. На смерть не просись, а от смерти не беги: это мой обычай! А что ни говори, братцы, хандра – не русская, а заносная болезнь. Ты, бедокур, своим про-

ванским ветром не наваял ли ее к нам?

Дюмон (*смеясь*). Может быть, виноват! Отдуй ее, Глебовской, русскою снеговой непогодушкой.

Глебовской. Давно ждал я очереди своей, как солдат в ариергарде. Ты, Осип Осипович, спел нам песню о французском паже; теперь, соперник мой в пении и любви...

Дюмон. Соперник, всегда побеждаемый в том и другом.

Глебовской. Сказать против этого было бы что, да не время. Слушай же, я спою вам песню русского *Новика*.

Как электрический удар, слово «Новик» поразило Кропотова: он вздрогнул и начал озираться кругом, как бы спрашивая собеседников: «Не читаете ли чего преступного в глазах моих?» Во весь следующий разговор он беспрестанно изменялся в лице: то горел весь в огне, то был бледен, как мертвец. Друзья его, причитая его беспокойное состояние к болезни, из чувства сострадания не обращали на перемену в нем большого внимания.

Дюмон. Новик? Это слово я в первый раз слышу: оно звучит, однако ж, хорошо! Что ж

это за человек?

Глебовской. Вот это-то и хочу объяснить тебе и господам иностранным офицерам. Доныне благополучно царствующего великого государя Петра Алексеевича *дети боярския* и из *недорослей дворянских* начинали службу при дворе или в войске в звании «новика» [173].

Дюмон. По мнению моему, имя это прекрасно означает положение юноши, вступающего в школу придворную; он еще неопытен умом и сердцем, он в полном неведении искусства притворяться, обманывать и угождать – новик равно в свете и во дворце!

Глебовской. Когда новик поступал ко двору, должность его состояла в том, чтобы прислуживать во внутренних палатах царских или присматриваться к служению высших придворных, *стряпчих* и *стольников*[174]. Обыкновенно выбирали в новики пригожих и смышленных юношей. Еще при царе Алексее Михайловиче имя новика слышалось нередко в царских чертогах и в воинственных рядах дворян московских. Вы знаете, София Алексеевна домогалась во что бы ни стало

венца и таки надела его, чтобы, однако ж, вскоре сложить и вступить в чин простой инокини. Вот она и хотела, когда удалось ей править государством, иметь при себе миловидного пажика, не в счету стольников царицына чина.

Название стольников произошло от стола государева, у которого они имели достоинство нынешних камергеров, при царицах считались в высших чинах. Стольники не избавлялись от походных служб.

Дюмон. *Un joli petit mignon?*[175] Не так ли?

Глебовской. Точно! Любимец ее, князь Василий Васильевич Голицын, прозванный сначала народом *великим*, а ныне в изгнании забытый и презренный им, – так, скажу мимоходом, играет судьба доведями[176] своими! – любимец Софии Алексеевны отыскал ей в должность пажа прекрасного мальчика, сына умершего бедного боярина московского. Он был круглый сирота, не знал отца своего и матери, не помнил ни роду, ни племени. Говорили, что какая-то женщина, еще прелестная, несмотря, что лета и грусть помрачали черты ее лица, прихаживала иногда тайком

в дом князя Василия Васильевича, где дитя прежде живало, а потом в терема царские, целовала его в глаза и в уста, плакала над ним, но не называла его ни своим сыном, ни родным. «О чем плачет эта пригожая, добрая женщина?» – спрашивал Новик и сам после такого свидания становился грустен. София любила его и – как говорят русские в избытке простого красноречия – души в нем не слышала; сначала назвала его милым пажом своим; но потом, видя, что зоркие попечители Петра смотрели с неудовольствием на эту новость, как на некоторое хитрое похищение царской власти, с прискорбием вынуждена была переименовать своего маленького любимца в новика. Желая, однако ж, отличить его от других детей боярских, носивших это название, из-под руки запретила им так называться. «Он должен быть единственным и *последним* новиком в русском царстве. Я на этом настою», – говорила она – и выполнила свое слово... За нею все, от боярина до привратника, называли его *Последним Новиком*. Имя его затвердили и за пригожим сиротою удержали; об отеческом прозвище его не сме-

ли спрашивать или по обстоятельствам умалчивали. Дитя это не по летам было умно, не по летам гордо. Нередко встречаясь с царевичем Петром Алексеевичем, которого годом или двумя был старше, измерял он его величаво черными, быстрыми глазами своими. Петр Алексеевич, рожденный повелевать, и в детстве уже был царь. Он не мог стерпеть дерзкого осмотра сестрина любимца и раз, заспорив с ним, ударил его в щеку сильною ручкой, а тот хотел отплатить тем же. София поспешила стать между ними и с трудом вывела своего любимца из покоя. Но, чтобы подобные встречи не могли иметь худых для него последствий, она удалила его за тридцать верст от Москвы, в село Софьино, где имела на высоком и приятном берегу Москвы-реки терем и куда приезжала иногда наслаждаться хорошими весенними и летними днями. Там поручила она его другу Милославских и князей Хованских[177], человеку ученому, но злобному и лукавому, как сам сатана, – прости, господи! – наделавшему отечеству нашему много бед. Имя его... не хочу его выговаривать: так оно гнусно! Все жалели, что попал в

такие руки юноша, которого пылкую душу, быстрый разум и чувствительное сердце можно было еще направить к добру. И в самом деле, лучшие качества его отравлены этим василиском[178]. Новик осьмнадцати лет погиб на плахе в третьем стрелецком бунте; и сбылось слово Софии Алексеевны – он был *последний!*..

Кропотов, доселе закрывший глаза рукою, которою облакачивался на колено, вдруг зарыдал, встал поспешно и выбежал из замка.

Вадбольский (*посмотрев на него с сожалением*). Что сделалось с нашим братом Семеном? Бедный! Я боюсь за его головушку.

Полуектов. Ему неможется; на него нашел недобрый час; это не впервой... я чаще с ним... я это видывал. Пускай его размычет по стану кручину свою.

Филя (*бренча на балалайке, запел на печальный голос*):

*У залетного ясного сокола
Подопрело его правое крылышко,
Право крылышко, правильно перышко...*

Потом, вдруг переменяя заунывный голос

на веселый и живой, продолжал петь:

*Еще что же вы, братцы, призадумались,
Призадумались, ребяташки, закручинились?
Что повесили свои буйные головы,
Что потупили ясны очи во сыру землю?..*

Дюмон. В самом деле, что вы повесили головы свои, как будто на похороны друга собираетесь? Глебовской! Волей и неволей доканчивай свой рассказ.

Глебовской. Слова два, три, и я кончу его. Говорили, что прекрасная женщина, прежде тайком посещавшая Новика, собрала его растерзанные члены и похоронила их ночью. Вот вам, Осип Осипович, повесть вместо предисловия к моей песне. Надобно еще прибавить, что Новик имел, сказать по-вашему, необыкновенный дар к музыке и поэзии; по-нашему – он был мастер складывать песни и прибирать к ним голоса. Песни его скоро выучивались памятью и сердцем, певались царскими сенными девушками и в сельских хоровах. Еще и ныне в Софьине и Коломен-

ском слывут они любимыми и, вероятно, долго еще будут нравиться. Ту, которую я вам буду петь, любила особенно София Алексеевна. Говорят, она плакивала, слушая ее, от предчувствия ли потери своего любимца или от другой причины... Филя! ну-ка заунывную: «Сладко пел душа...»

Филя. «Душа-соловушка». Как не знать ее, ваше благородие. Она в старинные годы была в большой чести. Красная девка шла на нее вереницею, как рыба на окормку. Извольте начинать, а мы подладим вам.

Филя играет на балалайке, Глебовской поет:

*Сладко пел душа-соловушка
В зеленом моем саду;
Много, много знал он песенок;
Слаще не было одной.*

*Ах! та песнь была заветная,
Рвала белу грудь тоской;
А все слушать бы хотелось.
Не расстался бы век с ней.*

Вдруг...

В это время затрубили сбор у ставки фельд-маршальской.

Фон Верден. Тс! слышите, каспада? Трубушка поет нам свою песню.

Несколько голосов *(с неудовольствием)*. Слышим, слышим! Смотри, Глебовской, за тобою долг нам всем-всем! Долг платежом кра-сен.

Все бросились с мест своих: кто за мундир, кто за парик, кто за палаш и так далее. Минуты в три замок опустел, и там, где кипела живая беседа, песни и музыка, стало только слышно шурканье оловянных ложек, которыми, очищая сковороду от остатков жареной почки с луком, работали Филя и широкоплечий, в засаленной рубашке, драгун. Изредка примешивалось к этому шурканью робкое чоканье чар.

Глава четвертая

Совет

Тальбот

*И мой совет: с рассветом переправить
Через реку все воинство и стать
В лицо врагу!*

Герцог

Подумайте.

Лионель

*Но, герцог,
Что думать здесь? минуты драгоцен-
ны!*

*Теперь для нас один удар отважный
Решит навек: бесчестье или честь!*

Герцог

*Так решено! и завтра мы сразимся!
«Орлеанская дева», перевод Жуковско-
го*

В переднем отделении обширной ставки, с полумесяцем наверху, разделенной поперек на две половины, сидел в деревянных складных креслах, какие видим еще ныне в домах наших зажиточных крестьян или в так называемых английских садах, мужчина по-

жилых лет, высокого роста, сильно сложенный. Он был в лосином поперх мундира колете, расстегнутом от жару нараспашку; на груди висел мальтийский командорский крест [179]. Нижняя одежда его свидетельствовала о наблюдении формы до того, что и широкие раструбы прикреплены были к штиблетам. Каштановые с сединою волосы, причесанные назад, открывали таким образом возвышенное чело, на котором сидела заботливая дума; из-под густого подбородка едва выказывался тончайшего батиста галстух, искусно сложенный; пышные манжеты выглядывали из рукава мундира, покрывая кисть руки почти до половины пальцев. Величавые черты лица, орлиный, хотя несколько пониклый взгляд, важная наружность и движения – все показывало в нем человека, привыкшего повелевать. Облокотясь на стол, подле него стоявший, он был углублен в рассматривание большого листа бумаги, разложенного по столу. В почтительном отдалении стоял молодой офицер в полном мундире со шляпой в руке. Сходство лиц заставляло догадываться о ближайшем их родстве. Взгляды и все движения

молодого человека показывали, что сын, воспитанный в патриархальных русских нравах, стоит перед отцом и начальником.

Русское великолепие вместе с азиатским окружало их. Снаружи над ставкою господствовал блестящий полумесяц. Внутри верх и полотно ее были изукрашены разноцветными узорами, звездами, драконами и птицами в каком-то безвкусном смешении. С правой стороны, в углублении переднего отделения, подняты были края двух персидских ковров для входа в маленький покой, обтянутый кругом такими же коврами, в котором свет со мраком спорил. Это была *опочивальня*. Через отверстие виден был в углу огонек, теплившийся в серебряной лампаде перед иконою Сергия-чудотворца[180]. К этой иконе прислонен был образ Спасителя, как жар горевший от драгоценных камней, его осыпавших. Это первое и святое богатство русских, залог их здравия и счастья, стояло на столике, накрытом белой камчатной салфеткой. Неверный, едва мерцающий свет от лампы, падая на темный лик святого, исполнял невольным благоговейным трепетом всякого, кто прони-

кал взорами в это упокойце. На краю стола лежала книга в черном кожаном переплете, довольно истертом и закапанном по местам воском: это была Псалтырь. В левом углу, на кровати, грубо сколоченной из простого дерева, лежало штофное зеленое одеяло, углами стеганное, из-под которого выбивался клочок сена, как бы для того, чтоб показать богатство и простоту этого ложа. От входа в ставку, по левой стороне главного, переднего отделения, развешаны были на стальных крючках драгоценные кинжалы, мушкеты, карабины, пистолеты и сабли; по правую сторону висели богато убранное турецкое седло с тяжелыми серебряными стремянами, такой же конский прибор, барсовый чепрак с двумя половинками медвежьей головы и золотыми лапами и серебряный рог. Перед седлом, отступя от полотна ставки, на стальном *клянышке*, обвитом золотой проволокой и прикрепленном к невысокому шесту, сидел сокол, накрытый пунцовым бархатным клобуком; он беспрестанно гремел привешенным к шее бубенчиком, щипля серебряную цепочку, за которую был привязан. Кругом его рассыпаны были

перья, остатки от бедной жертвы, еще недавно им растерзанной. Под столом, на богатом персидском ковре, лежала огромная буро-пегая датская собака, положив голову к ногам своего господина.

Сидевший в креслах, услышав стук хвоста ее по земле, сказал, улыбаясь:

– А! верно, кто-нибудь из домашних!

Едва он это выговорил, послышался шорох у входа в ставку, и знакомый нам крошка-генерал, со всею дипломатическою важностью и точностью военной дисциплины, держа щипком левой руки шляпу, а в правой большой сверток бумаг, который, подобно свинцу, тянул ее, мерными шагами приблизился к нему, наклонил почтительно голову и, подавая сверток, произнес:

– Высокоповелительному, высокомощному, господину генерал-фельдмаршалу и кавалеру, боярину Борису Петровичу Шереметеву, честь имеет репортовать всенижайший раб его Якушка, по прозванию Голиаф, что он имел счастье выполнить его приказ, вследствие чего имеет благополучие повергнуть к стопам высоко... вы... высоконожным всепо-

корнейше представляемые при сем бумаги, которые вышереченному господину фельдмаршалу, и прочее и прочее (имя и звание персоны рек) объясняет лучше...

– Лучше и короче! – прервал карлу фельдмаршал, взял у него сверток, не показывая большого нетерпения, и, прочтя адрес, закричал стоявшему в отдалении молодому офицеру: – Михайла! попроси ко мне господина генерал-кригс-комиссара.

– Слушаю, сударь-батюшка! – отвечал молодой человек и поспешил выполнить данное ему приказание.

По выходе его фельдмаршал встал с кресел, медленно пошел в опочивальню свою, пробыл там недолго и, возвратившись, сел опять на прежнее место.

– Самсоныч! – сказал он ласково, вынув два червонца из небольшого свертка, который он с собою принес, и бросив их в шляпу маленькому посланнику. – Ты привез нам что-то тяжелое, может быть, доброе: спасибо!

– Эк ты мне плюнул в шляпу, Боринька! – вскричал карла, рассматривая подарок. – Годится на подметки! Но смотри, уговор лучше

денег: когда ничего доброго не найдешь в этих грамотках, так возьми свое золото назад. Сам батюшка наш, светлые очи, Петр Алексеевич, по *приказу Божию к прадеду Адаму, в поте лица ест хлеб свой*, да и нам велел кушать его не даром. Помнишь – ведь это было при тебе, – когда он выковал на заводе под Калугою восемнадцать пуд железа своими царскими руками, а заводчик-то Миллер хотел подслужиться ему (дескать, он такой же царь, каких видывал я много) и отсчитал ему за работу восемнадцать желтопузиков, что ты пожаловал теперь; что ж наш государь-батюшка! – грозно посмотрел на него и взял только, что ему следовало наравне с другими рабочими, – восемнадцать алтын, да и то на башмаки, которые, видел ты, были у него тогда худеньки, как у меня теперь!

– Правда! но я плачу тебе по цене твоих заслуг; ты свое дело сделал: за чем послан, то привез, а за то, что в бумагах, не отвечаешь.

– Заслужил-то я не один.

– Что дело, то дело! Я было забыл об Ильзе: отдай ей это на новую повязку и скажи от меня *спасибо!*

Борис Петрович, произнеся это, бросил карле в шляпу несколько червонных и, слышав опять стук от хвоста и легкое мурчание собаки, спешил надеть на себя пышный парик. Карла-дипломат догадался, что он будет лишней при новом госте, и, не дожидаясь приказа своего повелителя, неприметно скрылся из ставки.

– Добро пожаловать, господин обер-кригс-комиссар, – произнес важно и ласково фельдмаршал, обратившись к вошедшему сыном его; махнул рукою последнему, чтоб он удалился, а гостю показал другою место на складных креслах, неподалеку от себя и подле стола. – Вести от вашего приятеля! Адрес на ваше имя, – продолжал он, подавая Паткулю сверток бумаг, полученный через маленького вестника.

– Тайны я от вас не имею, господин фельдмаршал! – возразил Паткуль, садясь в кресла, развернул сверток и, не бросив даже взгляда на бумаги, подал их Борису Петровичу: – Извольте читать сами.

– За *аттенцию*[181] благодарю! Посмотрим, что такое, – говорил с важностью рус-

ский военачальник, во всем чрезвычайно осторожный, хладнокровный и разборчивый, прочитывая бумаги про себя по нескольку раз, с остановкою, во время которой он задумывался, и потом отдавая их одну за другою собеседнику своему. Между тем в глазах последнего видимо разыгрывалось нетерпение пылкой души.

– Посмотрим, что такое! Список полкам, расположенным на квартирах и на заставах... Вот это я люблю! Какая *аккуратность!* какая *пунктуальность!* Число людей в *реги-ментах...* имена их *командиров* и даже *компанионс-офицеров...* даже свойства некоторых! Право, *das ist ein Schützchen*[182]. А кто составлял, господин генерал-кригскомиссар?

– Швед, о котором я имел уже честь вам говорить и который, вероятно, передал эти бумаги вашему посланному.

Фельдмаршал задумался; потом, переменяв шуточный тон на важный, сказал:

– Швед!.. Изведали ль вы его хорошенько?

– Как самого себя. Настало время и вам его узнать: испытание перед вами.

– Помните, любезнейший мой господин

Паткуль, что мы должны делать этот экзамен
армиею, мне вверенною, армиею, которой вы
также со мною хранитель.

– Никогда этого не забываю.

– Извините, спрошу опять: исследовали ли
вы, не кроется ли тут обмана, предательства?

– После сказанного мною другому б я не от-
вечал на этот вопрос; но, зная вас, присово-
куплю, что честь моя порукою за справедли-
вость и верность этих бумаг.

– И все это составил он один? Как мог один
человек получить такие полные, огромные
сведения?

– Он имеет верного, смышленного помощ-
ника.

– Кто это такой?

– Конюх баронессы Зегевольд и времен-
ный коновал в шведском рейтарском полку.

– Ein Kutscher?[183] Вы шутите?

– Я никогда еще не смел этого делать с ва-
ми, господин фельдмаршал, особенно в таких
делах, от которых зависит ваше и мое доброе
имя, благосостояние и слава государя, которо-
му мы оба служим. Кому лучше знать, как не
главнокомандующему армиею, какими мел-

кими средствами можно вовремя и в пору произвести великие дела.

– Правда! Но можно ли положиться на верность сведений, доставляемых конюхом вашему приятелю?

– Опять скажу: как на меня!

– Диковинное дело! Wahrhaftig, wunderbar! [184] Вы имеете особенный дар употреблять людей по их способностям. У вас конюх, еще и не ваш, делает то, что я не смел бы поручить иному командиру...

– Этот человек, низкий званием, но высокий душевными качествами, старый служитель отца моего, дядька мой, мне преданный, готовый жертвовать для меня своею жизнью, благороден, как лезвие шпаги, лукав, как сатана.

– И он решился из преданности к *персоне* вашей идти в услужение к женщине *амбиционной*, сумасбродной – как слышно, врагу вашему. Bei Gott [185], *неординарные* высокие чувства! Сердце и способности ума *бесприкладные* [186]! и в таком звании!

– В наш век великие способности ума и в низком звании не диковина. Вы имеете мно-

го ближайших тому примеров: вы знаете, кто был тот, кого называет государь своим Алексашею, дитяю своего сердца, чьи заслуги вы сами признали; другой любимец государев – Шафиров[187] – сиделец, отличный офицер в вашей армии; Боур[188] – лифляндский крестьянин.

– Um Erlaubniss[189], люди, о которых вы говорите, каждый из них достойный, более или менее, *аттенции* и любви царского величества, с юных лет выведены прозорливостью его на степень, ими заслуженную. Они успели уже напитаться его духом и перевоспитать себя; действуют теперь из *амбиции*, из награды, из славы! Но ваш... как вы его называете?

– Фриц Трейман.

– Фриц, заслуживающий свое прозвание, из каких наград действует?

– Из одной преданности ко мне.

– Вот это-то и заслуживает удивления в наш век! Но... посмотрим, что скажет нам этот лоскуток бумаги. (Читает вполголоса на немецком языке, делая по временам свои замечания на русском.) «Генерал Шлиппенбах,

видя, что русское войско, хотя и многочисленное и беспрестанно обучаемое, не оказывает с первого января никакого движения на Лифляндию, и почитая это знаком робости, перешедшей в него от главного полководца...» Главного полководца! Посмотрим, увидим! Дух начальника переходит, конечно, в подчиненных: по нем выстраиваются они. Далее что? «...решился этим состоянием русского войска воспользоваться, распускает слухи, что изнеможение и нарвский страх господствуют в нем...» Страх? Это уж слишком много, любезный мой противник, да еще крестничек эррастферский! Правда, мы там только что отшлифовали свои шпаги; теперь не взыщите, сами напросились, господин скандинавский рыцарь: мы поменяемся перчатками на славу или стыд. Чтобы стрела, которую вы мне посылаете, не отскочила назад!.. (Краткое молчание.) Страх?.. Я вчера собирал господ начальников полков, и они засвидетельствовали, что в войске, мне вверенном, господствует только дух нетерпения, что все, от командира до солдат, горят сразиться с неприятелем. Вы сами можете засвидетельство-

вать...

– Скажите поход, господин фельдмаршал, и все, что носит звание воина в стане русском, почтет этот приказ наградой царскою, милостию Бога. Им наскучило стоять в бездействии: они извели уже сладость победы.

– Осторожность мою они называют...

– Тем, что ее почтет всякий, кто вас не знает, – страхом!

– Господин генерал-кригскомиссар!..

– Я говорил правду царям и не побоюсь вам ее сказать.

– Слушаю.

– Судя по пылкому, нетерпеливому характеру моему, другой на вашем месте имел бы право думать, что сведения, вам ныне доставленные, мною сочинены; но прозорливости полководца, избранного самим Петром Великим после неудачных чужих выборов, открыта и прямота этого ж характера. Вы знаете, что, для представления вам истины, я таких далеких средств не употребил бы, что мнение, которое об вас имею, не старался никогда таить от вас же. То, что я думаю, не боюсь никогда сказать и теперь подтверждаю перед

вами. Ваша осторожность, плод холодного и расчетливого ума, уже слишком далеко простерла виды свои и готова превратиться в слабость.

– Слушаю.

– Вы думаете дождаться конца года, чтобы действовать, как начали его зимою, под Эррастфером. Вспомните, что шведы так же северные жители, как и русские, что они не боятся морозов, ближе к своим магазинам, ко всем способам продовольствия съестного и боевого; к тому ж зима не всегда верная помощница войны: она скорее враг ее, особенно в чужом краю. Вспомните, что мы обязаны только усердию незнакомца спасением нашей артиллерии и приводом ее на место сражения под Эррастфером.

– Вы называете уже храброго, верного Мурзенку незнакомцем!

– Нет, не ему принадлежит этот подвиг: объясню это вам в другое время.

– Теперь позвольте послушать ваш урок.

– Не урок, господин фельдмаршал, а совет человека вам преданного, человека, которого вы удостоивали иногда именем друга. Пока-

зывая, из политических видов, боязнь, вы думаете усыпить Карла насчет Лифляндии; вы уже имели время это выполнить. Самонадежность полководца-головореза сильно помогла вашим планам; но время этого испытания, этого обмана уже прошло! Вы видите сами, нет приятель почитает этот обман действительностью и подозревает уже в вас трусость. Это подозрение окрыляет дух шведов.

– Далее что будет, господин генерал-кригс-комиссар?

– Все правда и правда, которую изволите принять и за что вам угодно, господин генерал-фельдмаршал! Карл успеет переведаться с поляками и саксонцами, только именем союзниками, но делом враждующими одни против других, разделаться по-солдатски и с Августом, королем только по названию, уже вполовину побежденным самим собою. Карл может с торжествующим войском прибежать в помощь Шлиппенбаху, и вы тогда имеете против себя вдвое, – что я говорю? – в десять раз более неприятелей, нежели сколько их теперь, числом и духом. Шлиппенбах не любим своими, а где начальник не любим, там уже

существуют раздоры, партии, там войско разделено и слабо, там нет победы. Одно появление короля в этом войске, одно имя Карла, победителя русских, датчан, немцев и поляков, есть уже важное приращение сил лифляндской армии, есть залог в ней драгоценный, который будут защищать верные подданные любовью и восторгом, чувствами, теперь в ней уснувшими. Может быть, и появление в Лифляндии победителя при Нарве будет неприятным знаменем для русского войска! Вы думаете воспользоваться временем отдыха, чтобы образовать русского солдата. Благодаря стараниям усердных собратьев моих он обучен столько, сколько требуют обстоятельства. Не все сидеть ему за указкою в школе. Пора узнать, для чего его муштровали; он ждет опытов, службы настоящей; он ждет развязки рукам и духу своему; глазу и сердцу его нужна живая мишень. В стане готовится солдат; в поле, в жару битв он образуется. Вы это лучше меня знаете. Но что может быть скрыто от вас и что я должен вам сказать: дух солдат соскучился жить по деревням и в станах; он утомился покоем. Что за война без

боя? Слово без дела! Что за война, в которой неприятели друг друга не видят? «Дайте нам со врагом переведаваться или возвратите нас в отчизну!» – думают, едва не говорят, солдаты, но лица их это изъясняют. Господин фельд-маршал! (Здесь Паткуль встал с кресел.) От лица всего войска обращаюсь к вам. Исполните общее наше желание, поведите нас в дело, к победе, уже вам известной, и к славе, которой мы не успели еще утвердить за собою. Не дайте шведам забавляться на счет наш даже подозрением, которого не заслужили ни вы, ни войско ваше. Время года, обстоятельства, дух русских – все за нас, все ручается за успех. Идите навстречу этим обстоятельствам, вождь наш, избранный Петром и Провидением! Не говорю, что шаг назад будет гибелью для чести русского народа, – мы постыжены, если даже остановимся.

– Вот это-то нетерпение, которое в вас вижу, хотел я произвесть в русском войске! Приятно любоваться им в таком благородном представителе, как вы, любезнейший господин Паткуль! Может быть... признаюсь, я простер свою осторожность слишком далеко,

свои виды слишком утончил. Кто без ошибок?.. Не могу найти пристойного вам благодарения; вы советник смелый, горячий, но не менее того полезный. Ваша голова – огнедышащая Этна; но моя – она снегами лет уже покрывается – имеет нужду в сближении с вами. Вы истинный слуга царский! (С чувством.) Дайте мне руку вашу. Мы подумаем, мы сообразим, прочтя драгоценные сведения, посредством вашим доставленные. Что еще скажет нам приятель Шлиппенбах? (Читает.) «...решился ударить на русское войско, когда оно менее, нежели когда-либо, ожидает его, для чего и отдал уже приказ полкам своего корпуса, 17/29 июля, стягиваться к Сагницу, а небольшому отряду идти из Дерпта к устью Эмбаха, сесть там на приготовленных шкунах, переправиться через озеро Пейпус[190] и сделать отчаянное вторжение в Псковскую и Новгородскую провинции, не отдаляясь от Нейгаузена, который отряду и главному корпусу считать точкою соединения». (С некоторым волнением чувств.) Стан русский точкою соединения шведских войск? Там, где мы теперь обретаемся? Прекрасно, господин Шлип-

пенбах! Переправиться через Пейпус? Замыслы хитрые и, прибавим слова его превосходительства, отчаянные! Хорошо сказано, так ли сделается? Мы будем учтивее; мы избавим его от трудов дальнего похода. (Встает с кресел; в размышлении прохаживается несколько времени взад и вперед, положив руки назад; потом садится опять на свое место и продолжает разбирать бумаги.) «Копия с рапорта мариенбургского коменданта подполковника Брандта». (Читает про себя, потом говорит вслух.) Час от часу лучше! Вообразите, любезнейший господин Паткуль, и в Мариенбурге, в этом муравейнике, закопошилось шведское самолюбие. Брандт почитает гарнизон свой по месту, обстоятельствам и духу неприятелей – они, кажется, сговорились забавляться на счет наш! (смеется) – не в меру усиленным, а заставу близ Розенгофа слишком ослабленную, почему и предлагает главному начальнику шведских войск вывести большую часть гарнизона, под предводительством своим, к упомянутой заставе, в Мариенбурге оставить до четырехсот человек под начальством какого-то обрист-вахтмейстера Флориана Тило

фон Тилав, которого, верно, для вида, в уважение его лет и старшинства, оставляют комендантом. Но при этом тупом, заржавленном ефесе должен быть блестящий, троегранный клинок, с вытравленными на нем словами чести и долга, которые уничтожишь разве тогда, когда эту благородную сталь изломают в мелкие куски.

– Вы говорите, конечно, о цейгмейстере Вульфе, который, как объясняются здесь, стоит целого гарнизона. Вот маленький план крепости Мариенбургской. Я хочу сам быть при осаде ее и лично ознакомиться с храбрым ее защитником.

– Теперь в *принципи*, – сказал фельдмаршал, вступая опять в прежнее хладнокровное состояние, – постараемся разведаться с *прециозным*[191] разумником и храбрецом Шлиппенбахом и воспользоваться собственными его умыслами. Мы предупредим его. С главными силами *авансируем* ныне ж *форсированными маршами*. Если потребно, посадим лейб-пехоту царского величества на коней черкасских, разобьем форпост при Розенгофе, приведем в *конфузию* голову его превосходи-

тельства в Сагнице и померяемся с ним в равнинах гуммельстофских. Переправы через Эмбах будут трудны; но русский с преданностью к царю, с крепким упованием на Бога и святых Его чего не преодолет? Мы посадим сильную партию охотников на лодках, под командою генерала Гулица, толкнем их на воды и увидим, как осмелится нога шведа, этой заморской погани, осквернить землю русскую, святую, великую отчину наших царей, опочивальню Божиих угодников! Я хочу, чтобы в то же время, когда знамена русские водрузятся с честью на горах ливонских, развеялся флаг моего государя на водах Пейпуса и победа нашего маленького флота порадовала сердце его создателя. Или я не боярин русский, не главнокомандующий армиею царского величества! Но чем наградим мы... того?.. Не хочу называть его шведом: это название помрачает его достоинства.

– Господин фельдмаршал! Он золота не берет.

– Что ж ему надобно?

– *Нечто* драгоценнее золота, но этому *нечто* не пришла еще пора. Теперь же просит

он, когда совершится с успехом настоящий поход, свидетельства руки вашей о пользе, оказанной им русской армии. Он желает со временем быть известным государю.

– Столь важной *консеквенции* сведения, нам доставленные, сами собою уже заслуги великие; они достойны *аттенции* царского величества; что ж до меня надлежит, то я всегда готов дать ему требуемую *аттестацию*. Но... скажите мне, пожалуйста, для какого *резону* он от нас скрывается?

– Это тайна, которая не мне принадлежит: она лично до него касается и не относится к пользе, равно как и вреду вверенного вам войска.

– В таком случае я не имею права и не желаю исследовать эту тайну. А! вот еще бумажка! (Читает про себя и смеется.) Ха, ха, ха! Это, видно, в придачу, чтобы смешать дело с бездельем. Здесь описаны *маневры*, которыми ваш плутища Фриц достал в какой-то *Долине мертвецов репорт* Брандта. Бедный *дефансор* [192] Мариенбурга! в какую попал ты ловушку! Вот какими средствами приобретаются *секреты*, от которых зависит участь несколь-

ких тысяч! Полюбуйтесь этим описанием, как штуками из итальянской комедии или чудесами тысячи и одной ночи. (Передает Паткулю бумагу.) Это будет вам очень к сердцу. (Свищет в серебряный свисток. По знаку этому являются в одно время карла и необыкновенной величины гайдуки.)

– Оба молодцы! – запищал карла, вытягиваясь подле исполина. – А я чем не гвардеец?

– Только на разную статью, – прервал, смеясь, фельдмаршал.

– Понимаю, велика Федора, да дура; мал золотник, да дорог; а я по глазам твоим вижу, Боринька, кого ты выберешь: меня!

– Отгадал; принеси-ка фитиль, – сказал Борис Петрович, и карла спешил выполнить его требование. Восковая свеча в медном подсвечнике, на козых ногах, величиною почти с маленького исполнителя, была подана, и все прочтенные бумаги, кроме мариенбургского плана, сожжены.

– Голова есть лучший ларец для хранения подобных бумаг, – произнес Паткуль, встал со своего места, невольно обернулся в опочивальню фельдмаршала, где стоял образ Сер-

гия-чудотворца, и, как будто вспомнив что-то важное, имевшее к этому образу отношение, присовокупил: – Я имею до вас просьбу. Такого она роду, что должна казаться вам странною, необыкновенною. Не имею нужды уверять вас, что исполнение ее не противоречит ни чести вашей, ни вашим обязанностям.

– Потому что я в этом не сомневаюсь. Готов выслушать желание ваше и исполнить его.

– На нынешний день паролем – Троицкий монастырь, лозунгом – Сергий-чудотворец.

– Точно.

– Прикажете отменить их и назначить другие, пока мы будем иметь проводником шведа нашего, который берется быть нашим путеводителем до форпоста розенгофского, а там заменит себя столь же верным человеком. Сверх того, на целую неделю, если можно – на две, надобно снабдить его паролями. В противном случае мы потеряем этого бесценного человека. Для чего это делается, скажу опять: это не моя тайна!

– Опять тайна! (Фельдмаршал задумывается; немного погодя произносит с важностию.) Господин генерал-кригскомиссар, в армии,

мне царским величеством вверенной, я дал мое слово и не переменю его. Надеюсь, что моя доверенность не будет употреблена во зло кем бы то ни было.

– Паткуль, дворянин лифляндский и ныне русский подданный, Паткуль – человек просто, без всяких других титулов, чести своей не отдаст за корону. Вам известно, что он никогда не полагал этой чести на одни весы с жизнью, что он потерю первой мог купить не только вторую, но и в придачу богатства, чины, благосклонность монарха властолюбивого, и ни одной минуты не был в нерешимости выбора. И когда б я сделался не я, когда бы я имел несчастье потерять это сокровище, когда б я был в состоянии забыть милости Петра Великого, государя моего и благодетеля, не должны ли б и тогда соединять меня крепчайшими узами с выгодами России польза моего отечества, моя собственная, личная польза? Вспомните, что голова моя, которую слишком дорого ценили два короля шведских, не умел ценить польский и которой только один русский монарх положил настоящую цену, ни выше, ни ниже того, чего она

стоит, что голова эта была под плахою шведского палача и ей опять обречена местию Карла. Мечь, для меня сладостная, возвышающая меня в глазах целой Европы! Король, бич севера, ужас народов, мстит бедному лифляндскому дворянину! Ему не столько сладостны победы над царями, как видеть Паткуля у себя в плену! Какое удовольствие, какое наслаждение думать об этом! Вы не знаете этого чувства – я, я его знаю и не променяю на лучшие блага жизни! После того подумаю ли я?.. Нет, господин фельдмаршал, даже намек подозрения есть уже несправедливость.

– Может быть; но вы сообразите сами, сколь странны требования ваши при стечении обстоятельств.

– Я предупреждал вас об этом; повторяю еще, тайна эта принадлежит не мне – лицу, которое составляет часть вашего войска одними заслугами ему, без всяких еще за них вознаграждений.

– Слово дано, и мы будем только помнить об исполнении его, – сказал военачальник, подавая дружески руку Паткулю. После того поспешил он сделать нужные распоряжения

к немедленному походу и приказал протрубить сбор, о котором заранее извещены были полковые командиры.

Глава пятая

Таинственный проводник

Прекрасное свободно!
Жуковский

*Как божий гром,
Наш витязь пал на басурмана.*
Пушкин

И то была не битва, но убийство!
Жуковский

Горы гангофские покрывались уже вечернею тенью; между ними Муннамегги одна поднимала светлую голову свою, на которой любят останавливаться последние лучи солнца. В темени одной из этих гор, ближайшей к Нейгаузену, на сером мшистом камне, сидел Вольдемар, грустный, беспокойный, как преступный ангел, рукою Всемогущего низверженный с неба. Он был один. Даже с ним не

было и слепца, неразлучного его товарища. Кругом его страна дикая, безответная, и чем обзор ее беспредельнее, тем более пустота ее расширялась для него, тем сильнее теснило его сиротство. Не гукнет нигде звук человеческого голоса, не дает около него отзыва жизнь хотя дикого зверя; только стая лебедей, спеша застать солнце на волнах Чудского озера, может быть родного, прошумела крыльями своими над его головою и гордым, дружным криком свободы напомнила ему тяжелое одиночество и неволю его. Мрачные думы обступали Вольдемара; взоры его, полные душевной тревоги, прикованы были к стороне Новгородка Ливонского.

Потух золотой крест на печорском монастыре, по-видимому, утешавший его своим сиянием; стерлись и светлые точки, едва мелькавшие в стане русском. Тени обхватили уже и венец Муннамегги. Туманами подернулись долины и, обманывая взор, разлились обширными озерами, из которых, подобно островам, выглядывали одни верхи гор. Вскоре из мнимых вод вышел полный месяц; будто качаясь над ними, приподнимался и освеще-

тил эти верхи. Прекрасная, величественная картина! Но она не трогала, не занимала Вольдемара. В стане русском были его взоры, мысли и сердце; там он был весь. Он видел с трепетом сердечным, как зажигались там огни, все такие же бесчисленные, как и вчера. «Почему их не меньше?» – спрашивал он сам себя с горестным чувством. «Может быть, – подумал он опять, себя утешая, – это военная хитрость».

Окрестность молчала, как обширное кладбище; верхи гор, рассыпанных посреди туманных вод, казались ему огромными могилами, где покоятся обитатели этого края, уже опустевшего. Но... вскоре почудился ему шум, подобный стону дальнего водопада. Он ловит его жадным слухом, прилегши головою к земле, и слышит как бы подземный гром. Яснее и яснее становится шум этот до того, что Вольдемар может уже различить конский топот. Действительно, топот приближался, еще, еще, и – умолкнул разом. Вместо его послышался ему какой-то неясный шелест, будто шептались друг с другом, будто шуршала одежда на движущемся человеке. Сердце у

Вольдемара затрепетало в груди, как голубь.

– Боже! это они! – произнес он, становясь на колена и поднимая слезящие очи к светло-голубому небу. – Господи! подай мне силы совершить начатое.

Вдруг из мертвой тишины раздался женский голос, он пел латышскую песню:

*О мой Генсхен, божье дитяtko,
Что везешь ты на возу?
Лиго! лиго!*

Вольдемар отвечал дрожащим, вынужденным голосом:

*Золоты венцы девицам,
Парням куньи шапочки.
Лиго! лиго!¹*

– Вольдемар! – крикнула женщина, поднимая голову из тумана, как наяда из водной области своей.

– Ильза! – перекликнулся он, нахлобучил шляпу с длинными полями на глаза, окутался плащом, спустился с горы и, протянув руку маркитантше, потонул с нею в тумане.

– Я привела к тебе отряд русских, – сказала она ему на том языке, на котором пела. – Но

ты дрожишь, Вольдемар?

– Ничего, это от холода. Вы заставили меня слишком долго дожидаться. Где ж...

– Здесь, близко. Вот тебе записка от начальника русского, другая – от Паткуля. Будь осторожен: тебя ищут. Беги при первом случае!

– Бежать?.. Нет, лучше умереть. Пускай казнят меня, только на родной земле! – произнес глухо Вольдемар и увлек свою спутницу к толпе, рябевшей в густом слое паров.

– Где проводник? – закричал один из толпы, казавшийся начальником татарским.

Ильза указала на своего товарища. Подвели бойкую черкесскую лошадь, и два калмыка собирались уже силою втащить Вольдемара на нее и привязать его к седлу, как они обыкновенно дельвали это с другими проводниками своими; но он гордо взглянул на малорослых азиатцев, оттолкнул обоих так, что они полетели в разные стороны вверх ногами, вспрыгнул на коня и, гаркнув молодецким голосом по-русски:

– За мною! с богом! – прорезал себе дорогу сквозь толпу татар и поскакал вперед.

За ним последовали Илья на двухколесной своей тележке и татарский всадник (это был Мурзенко), отпотчевавший сначала нагайкой тех двух негодяев, которые оскорбили проводника, и наказавший своей команде строгое к нему уважение. По следам их понеслись гусем пятисотни казацкая, башкирская и калмыцкая, Преображенский полк на лошадях, девять полков драгун, московские гусары, копейщики и рейтары. (В это же время генерал Гулиц с несколькими сотнями охотников пустился на лодках по водам Чудского озера. Семеновский полк был потребован государем к Нотебургу.)

С судорожным ропотом проснулся край, доселе спавший мертвым сном. Глухо стонала земля от топота конницы; но всадники молчали, будто окаменелые на конях своих. Казалось, эскадроны мертвецов неслись в полуполночные часы на крыльях бури. Кое-где раздавалось ржание коней, и то немедленно было удерживаемо рукою, управлявшею ими; редко где стучало оружие об оружие, и тотчас стук этот замирал, как будто и металл согласовался в эти часы с подчиненностью челове-

ка. В отряде из нескольких тысяч – все было память данного приказа, все было жажда победы! Тем лучше выполнялась воля начальства, что она согласовалась и с чувством всего войска. Солдат, так же как и любовник, охотник до ночных приключений, сулящих ему условленную победу; вообще русский любит удалые затеи, отвагу. Вырвать, да подать; в одно ухо влезть, в другое вылезть – его любимые поговорки, означающие дух народный. Ночь с ее голубым небом, с ее зорким сторожем – месяцем, бросавшим свет утешительный, но не предательский, с ее туманами, разлившимися в озера широкие, в которые погружались и в которых исчезали целые колонны; усыпанные войском горы, выступавшие посреди этих волшебных вод, будто плывущие по ним транспортные, огромные суда; тайна, проводник – не робкий латыш, следующий под нагайкой татарина, – проводник смелый, вольный, окликающий по временам пустыню эту и очищающий дорогу возгласом: «С богом!» – все в этом ночном походе наполняло сердце русского воина удовольствием чудесности и жаром самона-

деянности.

Так несся более двух часов конный отряд, вверенный таинственному вожатому. Густой туман все еще лежал по земле; свет месяца не ослабевал. Вольдемар оглянулся кругом. Впереди было несколько рощиц и пригорков; кое-где, сквозь густые пары, окутавшие землю, мелькали огненные пятна, которые загораживали иногда маленькие тени. Он остановился, за ним весь отряд по свисту Мурзенко. С помощью переводчицы Ильзы Вольдемар объяснил татарскому начальнику, а этот передал, кому нужно было, что они сделали от Нейгаузена близ шести миль, что они находятся в трех верстах от заставы шведской, состоящей из эскадрона рейтар и расположенной за речкою Шварцбах, что при переправе будет работа коням и что для часового отдыха не найти лучшего места, как то, где они находились. Он же, проводник, брался с несколькими казаками содержать впереди пикет. Огоньки же, видимые в некоторых местах, говорил он, не должны никого тревожить, потому что они разложены крестьянскими детьми, стерегущими в *ночном* свои стада;

а хотя б между ними были и старшие, то известно, прибавлял Вольдемар, что латыш не тронется с места, пока не пойдешь к нему поднос и не расшевелишь его силою; без того целое войско может пройти мимо него, не обратив на себя его внимания. В самом деле, маленькие пастухи обоего пола, топорщась в кружок около разложенных огней, едва светящихся в тумане, беззаботно перекликались по рощам песнями своими, как ночные соловьи; в одном месте пели стих, в другом продолжали другой, так далее, и вдруг в разных местах соединяли голоса свои в один дружный хорный припев: «*Лиго! Лиго!*» Разнообразные звуки колокольчиков, привешенных к шее пасущихся стад, покрывали эти песни каким-то чудным строем.

Лукавый татарский наездник, Мурзенко, сквозь щели глаз своих, успел выглядеть проводника в лицо и с того времени имел к нему полное доверие.

– Моя знаят, его не обманет, – говорил он начальнику отряда.

Как сказано, так и сделано. Всадники облегчили лошадей. Возможная тишина про-

должалась между ними. На пикете было совещание, как напасть на заставу неприятельскую. Совет составляли Мурзенко, Паткуль и какой-то высокий воин, которому все оказывали особенное уважение. Вольдемар передал им через своего толмача[193], Ильзу, предложение, чтобы, как скоро отряд подъедет к реке, небольшой его части отчаянно перенестись прямо вплавь через реку, зажечь форпост, испугать и занять неприятеля, а другой части, которой он, проводник, укажет брод, переправясь через него, завернуть неприятелю в бок и в тыл и докончить его поражение. Предложение это принято высоким воином, который, по-видимому, соединял в себе верховную власть над отрядом. Хотя любопытство, сродное всякому, в настоящих обстоятельствах согласовалось с обязанностью полководца, он не показывал вида, что старается проникнуть таинственного советника. Действиями своими соображаясь с главным начальником, каждый из офицеров, чувствовавший сильное желание узнать, кто был таинственный проводник, не смел этого помогать-ся.

Прошел добрый час. Туманы зашевелились, свет месяца начинал ослабевать; песни латышские затихали. Дан знак свистом. Всадники сели опять на коней и в прежнем порядке тронулись вперед. Как скоро отряд начал подъезжать к Шварцбаху, означенному половою сгущенного дыма, Мурзенко махнул своей пятисотне и бросился с нею вплавь через реку. Караульные шведские, стоявшие за Шварцбахом, не понимали, что за шум они слышат вдали. В беспечности, утвержденной шестимесячным спокойствием, они думали, что плотина у ближайшей мельницы прорвалась; потом, увидя что-то движущееся по реке и услышав пыхтение лошадей, почли их заблудившимся стадом из Розенгофа. Они еще не успели одуматься, как несколько татар и казаков были уже на берегу. Закричал один и другой караульный; но крик их, разделенный метким ударом сабли, уже принадлежал жизни и смерти вместе. Прибежавшие в беспорядке на послышавшийся шум были окружены, смяты и переколоты. Рогатки были раздвинуты, огонь брошен на крыши сараев и изб форпоста, и Мурзенко, среди своих, с

ужасным воплем:

– Руби! коли! жги! – ворвался в стан шведский, как голодный волк в овчарню, и не только в неприятеле, но и в лошадях успел произвести ужас.

Наконец затрубили тревогу в форпосте. Устрашенные шведы хватались кто за одежду, кто за оружие, закладывали рогатки, тушили огонь, бросались на коней, еще не оседланных и худо им повинующихся. Испуганные животные отрывались от своих коновязей и умножали суматоху. Однако ж начальник форпоста, полуодетый, прибыв на место сражения, собрал около себя несколько сот рейтар верхами, восстановил между ними возможный порядок и с возгласом:

– Бог и король! Умрем! смертью сотрем наше бесчестие! Умрем! бог и король! – ринулся на Мурзенкову команду, сшибся с нею и завязал бой вместо драки.

Сначала бой этот поддерживаем был остервенением, равным с обеих сторон; гиканье татар еще заглушало командные слова шведского начальника. Вскоре твердый возглас:

– Бог и король! Друзья, победим или умрем! – пересилил беспорядок этих криков. Азиятцы, не привыкшие долго выдерживать верной сечки палаша и правильно поддерживаемого огня, стали показывать тыл. Вдруг застонала земля, как двинутое бурей море, и два русских драгунских полка врезались в сечу. Нескольких минут было довольно, чтобы склонить и утвердить легкую победу за русскими. Шведы, не побежденные, но задавленные, пали почти все мертвые. Из трехсот слишком человек два офицера и несколько рейтар взято в плен, и те сильно израненные. Заря начинала заниматься и открыла полусветом своим кровавое зрелище.

Когда Вольдемар привел драгунские полки к месту битвы, он стал поблизости ее на холму, откуда можно ему было все видеть, что в ней происходило. Кровь его кипела; огонь зажигался в глазах; не раз поднималась рука, чтобы ухватиться за оружие, которого с ним не было. С какою радостью полетел бы он в пыл этой битвы! Но мысль, что он чужой тем, для которых трудится с таким пламенным усердием, исторгала тяжелые вздохи из груди

его. Какой-то рядовой заметил, будто он перекрестился, когда победа утвердилась за русскими; но никто не хотел верить, чтобы басурману пришла охота творить по-русски крестное знамение, и все смеялись под нос вестовщику этой чудной новости. По окончании сражения не видали, куда проводник девался.

Военачальник русский с остальною конницею, не бывшею в деле, переправясь вброд через Шварцбах, поблагодаря участников победы за добрый начаток и приказав похоронить с подобающею честью своих и чужих, решил отдохнуть близ места сражения. Здесь же предположено дожидаться пехоты и артиллерии, для которых и начали устраивать мост. Не успели еще обделать фельдмаршалу ставку из деревьев, сучьев и ковров посреди березовой рощи, на скате пригорка, с которого можно было видеть за несколько верст кругом, как явился к нему калмык с запискою от генерал-кригскомиссара. Она была следующего содержания: «Высокоповелительный господин генерал-фельдмаршал! С дозволения вашего отправился я далее для исполнения

моих обязанностей. Полковник Мурзенко со мною и через час доставит все нужное в стан. Возможные меры приняты, чтобы пресечь вести о снятии форпоста шведского; а на случай, если б земля и воздух проговорились, пущен мною искусно слух, что господа шведы на форпосте изволили тешиться учебною пальбою и что в соседней деревушке случился пожар. Послезавтра буду иметь честь ожидать вас в Гуммельсгофе, где, предполагать надо, стянет свое испуганное войско самонадеянный Шлиппенбах и где удобнейшего ему места для главного сражения не предвидится. Русским нужна только встреча с ним: после нее имя шведское не будет иметь постоянного места в Лифляндии, кроме крепостей. В Сагнице вы изволите найти магазин шведский, обильно всем снабженный. В Гуммельсгофе войско не затруднится снабжением провианта: пятьсот возов выставит непременно семнадцатого числа к двум часам пополудни родственник мой Фюренгоф. Язык[194] и вместе нынешний проводник, швед, имеет нужду в отдыхе: он свое дело сделал. Ныне в полдень явится к вам *латыш*, высокого роста, белоку-

рый, молодой и, для соглашения пользы вашего войска с любовью моею к чудесности, этот язык и проводник будет *немой*. Он представит вам записку с словами: „*Илья Муромец*”. На вопросы по-немецки будет он отвечать письменно. До Сагница проведет он отряд ближайшими и сколь можно скрытыми дорогами. Ручаюсь за познание и верность его. Надеюсь, что от Сагница ужас шведов покажет вам точнее других место свидания с их начальником».

Прочитав это письмо, фельдмаршал сказал:

– Не будем неблагодарны: тайнам господина Паткуля обязаны мы за драгоценные известия, нынешнюю победу, бодрость войска и добрую надежду.

Между тем приказал он, кому следовало, принять *честным* образом нового проводника, а старого не тревожить, если он и покажется.

Все ликовало в войске. Сама природа будто радовалась; утро было прекрасное; солнце, выступив на небосклон, заиграло, как говорят у нас в простонародии, и сдернуло с долин ту-

манное покрывало, носившееся доселе над ними. Затрубили побудок[195] у ставки фельд-маршальской, и тот же сигнал повторился во всех полках. Офицеры и солдаты спешили принести Господу сил дань благодарности за победу, им ныне ниспосланную. Все молились от теплоты радостного сердца.

За небольшим оврагом, который граничил со станом русским и опущен был с обеих сторон густым, довольно высоким кустарником, стоял Вольдемар, никем не видимый, как ему казалось, но видя, что делалось в войске, поблизости врага. Скомандовали к *молитве*. Трепет пробежал по всем членам его. Со словами: «*Отче наш*» – пал он на колена, в трогательном благоговении повторял молитву за солдатом, читавшим ее в ближайшем от него полку, и с словами: «*Остави нам долги наша*» – горько зарыдал. Несчастный! он не смел молиться с другими; отчужденный от общества каким-нибудь преступлением, он не смел присоединиться к людям, свято исполнявшим обязанности христианина и подданного. Одна строка из его жизни могла бы вооружить против него тех, кого вел он ныне к по-

беде. И ближним своим служить может он только ночью, потаенно! Мысль эта испугала его, как будто в первый раз приходила ему в голову. Он поспешил удалиться; но, лишь отошел несколько шагов, чувство, сильнейшее этой мысли, заставило его воротиться на прежнее место и приковало его к нему. Он сел. Как сладостно было прислушиваться ему к звукам языка, давно не потрясавшего его слуха! С какою жадностью перехватывал он сердцем эти звуки! «Что ни будет, — думал он, — пробуду еще с ними несколько времени».

Последний полк, расположенный у оврага, был князя Вадбольского. Хлебосольство и радостные беседы чаще, нежели к другим полковым начальникам. Товарищи его, составлявшие вчерашнее общество в развалинах нейгаузенского замка, кроме некоторых и, в числе их, Кропотова, говорившего, что он не принадлежит уже этому миру, что он приготовился по долгу христианскому к переходу в вечность, — товарищи эти пировали и ныне у Вадбольского, расположившись в кустах у оврага. И ныне, так же как и вчера, оживлял-

ся разговор пением и музыкою. Скоморох Филя исполнял должность мундшенка вместо драгуна в засаленной рубашке, который, постряпав на форпосте палашом, прилег там же отдохнуть сном вечным. Чара круговая обошла приятельский круг уже три раза, сперва за здоровье живых, потом за упокой убиенных и наконец за *викторию*. А как походный кравчий[196], и вместе музыкант, жаловался, что от проклятого тумана струны отсырели на балалайке да пальцы у него свело, то и ему поднесли *жизненной водицы*. Он взял чару в руки и произнес громко, поклонившись на все стороны:

– Во здравие, во славу честной компании!

Князь Вадбольский. Заметьте, братцы, уж наш проклятый скоморох, из какой-нибудь деревушки Подосиновки, изволит щеголять чужестранными словами. Вот какая чума – пример высших! Чай, у нас лет через сто чумаки в деревнях заговорят на басурманском языке.

Филя (*продолжает, не смешавшись*). Во здравие, во славу честной беседы! Долгие лета им жить и заздравную чашу пить! Сколько

капель проглочу я в этой чаре, столько б шведов каждому отпустить на тот свет! Как я люблю вино, так любили бы нас верно и нелицемерно приятели и жены... Гм! (*Смотрит на Дюмона.*) Вижу, вижу по глазам, чего хочется, – и так полюбили бы нас московские красные, чернобровые девушки! (*Выпивает чару разом и выливает оставшиеся в ней капли на маковку головы своей, которую и пригладживает рукой; потом берет балалайку и оборачивается с поклоном к Глебовскому.*) Ваше благородие! недокончанная борозда хуже, чем нетронутое поле.

Полуектов. Правда, за тобою долг: ты начал нам песню Новика, и тебе помешали докончить ее.

Послышался шорох с другой стороны оврага в кустах. Филя стал прислушиваться и сказал:

– Господа командеры! кто-то вздохнул за оврагом, да так вздохнул, что по сердцу поддрало.

Князь Вадбольский. Полно врать.

Филя. Ей, ей, право, велико слово! Вы знаете, какое у меня ухо: чуть кто на волос невер-

но споет, так и завизжит в нем, как поросенок или тупая пила. Не сбедокурил бы над нами проводник. Молодец хоть куда! Пожалуй, на обе руки! Да еще не жид ли: и *нашим* и *вашим*... Нас подвел ночью шведов побить, а днем подведет их, чтоб нас поколотить.

Князь Вадбольский. Врешь, Филька! С холма, где раскинут фельдмаршальский шалаш, видно все за десяток верст; форпосты наши стоят далеко. А если удалой проводник – дай бог ему здоровья да поболее охоты помогать нам! – подвел против нас один вздох, так еще беда не велика. Ну-тка лебединую!

Филя заиграл, корча по временам плаксивое лицо; Глебовской запел следующую песню; Дюмон изредка вторил ему голосом:

*Сладко пел душа-соловушка
В зеленом моем саду;
Много, много знал он песенок,
Слаще не было одной.*

*Ах! та песнь была заветная,
Рвала белу грудь тоской;
А все слушать бы хотелось,
Не рассталась бы ввек с ней.*

*Вдруг подула со полуночи,
Будто на сердце легла,
Снеговая непогодушка
И мой садик занесла.*

*Со того ли со безвременья
Опустел зеленый сад:
Много пташек, много песен в нем,
Только милой не слышать.*

*Слышите ль, мои подруженьки?
В зеленом моем саду
Не поет ли мой соловушко
Песнь заветную свою?*

*«Где уж помнить перелетному, —
Мне подружки говорят, —
Песню, может быть, постылую
Для него в чужом краю?»*

*Нет! – запел душа-соловушко —
В чужедальной стороне
Он все горький сиротинушка,
Он все тот же, что и был.*

В то самое время, когда Глебовской доканчивал куплет, за оврагом повторили последний стих. Он замолчал; Филя перестал играть;

все собеседники смотрели друг на друга в изумлении. Кто-то дрожащим, исполненным тоски голосом продолжал петь:

*Не забыл он песнь заветную;
Все про край родной поет,
Все поет в тоске про милую;
С этой песнью и умрет.*

Здесь голос умолк.

– Что это значит? – говорили друг другу собеседники.

– Уж это не вздох – целая весточка от родины!

– Не подшучивает ли кто над нами? – Глебовской готов был побожиться, что он один в отряде знает эту песню. Требовали от Филя, чтобы признался, не выучил ли он ей кого?

– Чтоб язык отсох! по маковому зернышку меня бы разорвало! – возразил Филя. – У меня самого песня эта была заветная; я берег ее за теплою пазушкой для света-радости, красной девицы в тоске, в разлученьице, по добром молодце, по офицерчике. Гм! (Кашляет.) За нее подарила бы она меня словом ласковым, приветливым и рублевином серебряным. Господа командиры! Дайте мне ордер разведать,

какой окаянный певчий передражнивает нас?

– Разведаем, разведаем. И мы с тобой! – закричали в один голос Дюмон и Глебовской.

Но лишь только встали они с мест своих и собирались идти, как на другой стороне оврага мелькнул между кустами высокий мужчина, в круглой шляпе с широкими полями, закутанный в плаще. Утренняя тень ложилась от него длинной полосой там, где не пересекали ее деревья. Он махнул собеседникам рукою, давая им знать, чтобы они не трудились его преследовать, скрылся в кустах, и, пока наши стрелки успели – двое обежать овраг, а третий спуститься в него кубарем и вскарабкаться по другому краю его, цепляясь за кусты, – таинственный незнакомец был уже очень далеко на холму, скинул шляпу и исчез. Преследовать его было невозможно. Досадуя на свою неудачу, Дюмон, Глебовской и передовой их Филя возвратились в круг товарищей. Все опять принялись вертеть Пандорин [197] ящик и приискивать к нему ключ.

Лима. Рост, черные волосы напоминают мне проводника моего при Эррастфере. Да тот

худо говорил по-русски, как мне докладывал ариергардный офицер, которому он отдал кошелек с деньгами. Правда, мне, сколько припомнить могу, он довольно речисто произнес: «Стой! овраг – и смерть!» И теперь эти слова отдаются в ушах моих.

Дюмон. Напев не делает музыки.

Князь Вадбольский. Не проводник ли это нынешний?.. Говорят, что он швед; как же заморской птице этой распевать так хорошо по-нашему?.. Из какой причины швед помогает неприятелям своего отечества?.. Разве из мести?.. Не преступник ли какой?.. Может быть, изгнанник?.. Слышали ль вы, братцы, как он ночью покрикивал: «С богом!» – и в голосе его что-то было не басурманское!.. Жаль, что Мурзы нет с нами. Мышиными глазами своими он видит ночью, как днем, и, наверно, успел его разглядеть. Без того не ручался бы он за него так, как за калмыцкую свою лошадь.

Полуектов. Да вот он и на помине легок: несется с холма, за которым скрылся таинственный певец, и ведет за собою целый обоз провианта.

Дюмон. Может быть, и чудесного пленни-

ка приведет к нам.

Князь Вадбольский (*махая рукою Мурзенке, кричит ему*). Сюда, сюда, окаянный татарин!

Настоящая дорога, по которой тянулся черною нитью на двухколесных тележках обоз, как встревоженный муравейник, перебирающийся на новоселье, обгигала далеко овраг, разделявший Мурзенку с нашими собеседниками. Для нетерпеливого азиатского наездника кратчайший путь есть лучший: он не думал, который ему избрать. В замену шпор, подобрав немного поводья у своего черкесского коня, горбоносого, поджарого и невидного, он полетел прямо на овраг. Подъехав к нему, он привстал немного на седле, поотдал поводов, гикнул, и конь, соединив под себя ноги свои, как бы собрав воедино всю свою силу, вдруг раскинул их, развернул упругость своих мускулов, мелькнул одно мгновенье ока на воздухе, как взмах крыла, как черта мимолетная, фыркнул и, осаженный на задние ноги ловким всадником, стал, будто вкопанный, перед собеседниками. Только брызги земляные полетели из-под него в глаза их.

– Зачем моя нужна? – спросил с нетерпением татарский наездник.

Князь Вадбольский (*протирая себе глаза*). А забыл, полковник-молодец, свою порцию водки?

Мурзенко (*усмехаясь*). Добра, добра! (*Выпивает, не слезая с лошади, поднесенную ему чару.*) На этом спасибо! За то я ваша хлебца привезла, моя ныне выручили.

Князь Вадбольский. Бьем челом тебе за хлебец, ради стараться вперед, любезный товарищ, лишь бы ты начинал. Да что у тебя на щеке, полковник?

Мурзенко (*хватаясь в забывчивости за щеку, разрезанную ударом палаша*). Эй, эй, раздражила моя щека: моя было заговорила. Прощай! нет время.

Полуектов. Подожди немного, полковник! (*Хочет ухватить за узду лошадь, которая бросается на него, чтобы укусить, так проворно, что он едва увертывается.*)

Мурзенко. Лошадка моя любит только своя господина да вольная луга. Говори твоя скорей, зачем моя надобна.

Полуектов. Не взял ли ты кого в плен на

форпосте?

Мурзенко *(качая головой в знак отрицания)*. Нет.

Дюмон. Не видал ли хоть проводника ночного?

Мурзенко. Нет.

Князь Вадбольский. Тьфу, пропасть! не видал ли кого там чужого?

Мурзенко. Моя никого не видала, ничего не знает. Прощай!

С этим словом тронул он повода лошади и поскакал к фельдмаршальской ставке.

Князь Вадбольский. Заметили ли вы, братцы, как он корчил свою плутоватую татарскую рожу? И чествованье наше ему не в честь. Злодей! не в заговоре ли уж он с певцом!

Дюмон. Чего бы я не дал, чтоб узнать, кто этот чудесный человек.

Глебовской. Послать на форпост проведать об нем все равно что не посылать: там стоит Мурзенкова команда. Если он молчит, так и она не заговорит, хоть жги горячим железом. Сотни его только члены этого животного.

Дюмон. Уже не пропустили ли кого татары

без дежурного офицера?

Князь Вадбольский. Офицер с отрядом драгун только теперь отправился сменять калмыков да башкирцев. Впрочем, грех сказать и об Мурзенковой команде, чтобы она не исполняла свято обязанности караульщиков.

Дюмон. Так же хорошо, как и обязанности зажигателей и грабителей; а между тем слава падает на регулярное войско!

Лима. Что делать, господа? Они незнакомы с честолюбием, не знают, что такое преданность к государю, любовь к отечеству, что такое слава; честь их – надежный конь, владыка – Мурзенко, почитаемый ими более царя, потому что нагайка того нередко напоминает им о своем владычестве, а царская дубинка еще на них не гуляла; удовольствие их – лихое наездничество, добыча грабежом – их награда. Зато летучим коням их реки как нам гладкая дорога; по скалам они, как козы, прыгают. Какой драгун осмелился бы пуститься на две трети расстояния, которое Мурзенко перемахнул сейчас будто ни в чем не бывало? Везде татарин составляет наше передовое войско; везде очищает нам путь к неприятелю.

лю ужасом имени своего. Подчините их дисциплине, и войско это будет для нас бесполезно.

Дюмон. Не задаривайте их также...

Полуектов. А разве забыл ты, братец, слово нашего великого государя, да не мимо идет: *«А сии пистолы и в Европе много пользуют, не только что у варваров»*.

Дюмон. Так; да я сердит ныне на них.

Лима. Это дело другое.

Глебовской. Особенно на Мурзенку, чтоб...

Князь Вадбольский. Чтоб конь его хоть раз в жизнь свою спотыкнулся на ровном месте! Пропустить из-под ног зайца, а может быть, красного зверя – в самой вещи досадно. Только что хвостиком мигнул! Да не век же горевать, друзья! Если чудак любит русские песни, так мы его опять заловим на эту приманку; если он любит нас, так сам пожалует; а недруг хоть вечно сиди в своей берлоге!

Так кончилась занимательная беседа, прерванная шумом прибывшей пехоты и артиллерии. Весь день прошел в отдыхе. К полдню явился немой *вож*[198], представив, кому следовало, свой пропуск со словами: *«Илья Муро-*

мец». Никто не был довольнее Ильзы приходом его: она обнимала, целовала его, называла милым братцем, а он, со своей стороны, показывал красноречивыми движениями, что был очень рад свиданию с нею. Не наговорились они, Ильза на своем языке, немой на своем. Мы узнали в нем того самого детину, которого видели на мызе Блументроста в следах оттого, что другие плакали.

Вечер наволол густые тучи, в которых безгрозы разыгрывалась молния. Под мраком их отправился русский отряд через горы и леса к Сагницу, до которого надо было сделать близ сорока верст. Уже орлы северные, узнав свои силы, расправили крылья и начинали летать по-орлиному. Оставим их на время, чтобы ознакомить читателя с лицом, еще мало ему известным.

Глава шестая

Ночное посещение

Все подозрительно, и все его тревожит:

*Чуть ночью кошка заскребет,
Ему уж кажется, что вор к нему идет,
Похолодеет весь, и ухо он приложит.*
Крылов

А этот точно плут, и плут первостатейный!
Хмельницкий

Была ночь. Окрестность мызы рингенской слилась во мрак, сгущенный черною тучей, задвинувшею небо.

Подойдя к самому пригорку, на котором стояли развалины замка и господский дом, ничего нельзя было различить, кроме нескольких черных, безобразных громад. Только по временам, когда в черной туче загоралась длинная красноватая молния, освещавшая окружность, видны были на возвышении влево, под сенью соснового леса, бедные остатки замка и правей его – двухэтаж-

ный дом. О прежнем великолепии дома свидетельствовали еще множество статуй Нептунов[199], Диан[200], Флор[201] и прочих сочленов Олимпа с разбитыми головами или обломанными руками; остатки на фронте искусной лепной работы и два бесхвостых сфинкса, еще, впрочем, в добром здоровье, охранявших вход в это жилище. В то же время и настоящее жалкое положение его выказывали пестрая штукатурка, выпавшие из углов кирпичи, поросшие из-под кровли кусты и разбитые стекла, залепленные бумагой или обтянутые пузырями. За домом видна была купа деревьев, огражденная двойным валом, сходившим с возвышения до самой речки Метты, которая, вивясь под пригорком, разыгрывалась в проблески молнии, как полосы дружно размахнутых кос. Кругом, кое-где по холмам, стояли рощи.

Около дома рингенского барона все было тихо, будто около дома опального. Лишь к полуночи в развалинах замка расхохоталась сова, как некогда в блистательную эпоху его нечистый смеялся, когда знаменитый портной-художник, выписанный из чужих краев,

снарядил дочь хвастливой Тедвен в такое платье, которому не было подобного во всей Ливонии, – той самой Тедвен, мимоходом скажем, которая умерла потом в Гапсале в такой нищете, что не на что было купить ей савана и гроба. Несколько сторожких псов лаем и воем своим отвечали изредка крикливой сове, и летучие мыши, ныряя в воздухе туда и сюда, писком своим показывали, какое веселое раздолье приготовили им мрак ночи и безлюдство этой пустыни. В верхнем этаже нарушал тишину один ветер, жужжавший в лоскутах бумаги, которыми некоторые окна были худо замазаны. Когда эта музыка соединялась в адский хор и статуи, при сверкании красноватой молнии, выступали из мрака вперед, как мертвецы в своих саванах, и опять с нею убежали во мрак, тогда и молодец, с крепкими мышцами и бестрепетным сердцем, проезжая этими местами, невольно должен был прочесть молитву.

У подъемного моста, где были и ворота в замок, на берегу Метты, кто-то легонько кряхтел и покашливал по временам, от страха ли, или, может, то был сторож, желая дать знать

своему господину, что он неусыпно исполняет обязанности свои.

Внутри дома, в задней угольной комнате, трепетал в медном, заржавленном ночнике огонь, скупо питаемый конопляным маслом, и бросал тусклый свет на предметы, в ней находившиеся. За столом, накрытым черною вощанкой, сидел старичок. На лысой голове его торчало несколько хлопков седых с рыжиною волос. Он не был безобразен, но черты лица его, некогда правильные, ныне искривленные злобою и подозрением, возбуждали отвращение во всяком, кто только в него всматривался. Бледное лицо его свидетельствовало, что в нем беспрестанно работали гнусные страсти; под навесом рыжих бровей, кровью налитые глаза доказывали также, что он проводил ночи в тревожной бессоннице. На нем был кофейного цвета объяринный шлафрок [202] со множеством свежих заплат, подобных клеткам на шашечной доске. Из-под распахнувшегося шлафрока видны были опущенные по икры чулки синего цвета, довольно заштопанные, и туфли, до того отказывавшиеся служить, что из одного лукаво выгля-

дывал большой палец ноги. Высокий и узкий задок стула, на котором сидел отвратительный старик, был переплетен проволокою. Комната, довольно длинная, но чрезвычайно узкая, имела только одну дверь и одно окно, изнутри запертое железными ставнями и таким же огромным болтом. По всем стенам, кроме той, в которой была дверь, стояли сплошные шкапы простой, однако ж крепкой работы. Шкапы эти были иные с дверками, другие с одними полками, уставленными штофами, банками и пузырьками, и третьи с выдвигаемыми ящиками, из которых на каждом были следующие надписи: гвозди первого, второго, третьего и четвертого сортов, петли, замки, крючки, подковы новые и старые, ножницы стальные и медные, лом медный, железный, оловянный и так далее – все, что принадлежит к мелочному домашнему хозяйству. По стене, шкапами не занятой, висели лоскуты разных материй, пуками по цветам прибранных, тут же гусиное крыло, чтобы сметать с них пыль, мотки ниток, подметки и стельки новые и поношенные, содранные кожаные переплеты с книг и деревяшки для пу-

говиц – все это с надписями, иероглифами, заметками и вычислениями и все в таком порядке, что неусыпный хранитель этих сокровищ мог в одну минуту взять вещи, ему нужные, и знать, когда они поступили к нему в приход, сколько из них в расходе и затем в остатке. Похищение одной деревяшки сейчас могло быть открыто. Таков был кабинет рингенского помещика и первого богача в Лифляндии, барона Балдуина Фюренгофа, дяди Адольфа и Густава Траутфеттеров, уже нам известных.

Он встал со стула, взял ночник, запер дверь кабинета ключом, вышел в ближнюю комнату, в которой стояла кровать со штофными, зеленого, порыжелого цвета, занавесами, висевшими на медных кольцах и железных прутьях; отдернул занавесы, снял со стены, в алькове кровати, пистолет, подошел к двери на цыпочках, приставил ухо к щели замка и воротился в кабинет успокоенный, что все в доме благополучно. Храпели мальчики и девочки у дверей разных комнат. Только тот, кто захотел бы пройти до скупого и злого барона, должен был наступить на них

и произвести тревогу в доме. Запершись в кабинете и положив ночник и пистолет на стол, подошел Фюренгоф к одному шкапу, вынул из него деревянный ящик с гвоздиками номер четвертый, засунул руку дальше и вынул укладку, на которой тоже была надпись: гвозди номера четвертого. Беспреестанно оглядываясь и прислушиваясь, он поставил дрожащими руками укладку на стол. Долго пытал он целость ее, долго разглядывал, не оказывается ли в ней щели; наконец выдвинул из нее дощечку и пожал под нею пружину, отчего из укладки отскочила крыша. Вынув из этого, по-видимому денежного, гроба несколько свертков в бумаге, положил их на стол, потом попеременно клал на ладонь и с улыбкою взвешивал их тяжесть. Потешившись таким образом, он развернул свертки – и золото одинакой величины монет заиграло в глазах его. Приметно было, что блеском некоторых он особенно любовался; другие, находя несколько тусклыми, осторожно чистил щеточкой с белым порошком до того, что они загорели, как жар. От радости он захохотал и вдруг, сам испугавшись этого судорожного хохота, с

ужасом вздрогнул, посмотрел вокруг себя и старался затаить свое удовольствие в глубине сердца. Успокоившись, нарезал он из бумаги, в меру монет, несколько кружков, переложил ими вычищенные монеты, потом, вздохнув, как будто разлучаясь с другом, свернул золото в старые обертки, с другим вздохом уложил милое дитя в гроб его до нового свидания и готовился вдвинуть ящик на прежнее место, как вдруг собаки залились лаем и, немного погодя, сторож затрубил в трубу. Скупец затрепетал как лист осиновый; руки у него с ящичком остались в том положении, в каком их застала тревога в доме; бледнеть уже более обыкновенного он не мог, но лицо его от страха подергивало, как от судороги. «Что это значит? в тюлуночь?» – сказал он сам себе, старался ободриться и, дрожа, спешил привести ящички, шкап и кабинет в прежнее укрепленное состояние. После того надел на себя засаленный колпак, взял ночник, положил пистолет за пазуху, попытал крепость замка у кабинета, вывел у двери песком разные фигуры, чтобы следы по нем были сейчас видны, и обошел рунтом[203] все комнаты в доме. Все

посты, кроме одного, были заняты проснувшимися ребятишками и девочками, испытанными, растрепанными, босыми и в лохмотьях.

– Марта! Марта! – грозно закричал барон, и на крик этот выбежала женщина не старая, но с наружностью мегеры, в канифасной кофте и темной, стаметной[204] юбке, в засаленном чепце, с пучком ключей у пояса на одной стороне и лозою на другой, в башмаках с высокими каблуками, которые своим стуком еще издали докладывали о приближении ее. Это была достойная экономка барона Балдуина и домашний его палач.

– А-а! дружище! – сказал Фюренгоф и указал ей на девочку лет десяти, лежавшую, согнувшись в клубок, у одной из дверей. Мегера немилосердно толкнула несчастную жертву в спину и, не дав ей времени одуматься от страха, принялась хлестать ее лозою до того, что она упала без чувств на пол. Здесь послышался на мосту нетерпеливый крик и стук.

– Видно, пожаловал неугомонный гость! – проворчал с сердцем старик. – Марта! спроси в окно, кто осмеливается так беспокоить меня по ночам?

Экономка спешила в точности выполнить приказ своего повелителя. Сторож отвечал, что приехал из Гельмета господин Никласзон и грозитя стрелять по окнам дома *милостивого* барона, если не скоро пропустят его через мост.

– Вели пустить! – сказал Фюренгоф, спустившись на тон более мягкий, когда услышал магическое для него слово, и приготовился встретить гостя, бормоча сквозь зубы: – Ох! этот вещун полуночный! зачем нелегкая несет его так поздно?

Комната, где второпях остановился барон, походила также на кабинет, только другого рода, нежели тот, в котором мы его прежде застали. Кроме старых фолиантов, книг, большою частью без переплетов, планов и бумаг, покрытых густым слоем пыли, да двух-трех фамильных портретов, шевелившихся при малейшем стуке дверей, в нем ничего не было. Как повислое крыло ушибленной птицы, свесилась над портретом оторванная с одного конца панель, а с другой едва придерживаемая гвоздем. Здесь стоял сальный огарок, который барон поспешил зажечь. В этом каби-

нете ожидал он своего гостя. Явился Никласзон в плаще, опоясанном широким ремнем, за которым было два пистолета, в шляпе с длинными полями и с арапником в руке. Грубая досада и коварство переговаривались на его лице. Марте дан знак удалиться.

– А-а, дружище! Откуда? зачем бог несет так поздно? – сказал Фюренгоф, обнимая Никласзона.

– Бог? не произноси этого имени! – возразил гость, принимая холодно обнимания хозяина и бросив шляпу на стол. – В наших делах нет его.

– Дружище! что с тобою? Здоров ли ты? Садись-ка, отдохни, любезный! (Придвигает ему стул.)

– Вели подать мне прежде вина, да смотри, для меня!

– Отвесь душку? хорошо! Венгерского, что ли? чистого венгерского, которое берегу только для таких приятелей, как ты. Масло, настоящее масло, дружище!

– Хорошо!

– А может, позволишь кипрского? Остаток от пира, который делал король польский

при переименовании Динаминда в Аугустенбург. Сладок, приятен, щиплет немного язык...

– Как твоя Марта. Что-нибудь хорошего, да поскорее!

Старик вышел в другую комнату и хлопнул два раза в ладони. На этот знак явилась растрепанная экономка с белым чепчиком на голове. Он сердито посмотрел на нее и примолвил:

– Вот что значит гость по сердцу! Гм! Наряды другие!

– Прежний чепчик... – отвечала, запинаясь, мегера, – был в... крови.

– Сатанинские отговорки! Знаем! Слышь, принеси нам венгерского первого сорта. *Понимаешь?* а?

– Слушаю и понимаю, – проворчала экономка и вышла из комнаты, хлопнув сердито дверь.

– Вот каковы ныне служители, дружище! – вздыхая, сказал барон, садясь близ своего гостя. – А сколько попечений об них! Пой, корми, одевай, заботься об их здоровье, благодетельствуй им, и, наконец, в награду тебе,

хлопнут под нос дверью!

– Зачем ты сослал на пашню служителей отца своего?

– Они служили отцу, не мне; к тому ж избалованы, страх избалованы; захотели бы и меня впрячь в соху, да стали бы еще погонять; пустили бы и меня по миру. Я хочу воспитать своих служителей для себя собственно, по своему обычаю, своему нраву. Надобно держать их в ежовых рукавицах, чтобы они не очнулись; надобно греметь над ними: тогда только они на что-нибудь годятся.

– Между ними были старики испытанной верности.

– Верности? где ныне найти ее? Все тунеядцы, трутни, вольница! Только и забот, что о себе, об новой редукции, о каких-то правах человеческих, а об господине давно забыли. Вообрази, любезный, я вздумал одного из этих служителей испытанной верности легонько наказать – и то, дружище, с отдыхами, – что ж он, бунтовщик?.. Я, кричит на весь двор, старый камердинер вашего батюшки, ходил с ним в поход; да что это будет? ныне времена не те: есть в Лифляндии и суд и ланд-

рат[205]. Поверишь ли? Едва не взбунтовалась вся дворня.

– Хорошо! Зачем же ты согнал прежнюю любимицу свою Елисавету?

– Елисавету?

– Да, обольщенную тобою, обманутую, твою благодетельницу, по милости которой так же, как и по моей, получил ты все, что имеешь!

– Она была свидетельницею... она избаловала всю дворню, брала надо мною верх, хотела быть госпожою всего... меня уж не ставила и в пфенниг. Впрочем, господин Никласзон, к чему такие вопросы? в такое время?

– К чему? (Никласзон коварно посмотрел на своего собеседника.)

– Да, зачем тревожить прах мертвых? Разве ты хочешь забыть, что она умерла, схоронена и покоится на кладбище до будущего воскресения мертвых?

– Умерла так же, как я умер, схоронена, как я.

– Разве... ты... друг?

– Видно, ошибся одною унциею: что ж делать? И не на нас бывает такая беда, что од-

ною лишнею унцией, или недостатком унции, убивают и оживляют.

– Что ж?.. разве есть вести?.. – дрожащим голосом спросил ужасный барон, едва держась на стуле.

– Есть. Знай, старик неразумный: бывшая служительница Паткуля, питомка отца твоего, твоя любимица, моя с тобою сообщница в злодеянии... (Взглянув на шевелившийся портрет.) Что ты не велишь снять этого бледного старика, который на нас так жалко смотрит, будто упрашивает? Также свидетель!..

– Тише, тише, друг, я слышу шаги Марты. (Он утер рукою холодный пот с лица и старался принять веселый вид.) Славное винцо, бо-жусь тебе, славное! (Вошла экономка, у которой он вырвал из рук бутылку, рюмку и потом налил вина дрожащими руками.) Выпей-ка, дружище! после дороги не худо подкрепить силы.

– Прошу начать, – сказал твердо Никласзон.

– Между друзьями? Это уж осторожность слишком утонченная.

– Без обиняков. Мы друг друга знаем:

я приехал не знакомиться с тобою.

– Будь по-твоему! За здоровье моего доброго, верного приятеля! (Выпивает рюмку вина.)

Никласзон взял рюмку и бутылку, сам налил и, произнеся:

– Да погибнут враги наши! – приложил губы к стеклу, наморщился и выплеснул вино на пол. – Твоя экономка ошиблась? Это уксус!

– Марта! что это значит?

– Вы приказали первого сорта, – отвечала экономка, – не в первый раз *понимать* вас.

– Бездельница! – вскричал старик, топая ногами. – Принеси первого нумера. *Знаешь?*

– Теперь *знаю*, – сказала Марта и вышла из комнаты.

Барон придвинул стул ближе к своему собеседнику и жалким, униженным голосом, потирая себе ладони, начал так говорить:

– Как же вы, любезный друг, знаете, что... она... но вы надо мною шутите? Может быть, старые долги?

– Я не приехал бы шутить в ужасную полночь к тебе, на твою мызу, где одни черти за волосы дерутся. Известно мне так верно, как сижу теперь на стуле, в доме твоём, как тебя

вижу в трясучке от страха; известно мне, говорю тебе, Балдуину Фюренгофу, что Елисавета, тобою изгнанная, мною не доморенная, живет, под латышским именем Ильзы, в стане русском, в должности маркитантши. – При этих словах расстегнул он верх плаща, вынул из бокового кармана две бумаги и, подавая Фюренгофу одну, произнес с злобною усмешкой: – Читайте, господин барон! полюбуйтесь, господин барон!

Балдуин придвинул к себе свечу, взял бумагу и, разглядев заглавие и почерк, едва не выронил ее из рук.

– Что-то рябит в глазах, – сказал он, запинаясь. – Почерк знакомый! Точно, это ее злодейская рука! – Он начал читать про себя. Приметно было, как во время чтения ужас вытаскивался на лице его; губы и глаза его подергивало. Пробежим и мы за ним содержание письма:

«Елисавета Трейман Элиасу Никласзону.

Как посторонняя тебе женщина, не желаю мира душе твоей: это было бы напрасное желание! Ни ты, ни твой со-

общник, ни я, подлое орудие ваших преступлений, не можем уже вкушать мира ни в здешнем свете, ни в другом. Могу ли желать тебе мира по чувству ненависти к вам, которое разве гробовой камень во мне придавит? Если вам дано пользоваться хотя наружным спокойствием, – пишу к вам для того, чтобы его нарушить. Знайте, злодеи! я жива не одним телом; жива духом мщениия, ужасным, неумолимым, как было ужасно, неумолимо обращение со мною твоего собрата по злодеяниям. Трепещите! день этого мщениия приближается: он будет днем Страшного суда для вас, не ожидающих его и не верующих в Судью Вышняго. Слушайте! Подлинное завещание никогда не было уничтожено; столько же преступная, как и вы, я была умнее и осторожнее вас: я сохранила это завещание и обманула двух опытных плутов. Прибавлю еще к мучению вашему: оно лежит на земле рингенской. Стерегите его день и ночь или изрыйте всю область князя ада, барона сатаны, чтобы отыскать его. Ожидайте меня. Час мщениия, час вашего суда наступает. Иду... скоро

сподоблюсь увидеть вас лицом к лицу в адских терзаниях. О! как наслажусь я ими! – Скоро увидите перед собою с ужасною бумагой, вместо бича, Елисавету Трейман».

– Ну, барон, как вам нравится эта цидулка? – хладнокровно сказал Никласзон. (Фюренгоф не отвечал ничего и впал в глубокую задумчивость, из которой мог только исторгнуть его адский смех товарища.) – Ха-ха-ха! лукав, как лисица, и труслив, как заяц! Полно предаваться отчаянию: разве нет у тебя друзей?

– Друзей! правда, я забыл об одном. Друг! помоги мне ныне; выручи меня и требуй...

– Кислого вина, не так ли? Знаем цену ваших обещаний, знаем также, как вы их держите. Впрочем, я берусь помогать тебе с условием: слушаться моих советов, как твои маленькие мученики лозы Марты.

– Готов все сделать.

– Видишь, попавши в когти к дьяволу, нелегко из них выпутаться: надо иметь ум самого Вельзевула[206], ум мой, чтобы высвободить тебя из этих тенет. Чу! слышны каблуч-

ки прелестной Гебы[207].

Вошла экономка с бутылкою вина, хорошо засмоленной, поросшею от старости мохом и с ярлыком из бересты, на которой была надпись: *старожинский*.

– Вот это, видно, доброе венгржино[208]! – сказал Никласзон. – Подай-ка прежде своему Юпитеру; Меркурий знает свой черед. (Старик, не отговариваясь, налил себе полрюмки, выпил ее без предисловий и тостов, потом передал бутылку и рюмку гостю.)

– Вот это винцо! – вскричал Никласзон, выпивая рюмку за рюмкою. – Помянуть можно покойников, что оставили нам это добро, не вкусивши его. Нет, в замке Гельмет люди жили поумнее и теперь живут так же: наслаждались и наслаждаются не только своим, даже и чужим; а деткам велят добывать добро трудами своими. – Он наставил себе горлышко бутылки в рот.

Старик, трясясь от жадности, предлагал ему несколько раз рюмку, которую Никласзон наконец в досаде оттолкнул от себя так, что она, упав на пол, расшиблась вдребезги.

– Что ты мне рюмочку подставляешь? Мы

умеет пить изо всей. Торговаться стал, дрянной старичишка? Хочешь?..

– Кушай, любезный, на здоровье. Я думал, что венгерское пьют рюмочками.

– То-то и есть! Марта, подойди сюда. Старый хрыч! Вели ей подойти ко мне: она боится тебя.

– Марта, подойди к господину Никласзону; он тебя не укусит.

Экономка подошла к гостю; тот хотел ее поцеловать; она с притворным жеманством отворотилась.

– Барон! что это значит?

– Марта, поцелуй господина Никласзона, когда он делает тебе эту честь.

Властолюбивый гость наклонил голову на одну сторону и назначил указательным пальцем место на щеке, которое она должна была поцеловать. Экономка, с видом отвращения, исполнила повеление своего господина.

– Поцелуй Елисаветы были горячее твоих. Славная была девка Ильза! Что ты стоишь перед нами, старая ведьма? Вон!

Марта покачала головой и, поглядев исподлобья на своего повелителя, превративше-

гося из ужасного волка в смирную овечку, поспешила оставить собеседников одних. Никласзон ударил рукою по бумаге, которую бросил на стол перед напуганным бароном, перекачнул стул, на котором сидел, так, что длинный задок его опирался краем об стену, и, положив ноги на стол, произнес грозно:

– Первое письмо было к сведению, а это к исполнению. Читай-ка, доброжелатель мой, да потише, а то ныне и двери слышат.

Фюренгоф взял бумагу, ему подложенную, и начал читать про себя, выговаривая по временам некоторые слова и строки вслух:

– «Зная... ваши с моим родственником» (взглянув на подпись, с изумлением): Паткуль родственник? Висельник! изменник! право, забавно! «Русскому войску... 17/29 нынешнего месяца... в Гуммельсгофе...» Что это за сказки? Об русских в Лифляндии перестали и поминать. Едва ли не ушли они в Россию. Чего ему хочется?

– Кошке хочется игрушек, а мышкам будут слезки.

– Это не прежние времена пошучивать над роденькою: кажется, было чему отбить лю-

бовь к чудесностям! «...пятьсот возов провианта непременно... к назначенному числу». Пятьсот возов? Безделица! В уме ли он? «И сверх того...» Что еще? «16/28 числа явиться ему, Балдуину... Фюренгофу... самому... в покойной колымаге, лучшей, какую только... к сооргофскому лесу. Он должен...» Что за долг? что за обязанность? Дело другое вы, любезный друг!

– Моя судьба зависит от него: я ему служу.

– Ему? возможно ли? Кажется, вы преданнейший человек баронессе Зегевольд.

– По наружности! Что мне от нее? как от козла, ни шерсти, ни молока. Довольно, что я храню твои тайны; уж конечно, не обязан я тебе открывать своих. Но теперь, повторяю тебе, моя судьба ему принадлежит; с моею связана твоя участь: вот предисловие к нашему условию. Читай далее и выбирай.

– «...под именем Дионисия Зибенбюргера, иностранного путешественника, механика, физика, оптика и астролога; приметы: необыкновенно красный нос... горб назад... известен по рекомендательным письмам из Германии... с условием хранить... тайну... до

двух часов пополудни того ж дня. Невыполнение... открытие фальш... заве... разорение имения... тюрьма и мучительная смерть». Открытие! разорение! тюрьма! смерть! (Задумывается, потом опять принимается за чтение письма.) «За верные же услуги... удовольствие посмеяться... сохранение имущества... жизни... тайны... сверх того уполномочиваю вас, господин Никласзон, облегчить налог хлебом, сколько вы заблагорассудите. Остается ему выбирать любое». – По прочтении этой записки и, по-видимому, деспотического условия барон впал опять в глубокую задумчивость, качал головой, рассчитывал что-то по пальцам, то улыбался, то приходил опять в уныние.

– И я думал, и я рассчитывал, как ты, кажется, эта башка не глупее твоей (здесь Никласзон покачнулся вперед, поставив стул на пол, и ударил себя пальцем по голове), – а пришлось свести все думы и расчеты на одно: согласиться выполнить требование Паткуля. На губах твоих вижу возражение. Тс! подожди говорить, седая, остывшая голова! Я за тебя буду рассуждать и за тебя решу. Слушай же.

Казалось бы с первого взгляда, что Паткуль кладет голову свою прямо в пасть северному льву, что этот сладкий кусочек, переходя через наши руки, должен бы и нам доставить высокие награды. Но, вникнув хорошенько в существо дела, назовешь себя дураком за то, что даже одну минуту мог остановиться на возможности этого предположения. Может ли статья, чтобы тот, кто избран был на двадцать пятом году жизни от лифляндского дворянства депутатом к хитрому Карлу Одиннадцатому и умел ускользнуть от секиры палача, на него занесенной; чтобы вельможа Августа, обманувший его своими мечтательными обещаниями; возможно ли, спрашиваю тебя самого, чтобы генерал-кригскомиссар войска московитского и любимец Петра добровольно отдался, в простоте сердца и ума, в руки жесточайших своих врагов, когда ничто его к тому не понуждает? Это невозможно! Это несбыточно. Вспомни, что баронесса Зегевольд враг его, что генерал Карла Двенадцатого, Шлиппенбах, враг еще более заклятый. Потеха над ними отзовется в сердце Карла. Вот чего хочется мстительной, властолюбив-

вой душе Паткуля! Но если намерение его игрушка, прихоть, то она прихоть, основанная на верных расчетах ума, на тонком знании сердца человеческого, особенно твоего, — понимаешь ли? — а не на смелом, безрассудном желании удовлетворить одной любви к чудесности. Теперь примемся за другие политические виды. Кто, спрашиваю тебя, из лифляндцев, если он только не слеп, не видит, что горсть шведов, беспрестанно умаляющаяся, не в состоянии противостать многочисленному войску русскому, беспрестанно возрастающему? Что сделает эта горсть, разделенная несогласием начальников, против сотысячной армии? Я не астролог, также и ты не хватаешь звезд с небосклона политического; но угадать можем скорую участь здешней страны. Давно ли отсюда, из твоего дома, слышали мы стук русских пушек, отдаваемый покорными им вершинами Эррастфера? Давно ли видели мы тысячи семейств крестьянских и баронов, не хуже тебя, в рубищах, с плачем бежавших из опустошенных татарами сел и мыз искать в окрестностях Рингена куска насущного хлеба и крова от

зимней непогоды? Не в подвале ли твоём жило благородное семейство, некогда богатое, потом обнищавшее? Напрасно тешит себя Шлиппенбах, с своим преданным и всезнающим *шведом*, мечтою нечаянного нападения на русских! Я имею верное известие, что он предупрежден и что бесчисленное войско русское зальет эту страну завтра или послезавтра. Объявить Шлиппенбаху, не желающему *наших* услуг, то, что я знаю, то, что ты теперь знаешь, было бы только остановить на несколько часов судьбу, которая должна скоро совершиться над нашим краем. Может статься, уже и поздно! Наше усердие придаст ли силы его корпусу, ослабит ли бурный поток, к нам вторгающийся? Какую пользу извлечем мы от того для себя? *Для себя* – заметь это, мой приятель, заметь, я и ты должны думать о себе, а прочими пустыми именами долга, чести, отечества пусть здравствует и питается кто хочет. Не правда ли?

– А-а, дружище! вы приводите расстроенные мысли мои, мои чувства в порядок. (Здесь Фюренгоф придвинулся еще к гостю и пожал ему дружески руку.)

– Выдача клеветам Карла Двенадцатого личности врага есть, конечно, приобретение благодарности его величества и громкого имени. Благодарность, громкое имя... опять скажу, пустые имена, кимвальный звон! Нам с тобою надобны деньги, деньги и деньги, мне чрез них наслаждения вещественные. Чем долее наслаждаться, тем лучше; а там мир хоть травой зарости. Что ж пасторы говорят о душе... ха-ха-ха! (В это время послышался крик совы в замке.) Что это захохотало в другой комнате?

– Не беспокойся, любезный, это сова поет в развалинах.

– Охота барону держать у себя этих певчих. Я давно б им шею свернул и отправил смеяться на тот свет.

– Вот видишь, она кричит, как домовой: слышишь?

– Хороши песни!

– Зато пугает воров. Но продолжайте, любезный, вашу утешительную, сладкую беседу, отогревающую мое оледеневшее сердце.

– Нам с тобою надобны деньги; не правда ли?

– А-а, дружище!

– Бедняк Шлиппенбах даст ли нам их? Сколько шиллингов отсыплет нам Карл, которому содержать нечем было бы войско без контрибуции с Польши, – Карл, который, лишь только напомним ему о награде, забудет наши услуги и помнить будет только нашу докучливость? К тому ж богатому барону не подумают дать денег. Он обязан был это сделать! – скажут тогда. «Тебя ж наградит щедрая баронесса», – возразишь ты. Чем? будущими твоими же миллионами? Вот уж более года, как я не получаю своего жалованья! Заслуги скоро забываются. Долго ли ты платил мне положенное за мои смертные услуги? да, долго ли?

– Кажется, я всегда... аккуратно...

– Полно об этом. Слово у нас о настоящем. Куда укроемся тогда от мщения русского полководца, от гнева царя, который сыщет нас в преисподней? Скажу про себя: в Швеции я, по обстоятельствам, не могу быть, в Польше – подавно. Спрашиваю: что мы тогда для себя сделаем? А теперь, будучи верны известным требованиям до двух часов пополудни два-

дцать восьмого числа, то есть до двух часов завтрашнего дня – хотя бы и долее, – повеселя Зибенбюргера безделкою, что мы теряем? Ничего! Мы всегда в стороне: ты да я про себя не выболтаем. Если ты получил ложные рекомендательные письма, то не твоя вина: тебя обманули, и только! Разочти, что мы теперь выиграем. О! я вижу лестницу блаженства. Оставляю даже свои выгоды, чтобы думать только о *ваших*. Вы, среди развалин Лифляндии, сохраняете свои земли, мызы, сокровища...

– Сохраняю! Точно ли, родной мой? Ручаешься ли ты?

– Ручаюсь головою моею. Подумайте, когда по соседству вашему везде раздаваться будут стон и плач, тогда вы, знатный господин, неограниченный властитель над вашими рабами, обладатель огромного, не тронутого неприятелем имения, улыбаясь, станете погремыхивать вашими золотыми монетами. Этот случай дает вам также способ расторгнуть ваше условие с баронессою Зегевольд.

– Ах! и это, признаться, лежало у меня на сердце, как тяжелый камень.

– С своей стороны обещаю вам, сверх того, за исполнение требований, нам предписанных, обходиться с вами не как равный вам злодей, но как слуга ваш, преданный вам советами, рукою и медицинскими познаниями своими, когда вам угодно... понимаете меня? Еще скажу вам в утешение, господин барон: со способами, ныне нам предлагаемыми, я уже предугадываю, как достать Ильзу и стереть этого свидетеля.

– Стереть? – вскричал барон, облегчив грудь радостным вздохом, и пожал Никласзону руку.

– Да, стереть этого беспокойного свидетеля с лица земли.

– А средства, дружище?

– Они вертятся в голове моей и утвердятся в ней, когда я буду уверен в помощи человека, которому мы ныне должны угодить. Не со служа, можно ли требовать и наград? Покуда будьте довольны теперешним обещанием, спокойный обладатель богатства несметного!

– Несметного? Уж вы, дружище, безбедное состояние, насущный кусок хлеба называете богатством!

– Опять за старую песню! Рыбак рыбака далеко видит: нам нечего друг перед другом притворяться. Ну, что ж ответ на письмо?

– На прежде сказанном и вами, бесценнейший друг, подтвержденном условии, берусь доставить завтра, в доброй колымаге, в Гельмет, господина...

– Зибенбюргера.

– Да, господина Зибенбюргера. Сверх того, по дальнейшим моим соображениям и надежде, что при чести, которую я... со временем... буду иметь лично ознакомиться с моим дорогим родственником, генералом... министром... я буду удостоверен в сильном покровительстве его охранным листом и другими вернейшими способами, даю слово содержать тайну до трех часов завтрашнего дня. Ну вот как я щедр и великодушен! даже до четырех часов. Уф! это многого мне стоит.

– Важнее всего, что ни одного шиллинга! Статья конченная! Измена ее на волос есть знак к измене с моей стороны. Я ничего не боюсь, не связан богатством и лифляндским баронством; имею сильного покровителя; ныне здесь, а завтра в стане русском, насмехаюсь

над всеми лифляндскими законами. Но ты... ты раздавлен тогда, как поганый червь! Соблюдение условия есть мое и твое счастье. Дай мне руку в знак согласия. (Собеседники пожалы друг другу руки.) Теперь примемся за другую статью, то есть доставление послезавтра пятисот возов провианта к Гуммельсгофу.

– Пятисот возов! Возможно ли? Я пропал, я разорен дотла! мне придется надеть суму! Сочтите сами, бесценнейший мой, чего это будет стоить. Вы посредник в этом деле, посредник, предлагаемый великодушием самого нашего любезного родственника.

– Я не дарю ни одного воза.

– Не доведите меня до петли, спаситель мой, благодетель мой! (Хочет становиться на колена.)

Никласзон, поднимая его:

– Меня не умилоставишь этими коленопреклонениями. Садись и выслушай мой совет, которым еще раз спасаю тебя от маленького убытка и большого отчаяния. Пожалуй, чего доброго, ты из одного воза навяжешь себе пеньковый галстух. Слушай же. Купи пятьсот возов хлеба и круп под каким-нибудь

предложением у своих соседей.

– Купить? где я возьму теперь столько наличных денег?

– Хорошо, будь по-твоему. Купи на слово, что отдашь их через несколько дней. Тебе поверят хоть три тысячи возов.

– Мне? при теперешних худых обстоятельствах, при ограничении роста?

– Тс! Сторговав эти пятьсот возов, отправь их к назначенному времени по дороге в Гуммельсгоф. Поручи это сделать своей Марте. Русские придут, нападут на провиант, скушают его, и тогда ты имеешь право не платить денег. Не так ли? Скорей: да иль нет?

– Да! только...

– Ни одной крупинки не убавлю. Будет ли выполнено?

– Будет, только не забудь о средствах, как избавиться от нашего общего врага – Ильзы.

– Вот моя рука, что через неделю, поздно – две я найду способ притиснуть ей язык. Но зря занимается; кажется, и проклятая твоя сова перестала насмехаться, чтоб ее побрали... (Оглядывается кругом.) Позови теперь Марту, выпустить меня из этой западни.

– Только, пожалуй, не стыди эту девицу поцелуями своими: она у меня такая застенчивая.

– Условия наши кончены; лист оборочен.

По зову своего повелителя экономка вошла в комнату. Никласзон встал при ней со стула и произнес униженным голосом, наклонив перед бароном голову:

– Господин барон Фюренгоф! простите меня с свойственным вам великодушием, если я, человек маленький, ничего не значащий, осмелился, разгоряченный винными парами, оскорбить вас или кого из ваших приближенных, словом или делом. Из глубины кающейся души прошу всепокорнейше прощения.

– А-а, дружище! кто старое помянет, тому глаз вон. Забудем это. Ты всегда был человек мне преданный, нужный.

– Верьте, что вы по гроб мой найдете во мне усерднейшего и вернейшего слугу. Позвольте иметь честь распрощаться с вами.

Здесь хозяин и гость обняли друг друга. Фюренгоф дал знать экономке, чтобы она отперла двери и проводила гостя. Удивленная Марта, думая, что она все это видит во сне,

протерла себе глаза и наконец, уверенная, что обстоятельства приняли счастливый для ее господина оборот, с грубостью указала дороге оскорбившему ее гостю. Когда барон услышал из окна скок лошади за Меттою и удостоверился, что Никласзон далеко, обратился с усмешкою к домоправительнице и ласково сказал ей:

– Подумай хорошенько; принесло окаяннogo в пьяном виде, ночью и черт знает зачем! А-а, дружище! Кажется, еще человек одолженный! и место получил через меня, и освобожден от петли.

– Что делать, сударь! – отвечала Марта, поправляя чепчик на голове и подбирая под него растрепанные волосы. – Ныне такие наступили времена тяжелые, что никто не помнит заслуг. Век живи, век учись!

Глава седьмая

Накануне праздника

*Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты!*
Пушкин

Еще накануне дня рождения богатой наследницы все было в движении на мызе гельметской. Суетились, бегали, толкали друг друга, требовали, отпускали и старались еще заранее праздновать день этот искусными урывками того, сего из достояния помещицы – не хозяйки, чтобы сделать себе елико возможный запасец на будущее время. Начиная с амтмана фон Шнурбауха, в некоторых случаях необыкновенно награжденного даром предвидения, до поваренка, замыкавшего фалангу дворового штата, у всех, более или менее, было рыльце в пушку. Разумеется, что чем важнее считалось должностное лицо, чем круг надзора его был обширнее, тем шире был карман, в котором сосредоточивались подати за пропуск разных грехов против осьмой заповеди. Амтман, с важною частицею

фон, под видом сбереженья господского интереса, откладывал в свою экономию разные плоды тонкой математической промышленности; ключница прятала недовески и привески; повара передавали женам излишки, а поваренки, облизывая преисправно сладкие остатки, отделяли от души лучшие кусочки пригожей дворовой девчонке. Самые моськи супруги фон Шнурбауха слаще поели в этот день, нежели в обыкновенные, хотя она в простые дни кормила их из собственных рук, иногда из одного с нею блюда, едва ли не лучше своей высокой половины. Между тем с верхней до низшей ступени баронессина двора читали друг другу строжайшие наставления о честности и, в пример ужасных злоупотреблений, которых избегать надо, выставляли (уж конечно, не себя! кто себе лиходей?) соседние мызы; кричали много, грозили наказаниями (тогда, когда забывалось правило дележа) и преисправно обеспечивали себя на будущее время. Что делать? так водится не в одних баронских домах. В кухнях и приспешенных варились, жарились и пеклись всякого рода огромные припасы, как будто гото-

вились угощать целый полк, и приятный запах от яств доносился до окна бедного селянина, доедавшего ломоть хлеба пополам с мякиной. Правда, и крестьянам баронессиним готовились угощения и веселости: жарились для них целые быки, катились на господский двор бочки с вином, шились наряды для новобрачной четы и сыгрывались гудочки и волюночки. Чухонцы, услышав об этих приготовлениях, заранее разевали рот от удивления и с нетерпением поджидали у своего окна, когда *староста* или *кубиас*[209].

Той палкой в замок их погонит веселиться,

которая столько раз и так немилосердо гоняла их на барщину и напоминала о податях. Таков грубый сын природы! Сытное угощение, шумный праздник заставляют его забыть все бремя его состояния и то, что веселости эти делаются на его счет. Надо прибавить: таковы иногда бывали и помещики, что решались скорее истратить тысячи на сельский праздник, нежели простить несколько десятков рублей оброчной недоимки или рабочих

дней немощным крестьянам!

Со времен Христины, королевы шведской, собрания в духе патриархальной простоты, называемые Wirthschaft, давали место в богатых лифляндских домах более утонченным веселостям. Студенты дерптские играли комедии, в которых роли женщин они сами же выполняли; балы, маскарады и разные затейливые игры стали также в большом употреблении. Греция и Рим кружили тогда всем головы, и потому члены Олимпа осадили всякого рода зрелища. Соображаясь с нововведениями, тщеславная баронесса назначила дню рождения своей дочери быть цепью необыкновенных удовольствий. Для расположения этого праздника, по рекомендации Глика, выписан был уж с неделю из Мариенбурга тамошний школьный мастер Дихтерлихт, которому, говорил пастор, не найти подобного от Эвста[210] до Бельта гениальной изобретательностью угождать Грациям и Минерве. Адам Бир взялся выучить двух благородных девушек, соседок гельметских (избранных не по уму и образованию, а по хорошеньким личикам), ролям Флоры и Помоны[211], которые

должны были приветствовать новорожденную приличными стихами, сочиненными мариенбургским стихотворцем. Между тем сам Дихтерлихт занялся стряпаньем похвального слова, которое хотел поднести в тетради с золотою обложкою и узорами Луизе Зегевольд. Так как нам достался русский перевод этого великого творения, Гликом сделанный, то мы предлагаем здесь образчик из него, на выдержку взятый[212].

«Я б желал, – говорил панегирист, описывая наружность Луизы, – я б желал здесь персону сея прекрасная дщери знаменитого баронского дома несколько начертить, коли б черные чернила способного цвета были ея небесную красоту представить: будешь ты, читатель, доволен, коли своему уму представишь одно такое лицо и тело, которых точнейшее изображение имеется без порока, белый цвет в самом высочестве, приятность же преизящную всего света. Предложи себе токмо одну удивления достойную живность, приятную во всех компаниях, рассудную умеренность, похвальную завсегда во всяких уступках и делах, и учтивое приятельство, ко-

торое zelo потребно к покорению сердец. И егда ты в уме своем все помянутыя преизящныя свойства совокупишь и сочинишь им экстракт, то, конечно, можешь себе сказать: такова виду была сущая баронская дочь, и проч.».

Праздник был расположен на отделения, расписанные в порядке по номерам; нарушитель этого порядка подвергался строжайшей ответственности.

В то самое время, когда приготовления к этому тезоименитому[213] дню превратили Гельмет в настоящее вавилонское столпотворение, – вскоре после полудня, приближались к замку по гуммельсгофской дороге две латышские двухколесные тележки. Прыть лошадок возбуждалась то и дело плетью верховых проводников, не жалевших ни головы и боков их, ни своей руки. Близ ограды остановились тележки, из коих вышли трое чужеземцев. Двое из них были в длинных русских кафтанах, подпоясаны кушаками, на которых висели *лестовки*[214], и, несмотря на жаркое время года, накрыты небольшими круглыми шапками[215]. Один был в котях, другой бос и

имел за плечами котомку и два четвероугольных войлочных лоскута[216]. Третий походил на русского монаха; он окутан был в длинную черную рясу и накрыт каптырем[217], спускавшимся с головы по самый кушак, а поверх каптыря – круглой шапочкой с красной оторочкой. Тот из них, который нес за плечами котомку, переговора с товарищами, отошел немного от замка и присел под большим вязом на камне. Двое же продолжали поспешно путь свой прямо в ворота, на двор и на террасу, не осматриваясь, не останавливаясь и не спрашивая никого ни о чем. Служители с уважением давали им дорогу, почтительно кланялись, не будучи сами удостоены поклоном, и, между тем, не смели их предупредить, чтобы доложить о них. Так было заранее приказано, в случае прихода этих чужеземных гостей. Старший из них шел впереди. Несмотря на простоту его одежды, небольшой рост, сторбленный летами стан и маленькое худощавое лицо, наружность его вселяла некоторый страх: резкие черты его лица были суровы; ум, пронизательность и коварство, исходя из маленьких его глаз, осененных густыми

седыми бровями, впивались когтями в душу того, на кого только устремлялись; казалось, он беспрерывно что-то жевал, отчего седая и редкая борода его ходила то и дело из стороны в сторону; в движениях его не прокрадывалось даже игры смирения, но все было в них явный приказ, требование или урок. Следовавший за ним чернец был средних лет, среднего роста и сухощав; из-под каптыря выпадали темные волосы, в которых сквозил красный цвет; на лице его пост и умиление разыгрывали очень искусно чужую роль; бегаящими туда и сюда глазами он успевал исподлобья все выгладеть кругом себя; даже по двору шел он на цыпочках.

– Что за Содом! – вскричал старик с коварной усмешкой.

– Воистину земля бесова пленения, отце Андрей! – отвечал смиренным голосом чернец, положив сухощавую руку на грудь. – Ведаю, сколь прискорбно сердцу твоему взирать на сие растоценное стадо! но потрудись, ради спасения православных цад твоих, да помогутся о тебе в Царстве Небесном.

Путники вошли в переднюю, а из нее в

зал, не скидая шапок. Здесь старик, сурово осмотревшись кругом, присел на первых попавшихся ему креслах, бросил взгляд на фамильные портреты, висевшие по стенам, плюнул, прошептал молитву и потом с сердцем постучал своим костылем по столу, подле него стоявшему; но, видя, что тот, к кому относилось это повелительное извещение о его прибытии, не являлся, толкнул жезлом своим чернеца, стоявшего в задумчивости у порога, и указал ему на внутренность дома. Чернец будто вздрогнул, поклонился и пошел, куда ему указано было, тихо, осторожно, как будто ступал по овсяным зернышкам, легонько притворяя за собою дверь. Через комнату встретил его Никласзон, приметно смущенный.

– Зачем вы к нам? – торопливо спросил этот, отворив и прихлопнув опять следующую дверь, чтобы показать, будто монах в нее прошел.

– О вей, о вей! – отвечал шепотом монах, качая головой и озираясь: – Не знаю, как и помочь[218].

– Пустяки! для брата Авраама нет ничего

невозможного, – сказал секретарь баронессы, втирая ему осторожно в руку до десятка червонных. – Мы с тобой одного великого племени; обманывать, а не обманутыми быть должны; ты создан не служить этой собаке, которая того и гляди, что издохнет: можно тебе самому скоро быть главою раскола в России и учителем *нашей* веры. Мы делали уже дела не маленькие, были награждены; не изменим теперь друг другу, и нас не забудут.

Пока Никласзон читал это красноречивое убеждение, монах одним жадным взглядом успел пересчитать золото и спешил с удовольствием уложить его в лестовку, в которой сзади искусно сделана была сумка.

– Мне этого и хочется, добрый Никласзон, – отвечал шепотом монах, – но теперь не время об этом рассуждать. Скажу тебе только, сто мы присли сюда поведать баронессе, сто русские высли из своего лагеря, разбили зе в пух, в пух форпост близко Розенгофа и ныне в ночи или, конечно, завтра будут в Сагнице или в Валках. Хось и трудно обмануть старого плута, но бог Якова и Авраама тебе поруцатся, сто я цестный еврей, заставлю этого пса брешить

по-моему, как мне хочется. Теперь поди скорей и скажи своей принцессе, чтоб она позаловала к нам.

Никласзон подошел на цыпочках к двери, вышел через нее и прихлопнул ее слегка за собой; между тем Авраам кашлянул и пошел обратным путем к своему начальнику.

– Преподобный отце Андрей! – сказал монах, представ пред него, низко поклонившись и став опять униженно у порога. – Боярыня сейчас будет.

– Сейчас, сейчас! – вскричал старик, в шутку передразнивая вошедшего. – Долго ли тебе, Авраам, говорить по-жидовски?

– Виноват пред тобою, отче преподобный! – промолвил, вздрогнув, монах, опять низко кланяясь. – Положил бы триста поклонов до земли, лишь бы мне исправиться.

– Поклоны пускай остаются в ските да в согласиях, Авраам: ты меня сумеешь... Все будет шито да крыто, лишь бы служили нам верою и правдою, – сказал старик, смотря на своего послушника испытующим взором, которого всю силу умел последний неколебимо выдержать и отразить правдоподобием со-

вершенной невинности и преданности. В этом случае еврей обманул русского раскольника, и притом начальника и учителя их (старик был Андрей Денисов). Надо ли удивляться? Родонаследственная хитрость текла в крови Авраама; к тому же он искусился в лицемерии, пожив несколько лет монахом в одном католическом венгерском монастыре, который успел обокрасть, и наконец пришел доканчивать курс лукавства сатанинского в звании чернеца поморского Выгорецкого скита и переводчика при Андрее Денисове. Лета изменяли уже несколько последнему, между тем как Авраам скинул с себя еще немного змеиных кож и, следовательно, был в полном развитии адских сил.

— Да что запропастилась эта сучья дочь? — успел промолвить только с нетерпением Андрей Денисов, как распахнулась дверь и вошла баронесса. Убавив своей спеси, она учтиво поклонилась ему; а он, не привстав даже с кресел, едва кивнул ей, указал своим костылем кресла через стол, у которого сидел, и махнул чернецу рукою, чтобы он подошел ближе. Кто посмотрел бы на них в это время,

не зная предыдущих обстоятельств, мог бы подумать, что худенький суровый старичок хозяин у себя дома, обязывающий, и что она пришелица, одолженная и ожидающая милостей.

– Вот в чем дело, боярыня! – говорил ересиарх повелительно, отрывисто и упирая голос на некоторых словах. – Ты затеваешь здесь бесовские пляски, а того не знаешь, что послезавтра, может статься, тебе негде будет приклонить головушку, что послезавтра рада-радешенька будешь отвести душу ломтем черствого хлеба. (Старик икнул тут, пустил густую струю воздуха прямо на высокомерную обладательницу Гельмета, перекрестил три раза рот, промолвил: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его» – и продолжал свою беседу.) Кабы послушалась меня прежде, да отрезала моим православным под своею клетью добрый кусок земли, так бы они оградили тебя от сетей дьявольских. Авось-либо и теперь еще время исправить погаженное! За твою хлеб-соль я хочу тебе помочь. Только слышь, боярыня, исполняй разом, не мешкая, что я тебе прикажу. Во-первых, все затеи бе-

совские к нему и отошли назад!

Здесь старик постучал костылем так крепко по столу, что баронесса вздрогнула; потом кивнул монаху, чтобы он перевел это вступление. Авраам, сгорбившись, смиренно выступил на сцену: приказ ересиарха был выполнен им искусною речью и ловкою мимикой (последняя нужна была для убеждения в верности перевода); только, когда надо было перевести слово: «*послезавтра*», он показал на солнышко, начертил посохом круг, выставил перст и согнул вполовину другой палец. Из этого изъяснения старик понимал полтора дня, между тем как хитрый чернец, не переменив нисколько в лице, присовокупил к своим иероглифам, что исполнение сказанного должно быть через десять кругов солнечных, то есть через полторы недели. Вместо «авось-либо и теперь еще время» он сказал только: «еще время!»

Баронесса отвечала, что праздник, ею затеянный, есть долг, который она платит своим друзьям и ближним и которым хочет утешить больную единственную дочь; что, кончив его, немедленно примется за исполнение

приказаний своего наставника и друга. Мо-
нах перевел, что баронесса сейчас после их
отбытия велит оставить приготовления к
празднеству, хотя ей это очень жалко, и
немедленно займется исполнением даваемых
ей советов, которые она чтит за приказания.

– Слушай же, боярыня! – вскричал опять
Андрей Денисов. – Русские, видно, выведали
затеи вашего заморского болвана Шлиппен-
баха: кто-нибудь у вас да лукавит язычком. За
ваше дурачество стыд так-те и бросился мне в
глаза. Разбирать вину теперь не время: спустя
лето в лес по малину не ходят. Русские, гово-
рю тебе, вышли вчера из Новгородка и разби-
ли ныне вашу басурманскую засаду при Крас-
ной мызе. А как я это узнал, поведаю тебе:
неподалеку от Черной мызы у меня свой ка-
раул, двое православных моих – стоят ваших
сотен немцев, табачников, – узнали эту ве-
сточку да и давай уплетать где ползком, где
кувырком, отняли у первого латыша коня и
прилетели ко мне. Еще ни одна птица здесь в
округе не пропела этой песенки; и по ветру-то
не слышать вони пороховой – вот каковы на-
ши! А куда пойдут никонианцы завтра, на Са-

гны ли или на Валки, того мои не знают. Сейчас, при мне же, напиши грамотку к своему ротозею Шлиппенбаху, чтобы он очнулся, собирал крепкую силу, выслал, нимало не медля, конных потаенными дорогами, куда придумает лучше, перехватил бы ими хвост у никонианцев и бодро готовился ударить им в голову.

Это наставление было перетолковано хитрым и ловким Авраамом так мастерски, что вся польза, из него извлеченная, осталась на стороне агента Паткулева, которому нужно было выиграть несколько часов времени. Позван Никласзон и продиктовано ему, согласно с заданною монахом темою, письмо к генерал-вахтмейстеру. (Можно вперед угадать, что гонец нигде не отыскал Шлиппенбаха; да это и не могло огорчить баронессу, потому что *еще было время*, как сказал Денисов через монаха, а генерал обещался быть у ней завтра на празднике.) Андрею Денисову дарованы новые привилегии для раскольничьих поселений в Лифляндии; оставалось наградить переводчика за труды. Искали по всему дому денег, бросались то к амтману, то к Биру, но

езде была или мнимая, или настоящая денежная засуха; наконец Никласзон сжалился над баронессой и от имени ее вручил потихоньку Аврааму талер, обрезанный его же соотечественниками. Окончив все дело, ересиарх встал с кресел, кивнул баронессе и, принятый под руку усердным монахом, сопровождаемый дипломаткою до террасы, опять встреченный на дворе уважением многочисленных челядинцев, вышел из ворот Гельмента.

У большого вяза присоединился к ним дожидавшийся их раскольник, мужичище высокий и здоровый, вероятно охранитель Денисова от чаянных и нечаянных врагов. Составив втроем совет, по каким следам отыскивать одного из важнейших своих членов, отпавшего от поморского согласия, они решились ехать в обратный путь как вернейший, по их мнению, для встречи с беглецом и для избежания неприятного свидания с русским войском, особенно с заклятым губителем их, Мурзенкою. Приехавши в Валки, они могли, смотря по обстоятельствам, или выждать там развязки неожиданного нашествия русских

на Лифляндию, или, в случае прихода нико- нианцев в избранное ими ныне убежище, от- ступить к своим в Польшу.

Мы должны намекнуть, что гонения Дени- совым доселе неизвестного лица получили новую силу в вести о несчастной кончине раскольника, подметчика письма в нейгау- зенском стане.

Между тем как все в замке ходили будто угорелые, от желания угодить доброй моло- дой госпоже и от страха не выполнить в точ- ности воли старой владычицы, предмет этих забот, Луиза, мыслями и чувствами была да- леко от всего, что ее окружало. Она существо- вала в мире прошедшего, для нее столько бед- ственного, но все еще ей драгоценного. Гу- став, назло обстоятельствам, нередко пред- ставлялся ее уму и сердцу. Так несчастная приходит, украдкою от злых людей, бросить цветок на могилу, где лежит милый ей мерт- вец, которого некому, кроме ее, помянуть и с которым жаль расстаться, как с живым. По- среди этих горестных мыслей блеснула одна о бедном старике кастеляне и молодом служи- теле, увлеченных ее судьбою в тягостное и

униженное свое положение. Ей известно было, что они жили в ближайшей деревне Пебо: один в должности скотника, другой – пастуха; и она решилась посетить их.

«Ничем лучше, – думала она, – не могу встретить день своего рождения, как облегчением участи этих несчастных». Ей стоило только намекнуть Биру о своем намерении, чтобы вызвать его в спутники. Баронесса была занята с раскольниками, следовательно, лучшего времени для этой прогулки нельзя было выбрать.

Когда Луиза со своим воспитателем проходила полем, крестьяне еще издали скидали шляпу, оставляли свои работы и долго следовали за нею глазами и благословениями. В деревне приветствиям их не было конца.

– Смотри сюда, сюда! – говорила мать, высовывая из окна голову своей малютки. – Это идет наша добрая молодая госпожа. За ее-то здоровье учу вас молиться Богу.

Дети оставляли игры свои и, почтительно ей кланяясь, кричали:

– Здравствуй, добрая госпожа!

Дряхлые старцы дрожащими руками сили-

лись привстать со скамейки, на которой грелись у ворот своей хижины против солнышка, и шепотом проговаривали:

– Слава богу! пришлось нам еще раз увидеть ее. Да пошлет ей мать *Лайма*[219] несчетные годы, чтобы правнуки наши могли ею радоваться.

Все возрасты встречали ее данью уважения, признательности и любви простых сердец, которых красноречие ни с каким другим сравниться не может. Видно было, что Луиза вполне утешалась этой сердечною данью. Почти каждого успела она обласкать: стариков заставляла садиться перед собой, говорила им приветливые слова, согревавшие их более теплоты солнечной; детей одарила гостинцами; пригожих малюток, которых матери, не боясь ее *глаза*, сами спешили к ней подносить, целовала, как будто печатлела на них дары небесные. Казалось, теперь праздновала она день своего рождения, а завтра *должна* была его праздновать.

Скотный двор был на конце деревни и окнами в поле: следственно, из него не было видно, что делалось на улице. Луиза с воспи-

тателем своим вошла в жилище скотника, никем из домашних его не примеченная. Каким же чувством поражены они были, отворив потихоньку дверь! Что ж представилось им тогда?

Густав сидел в углублении комнаты, держа на колене румяное, как спелое яблочко, дитя, двухлетнюю дочь бывшего кастеляна, которая, стиснув в ручонках своих кусок белого хлеба, то лукаво манила им собаку, прыгавшую около нее на задних ногах, то с хохотом прятала его под мышку, когда эта готовилась схватить приманку. Другая дочь, шестнадцатилетняя пригожая девушка, занималась у открытого окна рукодельем, изредка отрывала от него свои большие голубые глаза, чтобы посмотреть на проказы сестры или украдкой взглянуть на молодого крестьянского парня, стоявшего снаружи дома у окна, облокотясь в унынии на нижнюю часть рамы. Мать, задумавшись, чистила овощ и клала его в горшок, выдвинутый из устья печи. Отец, без верхнего платья, обратившись к ним спиною, а к стене лицом, снимал с на шести кафтан, который, вероятно, собирался надеть, чтоб идти в

поле. Голубь, нахохлившись, сердито ворковал и кружился по земляному полу, часто поглядывая на окно, через которое свободный вылет был ему загражден молодым крестьянином. Густав казался одним из членов этого семейства; никто, по-видимому, не заботился о его присутствии.

Первое чувство Луизы, переступя порог двери, был испуг; второе... она взглянула на Густава, на пригожую девушку и покраснела. Не зная отчего, она была внутренне довольна, увидев молодого парня, занимавшегося так пристально сельскою красавицей; тем более ей было это приятно, что она узнала в нем слугу, который, вместе с кастеляном, понес за нее такую горькую участь.

– Фрейлейн Зегевольд! – вскричала Лотхен (так звали девушку), бросивши в сторону свое рукоделье. – Фрейлейн Зегевольд! – повторила она, побежала опростетью навстречу Луизе и силилась взять у ней то одну, то другую руку, чтобы целовать их попеременно.

– Фрейл... – могла только выговорить мать. Руки ее опустились, луковица покатилась из них на пол, ножик выпал на скамейку. Хозя-

ин, сделав пол-оборота головой, будто окаменел в этом положении. Густав побледнел, спустил дитя с колена и стал на одном месте в нерешимости, что ему делать; увидев же, что Луиза колебалась идти в комнату и сделала уже несколько шагов назад, он схватил свою шляпу, бросился к двери и сказал дрожащим голосом:

– Не удивляюсь, что мое присутствие пугает вас, фрейлейн Зегевольд! Какое другое чувство может возбудить виновник бедствий этого семейства, еще больший преступник перед вами! Я должен убежать вас, я изгнанник отовсюду, где вы только являетесь и приносите с собою счастье. Но прежде, нежели навсегда от вас удалюсь, умоляю вас об одной милости: простите меня... Одно слово ваше будет моим утешением в час смертных мук или умножит их.

– Я никогда не обвиняла вас, Густав!.. – произнесла Луиза смущенным голосом, обнаружившим все, что происходило в ее душе, закрыла платком полные слез глаза и, дружески протянув ему руку, присовокупила: – Простите *навсегда!*

Это движение было последнею жертвою долга любви: им хотела она доказать, что любила в Густаве не Адольфа, наследника миллионера, любимца королевского, а самого Густава, бедного, ничтожного в глазах других, но достойного ее привязанности.

«Я никогда не увижу его, – думала она, – пусть это будет последнее доказательство того, что я к нему чувствовала; пусть не презирает он меня! После этой минуты я вся принадлежать буду моим обязанностям».

Густав с жаром поцеловал ее руку, на которую канули его горячие слезы, повторил роковое: «*Простите!*»; сказал то же Биру, хотел еще что-то присовокупить, но вид места, где он находился, свидетели, их окружавшие, сомкнули его уста – и он поспешил из жилища скотника. На дворе остановился он против раскрытой двери. Луиза все еще стояла на одном месте, она невольно обернулась: прощальный взгляд ее пал еще раз на Густава. Казалось, он только и ожидал этого взгляда, чтобы с новым приращением счастья удалиться. Можно вообразить себе различные чувства, попеременно волновавшие душу Лу-

изы. С особенным удовольствием выслушала она от семейства бывшего кастеляна, каким образом Густав начал посещать их, как он благодетельствовал им сначала тайно и, наконец, продолжал делать им добро с таким великодушием, что отказываться от этого добра значило оскорбить его.

— Он не дал нам узнать нищету: скоро заставил нас забыть и горестное наше состояние. Все, что вы видите на нас и в нашей домишке, ему принадлежит. Да пошлет ему Бог то, чего он сам желает! да наградит его супругою, которая душой была бы на него схожа! — так говорила жена бывшего кастеляна, и взоры ее пристально остановились на Луизе, в смущении потупившей глаза. Невольный вздох девицы Зегевольд доказывал, что не ей суждено быть наградой, о которой молила добрая женщина для своего благодетеля. По крайней мере она внутренно гордилась и утешалась тем, что если сердце ее ошиблось в предмете любви, который долг осуждал, то не ошиблось оно в нравственных его достоинствах, имеющих право на лучшую участь и вознаграждение.

Расставшись с семейством скотника, Луиза оставила в его хижине благодетельные следы своего посещения. Не видав Густава, она сделала бы то же из великодушия, из сожаления к несчастным; теперь благоволит, может быть, по влечению другого чувства; может быть, присоединилась к этому и мысль, что дары ее смешаются вместе с дарами Густава, как сливались в эти минуты их сердца. Спутник ее, смотря на радость добрых людей и слушая рассказы о благородных поступках Густава, был восхищен до седьмого неба.

– Есть, есть счастье на земле и для добрых! – говорил он вполголоса, выходя от скотника с твердым намерением, как бы испросить у баронессы прощение изгнанникам и потом женить молодого служителя на Лотхен.

Без надежды, но с утешением заснула Луиза в ночь накануне дня своего рождения.

Для связи происшествий в памяти наших читателей скажем, что свидание Никласона с Фюренгофом случилось в эту же ночь.

Глава восьмая

Воспитатель и воспитанник

Мне ль вызывать на суд свое дитя?
Жуковский

*О! дайте, дайте мне близ них окон-
чить век!*
Нечаев

Шестнадцатого июля, часам к шести утра, в недалеком расстоянии от Гельмета, близ знакомого нам вяза с тремя соснами, остановились Конрад из Торнео и Вольдемар из Выборга, оба снаряженные так, как мы видели их в *Долине мертвецов*. У корня мастиного вяза, сбереженного от топора священным уважением всей округи, сидел мальчик, по-видимому, лет четырнадцати, в одежде из лохмотьев, рыжеволосый, курчавый, с лицом безобразным, испещренным веснушками, с глазами, в которых светило коварство. Левая рука была у него сведена к плечу; ноги подогнул он под себя неестественным образом. Как скоро гуслист усадил слепца на камне и

подошел к мальчику, этот начал униженно кланяться, скорчил жалостную рожу и запищал:

– Господин милостивый! дайте что-нибудь безрукому, безногому на пропитание. У матери груди высохли от голода, нечем кормить меньшого брата, который плачет, хоть вон беги из избы; две маленькие сестры целые сутки не видали во рту зерна макова. Будьте жалостливы и милостивы, добрый господин! Бог наградит вас на сем свете и в другом.

Вольдемар, взглядевшись пристально в красная, погрозился на него пальцем и сказал:

– Не шали со мною, бесенок, из молодых, да ранний! Меня не проведешь, я колдун: знаю, что у тебя нет ни сестер, ни брата; ты один у матери, которая боится назвать тебя своим сыном: Ильза ее имя; у тебя один дядя конюх, другой – немой, отец – знатный барон; ты живешь у старой ведьмы, такой же побродяги, как и сам. Видишь, я тебя насквозь разбираю. Протяни же сейчас ноги, расправь руку и выполни, что я тебе скажу. Да смотри!

– Если вы знаете все... – запинаясь, произ-

нес мальчик, опуская руку и вставая на ноги, – как вас, господин, назвать?.. с здешнего ли вы света или с другого?

– Называй меня вперед просто шведским музыкантом. Вижу, что ты молодец хоть куда, а мне такие огненные ребята нужны. Вот тебе для первого знакомства добрая серебряная монета.

У мальчика от жадности заискрились глаза; но он, казалось, боялся взять деньги от колдуна.

– Не бойся; протяни, брат, руку смело, – продолжал Вольдемар, всунув ему деньги, – монета не жжется, сделана руками человеческими и такая, каких накоплен у тебя мешочек... знаешь, что лежит... – Здесь Вольдемар показал на запад; мальчик побледнел от страха. – Сослужи мне, Мартын, и о твоём мешочке никто не будет знать.

– Господин хороший, господин пригожий! – завопил рыжеволосый Мартын (именно это был тот самый, который в известный вечер напугал так много Густава своим похоронным напевом). – Приказывайте, посылайте, делайте из меня что хотите, помыкайте

мною, как помелом.

– Беги ж в замок, найди там Адама Бира. Чай, ты его знаешь?

– Кого я не знаю? Знаком мне и этот чудак, у которого рот почти всегда на замке, а руки всегда настезь для бедняков. Вот вы, господин шведский музыкант или что-нибудь поумнее, бог вас вестъ: вы даете с условием; а тот простак – лишь кивнул ему головой, и шелег в шапке.

– Найди же Бира, разбуди его, если он спит, и шепни ему на ухо, что один знакомый его отца ждет его здесь.

Вместо ответа *огненный* перекувыркнулся и пустился в замок, как посланная тетивою стрела. Недолго томил он ожиданием: скоро принесено донесение, что Бир явится будто красное солнышко из-за гор. Гуслист, поблагодаря его еще мелкой монетой, просил посидеть у вяза, близ слепца, и дать ему, Вольдемару, немедленно знать, как скоро подъезжать будет красная карета; сам же побрел навстречу Биру. Запыхавшись, бежал Адам, поспешая увидеть знакольца отца своего. Подошед к гуслисту, он остановился против него,

изумленный, всматривался в его лицо и вдруг бросился его обнимать.

– Ты ли это, Вольдемар, воспитанник мой, друг мой? – восклицал добрый Адам, и радость пресекла его голос.

В свою очередь гуслист мог только сказать, крепко прижимая его к сердцу:

– Благодетель, отец мой!

– Полно, полно, Вольдемар! Называй меня также своим другом. Не знаю до сих пор, что я для тебя сделал доброго; но знаю, что ты не оставлял меня во время гонения сильных, что ты кормил меня трудами своих рук, когда я не имел насущного хлеба.

– Ты сделал для меня более: научил меня истинам высоким, заставил меня гнушаться моих преступлений и полюбить добродетель и указал изгнаннику отечество как цель, к которой я должен был стремиться.

– Пылкая душа твоя всегда способна была принимать добро; и если ты в юности совратился с пути истинного, то виноваты окружавшие тебя. Но перестанем растравлять рану твоего сердца: ты в Лифляндии, следовательно, рана эта не зажила еще. Не спрашиваю те-

бя, следуешь ли моим советам, данному тобою обещанию? Вольдемар не может себе изменить; Вольдемар достоин всей любви моей. Расскажи мне, каким образом ты в нашей стороне, в страннической одежде? что здесь делаешь? Жажду узнать повесть твоей жизни с того времени, как мы расстались.

Произнеся это, Адам увлек гуслиста в кусты, неподалеку от дороги.

– Прискорбно иметь для друга тайну, – сказал Вольдемар, когда они сели в кустах, – отдал бы тебе душу мою; но, прости мне, я не могу отвечать на твои вопросы. Скажу тебе только: помыслы высокие, заброшенные в душу твоими советами, согретые твоим учением, заставили меня надеть эту странническую одежду, занесли сюда, сделали еще более – заставили меня быть... нет, нет! никогда не открою тебе этого имени. Разве с порога моей родины скажу тебе все, на что я для нее решился. Цель сладостная! но средства... ты, может быть, оттолкнул бы меня, узнав их.

– Как понимать тебя, Вольдемар? как верить тебе? В звуке твоего голоса уже слышу доброе дело. Одно слово – не бойся, чтобы я

хотел проникнуть твою тайну: слишком хорошо известно мне, что тайна не друзьям принадлежит, а тому единственно, кто ее вверил. Нет, не этого хочу от тебя; хочу только знать, таков ли ты, каким сердце мое тебя угадывает. Одно слово: ищешь ли ты заслужить потерянное отечество?

– Я служу ему.

– Служишь? в страннической одежде? – произнес тихо Адам, приложив палец ко лбу; потом продолжал, возвысив голос: – Совесть твоя чиста ли в этом служении?

– Что сказать ему, Господи? – воскликнул Вольдемар, обратив глаза к небу. – Ты один читаешь мои намерения; ты видишь сокровенные пути мои: взвесь мои дела и дай ему ответ! Друг! могу ли успокоить тебя насчет чистоты моих дел, когда я сам весь борьба, весь тревога и опасение? Выслушай мое унижение и жертвы, мой страх и надежды и пойми меня, если можешь. Мысль заглазить преступление, заслужить прощение того, кого не смею наименовать, и с этим вместе открыть себе путь в отечество зажглась в душе моей среди бесед с тобою еще в Упсале. Не ярче пы-

дает свеча чистейшего воска. Мысль эта овладела всем моим существом: источник ее был чист, видит Бог! Впоследствии времени, может быть, примешалось к нему чувство не столь бескорыстное – я человек, более десяти лет живу в земле чужой; может быть, раскаяние мое, любовь к отечеству превратились в одну тоску по родине. Спрашиваю себя часто: все жертвы мои не происходят ли от самоугождения? не хочу ли я их выкупить удовольствием быть между своими, на земле родной? Подвиги мои добро или слабость? Как бы то ни было, не разрешая себе этих вопросов, стремлюсь к ней, к благословенной отчизне; хочу видеть ее, во что бы ни стало, подышать ее воздухом и умереть... хотел бы ее сыном! Долго искал я средств, как утолить жажду моей души; мне встретился *один* человек... он предложил мне средство... дал моим устам коснуться милостивой руки, в которой заключена судьба моя, поднял края завесы, скрывающей мое отечество, – и я спешил ухватиться за то, что мне было предложено. Суди о возвышенности моих средств!.. Полюбуйся должностью своего воспитанника, своего друга!..

Пресмыкаюсь, обманываю, продаю других, себя; самое добро, которое делаю, должен похищать, как тать, приобретаю, не могу назвать своим. Скажу еще более: чтобы доставить истинную пользу тем, кому служу, я должен был сначала делать им зло. Борюсь с обстоятельствами, с природою, с самим собой; хожу в черном теле, влача за собою смрадную, презренную одежду. Настоящего имени моего все гнушаются; самые те, которые думают иметь во мне нужду, смотрят на меня с презрением.

– Неужели ты?..

– Не выговаривай! ради общего милосердного отца, не выговаривай. Ужасно слышать это имя от тебя! От меня самого узнай всю повесть моего унижения и страданий: выслушай до конца и тогда произнеси надо мною приговор. (Вольдемар остановился немного, посмотрел в глаза своему другу и воспитателю, как он называл его, и, прочтя в них одно сердечное участие, продолжал.) Многолетний труженик, начинаю только собирать плоды моих трудов. Я тебе сказал, что мне до сих пор наградой одна известность презренного имени. Свои меня ищут, чтобы погубить, чужие

готовы предать при первом случае на погубление. Может быть, завтра ждет меня виселица в неприятельском стане, как изменника, или позорная казнь назначена мне среди моих соотечественников, как убийце, беглецу, переметчику. Умру – и самую могилу отчужденца палач назначит подальше от православных! Кто посетит место пугалища?.. Какое семейство, какой край и народ признают меня своим?.. У меня и родных нет в мире, кроме родины, да и та отступится от меня, даже мертвого; чужие будут обходить жилище – не скажут: усопшего. Висельника, удушенника – вот названия, которые мне по смерти дадут! Кто скажет, что сделала, что хотела сделать для искупления моего преступления и, может статься, более для свидания с отечеством неограниченная, мученическая любовь моя к ней? Кому известна эта любовь? Кому смею даже ныне открыть мои дела, мои намерения? *Одному* только вверена тайна моя, и этот *один* – чужеземец, сторонний мне чувствами и помышлениями! Он весь мщение, я весь любовь! Он один может свидетельствовать о том, что я совершил, что хотел совер-

шить; а кто знает, что нынешний день, этот миг – его? С собою в гроб возьмет он все, что я приобрел такими трудами; земля пожрет мое благороднейшее достояние, лучшую часть меня, а на земле останется только злодей, беглец, отверженец, то, что я был еще тринадцать лет назад. Даже от ближайших мне должен я себя скрывать; не смеют они обласкать меня приветом искренности, как родные боятся открыть крышу с гроба смрадного мертвеца, чтобы почтить его братским целованием. Самый этот слепец, который, видишь, сидит под вязом, неразлучный спутник мой, исполняющий мои желания, будто очами сердечными прозирает в моем сердце, готовый жертвовать для меня своею жизнью, почитающий меня своим благодетелем, сыном, другом, заключающий во мне все, что осталось ему дорогого на немногие дни его жизни, – поверишь ли? – святой этот старец есть только темное орудие моих действий. Он не знает, кто я, откуда, кому работаю; он не знает, что с ним ходит столько лет рука об руку преступник, изгнанник из своего отечества; что товарищ, вожатый, которому он отдал душу, за-

пер для него свою и торгует с ним лучшим даром господа – любовью к ближнему. Даже тебе, кому открыто мое злодейство, кому я всем обязан, тебе не смею поверить своих дел и намерений. Вот мои труды, мои жертвы: видишь, они человеческие! Свыше я ничего не могу.

– Вижу, – сказал Адам с глубоким вздохом, – и понимаю, что средства, тобою избранные, могли быть верными в другом человеке, более гибком, более умеющем скрывать себя. Но для тебя, с твоею пороховою душой, – одной минуты довольно, чтобы погубить тебя! Ты не можешь выдержать угнетения; ты не способен унижаться, обманывать: а твоя должность этого требует. Страшусь за тебя: не ты – благородный, пылкий нрав твой изменит твоей тайне.

– Не раз уже навлекал я на себя подозрения. Но дело сделано; жеребий брошен!

– Ты сказал, что другого выбора средств не было тебе предоставлено?

– Я искал благороднейших по твоему совету и решительно не нашел. Мне оставалось или с моими злодеяниями возвратиться в

отечество под плаху, или принять то, что мне предложено.

– Не возможно ли теперь?..

– Переменить? Нет, не думай! Этому не бывать! – вскричал Вольдемар, смотря на своего друга очами разгоревшимися, как у львицы, у которой хотят отнять детей ее. – Нет! я зашел уже далеко; я видел грань моего отечества, слышал родные голоса – и не пойду назад. Приди отец и мать моя, если б они отыскались! приди сам Господь с Его небесными силами... нет! этому не бывать, говорю тебе. Одна смерть может сказать мне: остановись! Господи! Господи! дозвожь мне положить хоть кости мои на родном кладбище!.. (Вольдемар горько заплакал.) Теперь, второй отец мой, оттолкни меня от себя!..

Адам был тронут. Он взял руку своего собеседника, крепко пожал ее и сказал с восторгом, необыкновенно его одушевлявшим:

– Довольно! не хочу знать более. Догадываюсь о твоей тайне; понимаю, что, обнажив ее передо мною, ты думал бы вручить мне оружие против себя. Нет! не оттолкнуть тебя хочу, но открыть тебе душу свою, чтобы ты на-

шел в ней новые силы совершить начатое. Не мне отговаривать тебя: ты меня знаешь!.. Когда б мои обязанности соглашались хоть несколько с твоими, я сам пошел бы с тобою рука об руку, как этот слепец, и разделил бы твое благородное унижение и бремя. Люблю видеть в делах моего воспитанника ту пламенную любовь к великому, которую я старался очистить и утвердить в тебе. Недаром посещал я с тобою так часто благословенные земли Греции и Рима, породившие стольких героев! Не более тебя сделал бы сын их. Теперь, понимая тебя, не хочу смотреть на низость твоих средств: что мне нужды до них, лишь бы отечество и Бог взирали на твои дела с удовольствием! Выключи меня из числа черни, которая судит по одной наружности. Пусть гонит это стадо бич предрассудков; пускай смотрит оно очами телесными в уровень себе и питается одним подножным кормом чувственности! В глазах его Брут есть только убийца детей своих[220]; Курций[221], бросающийся в пропасть, – самоубийца. Ты знаешь этих великих мужей: мы с тобою умели понимать и ценить их подвиги. Тебе ли после это-

го скорбеть о мнении черни? Стань выше его! Мудрый не покоряется безрассудной воле толпы, а сам дает ей направление. Не она – совесть тебе награда; голос избранных – твой суд! Государь и отечество оценят некогда твои заслуги, если их узнают. Великий свыше мести: он позволит тебе обнять свои колена; он простит тебя. Ты увидишь родину. Сердце мое пророчествует тебе эти блага. Не почитай же себя униженным неодолимою тоской по отчизне, дающей тебе столько силы совершить великое и благородное; не помышляй также, чтобы в делах человека, сколько бы они возвышенны ни были, не примешивалось нечто от слабостей человека, чтобы он мог любить что-нибудь, не любя себя хоть посредственно, с совершенным самоотвержением. Пламенное воображение твое представляет тебе некоторые предметы в черном виде. Не верю тебе, чтобы ты играл любовью к своему товарищу: слепец почитает тебя своим благодетелем, сыном, другом; ты все это действительно для него. Десять лет водишь его, служишь ему глазами, посохом, питаешь его, переносишь его немощи, согреваешь своими

ласками – одним словом, ты заменяешь ему семейство, отечество, природу. Какой сын сделал бы более для отца? Какой отец в замену не воздал бы сыну некоторыми пожертвованиями? Он возвращает тебе то, что получает от тебя ж. На что ему знать, кто ты, откуда? Он – ты, потому что он только тобою существует. На что ему твоя тайна? Без нее он свободнее любить тебя может. Не продавать же ее вместе с душою своею людям, чуждым для него! Если ты обманываешь его в этом случае, то обманываешь, как нежный сын, может быть сберегая ему то сокровище, которым сам дорожишь. Не верю также, чтоб ты, Вольдемар, захотел когда-либо жертвовать старцем для своих видов, как бы они ни были благородны и высоки. Ты говоришь мне, что он темное орудие твоих действий; не знаю его услуг, но уверен, что он ясное орудие милости к тебе Провидения, пославшего тебе слепца в помощники, да не видят зрячие, чего им не должно видеть. Вот что я хотел сказать тебе в утешение, Вольдемар! Продолжай свое служение, презри униженность средств, если Провидение не дозволило тебе других; взирай

только на цель. Бог да благословит тебя на пути твоём и да подаст тебе силы и возможность совершить благое во имя, драгоценное всякому гражданину; да наградит тебя счастьем возвратиться в своё отечество истинным его сыном! Обними меня ещё раз, милый друг, и скажи мне, могу ли быть тебе чем-нибудь полезен.

Гуслист, почерпнув, казалось, на груди друга новые силы и утешения, просил его исполнить только две вещи: приискать, во-первых, местечко под окнами Луизы, где он и слепец могли бы, не видимые никем, поздравить новорожденную, как просила их девица Рабе, и, во-вторых, дать гостеприимный угол старцу на два дня, на которые Вольдемар должен был с ним расстаться. Адам все обещал. Какою неожиданною радостью изумлен был последний, узнав, что слепец есть тот самый Конрад из Торнео, на чьих руках умер его отец! С другой стороны, как изумлен был последний, когда слух его, эти очи слепого, был потрясен голосом старинного знакомца, сына его покровителя! За первыми горячими излияниями чувств последовали с той и другой

стороны запросы о былом времени, протекшем уже более восьми лет. Чего не вспомнили они, не пересказали друг другу? Кого не вызвали из мрака прошедшего? Кого не оплакали в этой беседе или, лучше сказать, в этой тризне по милым друзьям, какой, может быть, никто не совершал по ним? Не наговорились друг с другом, не наслушались один другого слепой старец и муж, первый уже на пороге гроба, второй не много отставший от него, предчувствуя, может быть, что один из них сам должен будет скоро сделаться *воспоминанием*, а другому придется оплакивать в нем новую утрату.

Беседа наших друзей была прервана вестью рыжего мальчика, что карета, управляемая дядею его, уже показалась вдали. Адам и гуслист, подхватив слепца под руки, направили поспешно путь к замку. В цветнике, за кустами сиреневыми, под самыми окнами Луизиной спальни, поставлены были музыканты так, что никто не мог их видеть, да и проведены были они туда никем не замеченные.

Глава девятая

Праздник

*И голос оскорбленной чести
Меня к отмищению зовет.*
Пушкин

Луиза просыпалась; но длинные ресницы ее слипались еще, сжимаемые удовольствием сердечной неги. Бог любви приветствовал ее со днем рождения сладким сновидением, с которым жаль было ей расстаться: давно не была она так счастлива. Она почувствовала что-то свежее на груди и открыла глаза: это была роза без шипов, едва развернувшаяся. «От кого дар?» – думала она и, решившись расспросить о нем у своей горничной, спешила опустить цветок в стакан воды, как бы нарочно поставленный близ нее на стол. В этом занятии застали ее чудесные звуки, прилетавшие к ней из цветника. Она могла разобрать, что играли на двух инструментах и пели два мужские голоса, один нежнее другого, песню в честь ее. Очарованная неожиданной музыкой, она раздумывала, ко-

го благодарить за нее, как дверь отворилась, и Катерина Рабе в объятиях милой подруги заградила своими поцелуями крик радости на ее устах. Все было в этом свидании: восторги сменяли слезы, слезы перемешивались со смехом; вопросы бежали за вопросами, прошедшие горести, надежды, утешения – все слилось в беспорядочном лепете дружбы. Этот первый пароксизм дружбы прерван был на несколько минут необыкновенным криком под окнами Луизиной спальни.

– Музыка в четвертом номере! Боже мой! – кричал едва не с плачем какой-то басистый голос. – Что это будет? В четвертом номере, говорю вам! Кто смел привести сюда этих побродяг? Кто осмелился нарушить священную волю госпожи баронессы? Кажется, она не первый день госпожа в своем замке.

Девушка Рабе покраснела, со свойственной ей живостью бросилась к окну и закричала из него:

– Простите меня, господин Дихтерлихт! это я, я во всем виновата.

На это увещание, ласковым, обворожительным голосом произнесенное, затих ропот

школьного мастера. В то же время вошла к Луизе в спальню сама баронесса Зегевольд; с нежностью поцеловала дочь, поздравила ее со днем рождения и, пожелав ей счастья, вручила корзину, в которой лежали богатые ожерелья, серьги, цепи и зарукавья, искусно отделанные; потом, обратившись к мариенбургской гостье, величаво кивнула ей и, в знак милостивого внимания к бедной, ничего не значащей воспитаннице пастора, которую дочь ее удостоивала своими ласками, дозволила Катерине Рабе поцеловать себя в щеку. Несмотря на эту милость, в глазах баронессы сквозило неудовольствие, что ее предупредили у новорожденной с поздравлениями. Луиза поспешила одеться, благодарила мать за подарки, казалась довольной, а сама думала: «На что мне они?»

В недобрый час был приход в Гельмет бедных музыкантов. Только что утихла над ними гроза мариенбургского школьного мастера и стихотворца Дихтерлихта, уже собирались новые тучи с другой стороны. Никласзон, этот верный агент Паткуля, как мы имели случай видеть, вскоре заметил Вольдемара

из Выборга и почел худым предвестием эту комету, в первый раз являвшуюся над горизонтом Гельмета. «Как! лазутчик Шлиппенбах? Этот человек, ищущий с такою неутомимостью гибели русского войска и так усердно отыскиваемый патриоткою, он здесь, это что-нибудь значит; это не к добру, тем более что Шлиппенбах должен быть ныне в Гельмет, не подозревая еще грозной тревоги! Если этот шпион, нигде не отыскав его, пожаловал сюда с известием о приближении русских, так бедняжка опоздал: время ушло! Думаю, что весь здешний край заблаговестит это через несколько часов. Взявшись за ремесло лазутчика, он должен был твердо знать, что для ловли сельдей и китов бывает одна пора; но если этот лукавый музыкант провел нас, искусников, — ибо часто в нашем ремесле случается, что тот, кто считает себя близко цели своего обмана, бывает сам обойден; на всякого мудреца бывает довольно простоты, — если тот лукавый музыкант, говорю я, проведет, кто пожалует сюда на праздник с Фюренгофом, и шепнет о том не в урочный час на ушко своему доброжелателю?.. Тогда все это

недоконченное и нетвердое здание прямо падет на меня!.. Однако ж чрез кого проведать ему? в одну ночь? Сомнительно! мудрено! На всякий случай надобно держать проклятого музыканта в почтительном отдалении от баронессы и Шлиппенбаха. Как на беду, Адам, этот всеобщий покровитель нищих и побродяг, успел приютить голубчиков под свое крыло. Вот уж он ведет слепца и товарища к баронессе. Буду делать, что могу, и между тем, для безопасности собственной персоны, не худо иметь в готовности оседланного коня и добрую пару пистолетов». Так рассуждал сам с собою лукавый Никласзон, решившись даже на отчаянные меры, если бы как-нибудь проникла наружу тайна Фюренгофова товарища и гостя гелметского, Зибенбюргера, и обстоятельства, не побоявшись мастера, их устроившего, пошли ему наперекор. Во-первых, он исполнил все, придуманное им для собственной безопасности; потом отдал слугам строжайший приказ без дозволения его не пускать гуслиста и слепца в дом.

Не с такою жадностью обжора вкушает перигорского пирога[222], несколько месяцев

ожиданного, с какою баронесса пожирала беседу Вольдемара, этого таинственного агента Шлиппенбахова. Правда, вся беседа заключалась еще в одном приступе к дипломатическим сношениям, который начался, как у иного автора при всяком сочинении, с яиц Лединых[223]. Правда, и ответы гуслиста не обещали уступчивой искренности: но, по крайней мере, дипломатка старалась голосом сирены привлечь в свою область этого нового Язона[224], хранящего золотое руно, то есть тайну похищения Паткуля. Лукавый Никласзон поспешил, однако ж, разрушить эту беседу, отозвав баронессу в ближнюю комнату и объяснив ей со всепокорнейшею преданностью, что она, дальнейшим сближением с пришлецом и, может быть, обманщиком, теряет плоды вчерашнего посещения раскольников, которых изведенное усердие ныне так легковерно меняет на сомнительные виды. Если же она желает, продолжал Элиас, чтобы известие о сборах русского войска на Лифляндию было ею первое сообщено его превосходительству, господину генерал-вахтмейстеру и чтобы неожиданность этого изве-

щения придала ему цены, следственно, таинственности и важности дипломатическим ее трудам, то всего лучше держать на нынешний день музыканта в отдалении так, чтобы он никак не мог добраться до генерала.

– Ах, любезнейший мой Никласзон! – сказала дипломатка. – Вы бросаете светлый луч в мои мысли, запутанные и помраченные нынешним праздником... Как я вам благодарна! В самом деле, для мыльных пузырей потерять плоды стольких трудов! Как будто бы насмеяться над усердием и преданностью ко мне этих добрых русских моих *подданных*, пришедших ко мне с таинственной вестью из-за нескольких десятков миль! Упустить случай написать к министру Пиперу о пользе, нами принесенной в этом случае Лифляндии и, что еще важнее, войску его королевского величества! Благодарность Карла, наконец я тебя поймала... наконец этот ненавистник женщин должен будет признаться, что женщине обязан победою над Петром, спасением большого лоскута своего королевства и армии. Каковы трофеи для нас, мой любезный, верный Никласзон! Нет, этот кусочек слишком лако-

мый, чтобы в простоте сердца отдать его агенту Шлиппенбаха. Распоряжайте, как вы найдете лучше, чтобы он не мог схватить у нас из-под носа такую богатую добычу; будьте полным хозяином в этом деле. Как вы думаете: не запереть ли нам куда-нибудь этих бродяг?

Никласзон уверил, что он обойдется и без таких насильственных средств, и спешил привести свои уверения в действие, утешаясь, что умел так ловко обратить на гнев и гонение скорые милости баронессы к Вольдемару. Вот как важные головы мелкими хитрецами одурачиваются!..

Баронесса, возвратясь в ту комнату, где был гуслист и товарищ его, сказала им с оскорбительною гордостью:

– Ступайте в кухню, друзья мои, вас там накормят.

Ответом Вольдемара был гордый, презрительный взгляд. Слепец произнес с негодованием:

– Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими, но Господь смеется ему, ибо видит, что при-

ближается день его[225].

С этим вместе музыканты вышли из комнаты и побрели в сад; баронесса проводила их глазами, разгоревшимися от досады, что слепой колдун (так известен он был в краю) осмелился причислить ее к сонму нечестивых.

Между тем среди жужжания народа, на двор собравшегося, слышались шум колес, удары бича и ржание лошадей. Со всех сторон катились, неслись и ползли берлины[226], одноколки, колымаги, скакали верховые; все дороги закрубились от пыли, а на перекрестке стояла целая туча, как на батарее во время сражения. Все спешило, будто по пути жизни мчались ко двору фортуны ее искатели.

Иные, заключая свое честолюбие в том, чтоб быть впереди, кричали с нетерпением своим кучерам:

– Форвертс! форвертс![227]

Другие, боясь излишнею ретивостью сломить себе в суматохе шею, приказывали отставать; третьи, равняясь друг с другом, менялись приветствиями, проклинали тесноту, пыль и жар и, может быть, в сердце посылали

друг друга к черту; конные, объезжая стороной экипажных, едва не выговаривали: хлопчите, а мы все-таки будем впереди. У ворот замка сделалась настоящая суматоха; к крикам, на разные напевы, господ и госпож разного возраста присоединялась брань кучеров. На дворе все пришло в чинный порядок: между толпы крестьян и столов, устроенных для угощения их, оставлена была Шнурбаухом дорога, и по ней-то экипажи тянулись к террасе цепью, один за другим. На случай, где надобно было распоряжаться кучерами и скотами, амтман был человек дорогой. Секретарь, на нынешний день маршал баронессина двора, с треугольною шляпою под мышкою, со шпагою у боку, с улыбкою и приветствиями на устах, встречал гостей в первых комнатах. Сама баронесса принимала их в гостиной, в которой сияли, как зеркала, и заменяли их штучные стены и колонны из разного дерева, исправно натертые маслом и воском. Она сидела в пышных креслах, с дивною резьбою, обитых малиновым бархатом; кому кивала, для иного едва привставала, для другого совсем становилась на ноги и делала шаг, два и

более вперед, смотря по важности входившего лица. И на прием она имела свою дипломатию! Если бы кто из нашего века перенесся в это собрание, то подумал бы, что находится в маскараде или в старинной портретной галерее. Большая часть мужчин были настоящие маркизы Лудовика XIV, в которых преобразилась тогда едва ли не вся Европа! Среди щеголей, одетых по последней моде, были приезжие из Риги, не стыдившиеся явиться в наряде XVII столетия. Круглая шляпа с перьями, распущенные по плечам волосы, тонкий ус и оставленный на конце бороды клочок волос; воротник рубашки, отвороченный до груди, и между ним две золотые кисточки; полукафтаны, наподобие черкесского чекменя, из черного атласа, который тянули вниз шары свинцовые, вделанные кругом полы в шелковой бахrome; белая шитая перевязь, падающая с правого плеча по левую сторону; сапоги с черными бантами на головах и с раструбами из широких кружев, туго накрахмаленных, в которых икры казались вделанными в огромные чаши: весь этот наряд, и в тогдашнее время, заставлял на себя оглянуться с

невольной улыбкой. Так обычаи и даже нравы уступают всемогущему влиянию времени! Отстающие от него кажутся уродливыми.

Несмотря на то что тогдашняя одежда женщин не красила их, хорошенькие все оставались хорошенькими. Таково могущество красоты, что, наряди ее хоть с *рожками* и в *рогожку*, она все-таки будет прельщать. Лифляндия – цветник пригожих женщин, и потому на праздник у баронессы собрались их вереницы; но всех прекраснее была Катерина Рабе, всех милее Луиза Зегевольд.

С пренебрежением смотрели на бедную воспитанницу пастора Глика приезжие гости, твердо выучившие от маменек свою родословную; непригожие из них отличались особенною к ней неприязнию.

– Что за охота Луизе привязаться к этой кукле? – говорила одна, золотовласая, как Церера[228], и с лицом, испещренным веснушками, будто обрызганным грязью.

– Нельзя взять ее за руку, чтобы не появилась с другой стороны ее Кете: ну посуди, милая, прилично ли мне служить pendant[229] девчонке бог знает какого рода и звания.

– То ли дело флейлейн фон Голнгаузен! – говорила другая, пришепетывая. – Умеет дел- жать себя как должно! Видела ли ты, каким холодным взглядом обдала она маллиенбулг- скую гостью, когда эта хотела к ней плилас- каться?

– Прекрасно отпотчевала! – прибавила тре- тья, мигавшая беспрестанно одним глазом и немного кособокая. – Заметила ли ты, какие у ней дурные манеры?

– Где же было ей научиться порядочным! – перебила золотовласая Церера. – Разве у пас- тора Даута, когда она нянчила детей его.

Тут расходившееся злословие было оста- новлено на минуту неожиданным восклица- нием подруги, вновь прибывшей в круг собе- седниц.

– Ах! как хороша мариенбургская Кете! – сказала с особенным восторгом пришедшая. – Я засмотрелась на нее, как на прекрасную картинку, ну так, что не отошла бы от ней!

– Уж вкус! – закричали все с хохотом.

– Не мудрено ж, милая, так судить по неопытности: она в пелвый лаз в жизни вы- летела из своего гнездышка Фогельсгаузен, –

прервала шепетунья.

Осмелившаяся похвалить бедную воспитанницу пастора, покраснев, принуждена была сознаться, что она шутила. Катерина Рабе не оскорблялась гордым обращением с нею знатных приезжих или не примечала его: дружба Луизы, явно дававшая ей предпочтение перед всеми гостями, вознаграждала ее за неприятности этого праздника. Когда б она знала более свет или была самолюбивей, тогда б догадалась по глазам мужчин всякого звания, по тонкой и предупредительной их услужливости, что она избрана ими царицей праздника.

Чего и кого не было на этом празднике! Сюда приехали дворяне, духовные, профессеры, офицеры, студенты и купцы. На каждом был отпечаток времени: большая часть гостей, особенно студенты, выступали с марциальным видом, как бы идя навстречу грозе военной; некоторые робко пожимались в уголки комнат, как птицы, нахохлившись, прячутся в густоту дерев, почуяв непогоду. В углу гостиной отыскивали мы своего старого знакомого пастора Глика, жарконько рассуж-

давшего с каким-то архитектором-философом о том, каким образом удобнее созидать храм просвещения: с низу ли начинать, с середины или с верху?

– Помилуйте, – говорил архитектор, – кто ж строит здания на воздухе?

– Позвольте, я вам докажу, – прервал пастор, – я все препятствия видел наперед и отстранил их. В адресе, мною изготовленном для подачи королю, ныне благополучно царствующему, говорится ясно о способах преобразования Лифляндии.

– Но как вы могли?..

– Не спорьте, милостивый государь! Доказательства сейчас налицо, – ясны как день! – и вы признаетесь, что... – Здесь в жару полемики пастор засунул было руку в боковой карман, но, хватившись, что он потерял знаменитый адрес дорогою, смутился до пота на лице и приведен был в такое же прискорбное состояние, в каком, по одинакому поводу, явился он нам в *Долине мертвецов*.

Напрасно искали мы по всем комнатам цейгмейстера Вульфа, вечного приятеля и антагониста пастора и жениха девицы Рабе. Вот

что мы узнали о неявке его к празднику в Гельмет. Лукавый дух долины не переставал пошучивать над мариенбургскими жителями и за Менценом, затрудняя им путь то частую потерю подков у лошадей, то хромотой Зефирки, то починкою экипажа. Вульф, не награжденный от природы большим терпением, к тому ж обязанный вскорости доставить к генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху важное донесение (с которого, мы также видели, копыца была искусно снята и доведена по принадлежности), решился отделиться от своих дорожных товарищей и поспешить к начальнику. Отыскав последнего близ Пернова, куда этот ездил для свидетельства военных снарядов, и получив от него, по предмету своего путешествия, разрешение, цейгмейстер должен был немедленно отправиться в обратный путь и потому, вместо посещения Гельмета, принес ему только издали дань поклоном и вздохом.

Долго искали мы также между гостями и Фюренгофа: его еще не было в Гельмете. Наконец подъехала к террасе колымага, по виду пережившая уже полвека и, по исправности

своей, обещавшая еще столько же покататься по белому свету. Живые лошадиные остовы, в нее запряженные, были до того утомлены, что бока вздувались, как меха, и пот падал с них крупными каплями. Первый встретивший колымагу и отворивший у ней двери был Фриц, на лице которого, при этом действии, выражалась необыкновенная радость, смешанная с каким-то страхом. Он быстро оглядывался вокруг себя, хотел говорить, но губы его издавали непонятные звуки. Из экипажа вышли сначала Фюренгоф и за ним мужчина странной наружности. Багровый нос его бросался всякому в глаза как по своей уродливости, так и по двум зеленым, блестящим кругам, на него надетым, или, просто, зеленым очкам, диковинным в тогдашнее время; большой горб оседлывал незнакомца. На указательном пальце правой руки богатейший солитер[230] изменял простоте его одежды, состоявшей в паре платья на французский покрой из гладкой шелковой материи коричневого цвета. Выходя из колымаги, он пожал руку Фрицу и сказал ему шепотом:

– Лошадей верховых к восточной калитке

сада!

Когда он вошел в гостиную, насмешливый шепот пробежал по ней: красный нос так изумил всех, что должники Фюренгофа забыли изъяснить ему свое глубочайшее почтение и преданность и баронесса не могла выговорить полновесного приветствия тому, от кого тяжеловесные дукаты должны были поступить в ее род. Рингенский помещик, немного запинаясь, представил своего спутника под именем господина фон Зибенбюргера как ученого, путешествующего по разным странам света и теперь возвращающегося из России.

– Ко мне же почтеннейший господин адресован, – прибавил Фюренгоф, – одним лейпцигским моим корреспондентом.

На эту рекомендацию баронесса рассыпалась в учтивостях путешественнику-ученому, и, что важнее всего, ехавшему из России. «Красный нос» (будем так иногда звать Зибенбюргера) был умен, красноречив и ловок в обращении; богатейший человек в Лифляндии придал ему эпитет *почтеннейшего*. На вопрос, как вас титуловать (заметим, первый и необходимый вопрос каждого немца при пер-

вом знакомстве), Красный нос отвечал, что он гофрат[231], доктор Падуанского университета, член разных ученых обществ и корреспондент разных принцев; к тому ж игре в алмазе на руке его сделана уже примерная оценка и караты в нем по виду взвешены – все это заставило скоро забыть об уродливости носа и горбе неожиданного посетителя и находить в нем не только интересность, даже привлекательность. Баронесса, поручив хозяйничать дочери, нашла случай увлечь его в свой кабинет и предаться там с ним политическим рассуждениям. Красный нос хорошо знал ее слабую сторону и скоро успел овладеть умом патриотки, которая отдала бы свой Гельмет тому, кто шепнул бы в это время, что с нею сидит жесточайший враг ее государя и предмет ее дипломатических забот.

Между тем все общество, собравшееся в Гельмете, было приглашено на террасу. Здесь представилось пестрое зрелище. По сторонам двора уставлены были двумя длинными глаголями[232] столы, нагруженные разными съестными припасами; оба края стола обнижали крестьяне, не смевшие пошевелиться и

не сводившие глаз с лакомых кусков, которые уже мысленно пожирали; в середине возвышался изжаренный бык с золотыми рогами; на двух столбах, гладко отесанных, развевались, одни выше других, цветные кушаки и платки, а на самой вершине синий кафтан и круглая шляпа с разноцветными лентами; по разным местам, в красивой симметрии, расставлены были кадки с вином и пивом. Крестьянки, в пестрых праздничных одеяниях, толпились позади своих супругов, отцов и братьев и составляли резервную их линию на случай осады столов; наконец, между ними волыночники и гудочники, налаживая свои инструменты, готовились по-своему торжествовать праздник и возбуждать общее веселие пирующих. Как скоро Луиза, краснея и с некоторым принуждением, явилась на террасу, народ от души закричал:

– Да здравствует многие лета наша молодая госпожа!

Амтман, вынув разложенные по квартирам своего кафтана пальцы правой руки и толкнув порядочно локтем старосту, сказал ему на ухо:

– Кричи: и матушка баронесса, наша благодетельница!

– И матушка баронесса, наша благодетельница! – закричал староста, махая по воздуху шляпою (и палкой). За ним то же повторила толпа, боясь, чтобы этот возглас позднее не был выколочен из боков. По окончании народного приветствия явился перед Луизой Аполлон, лет за пятьдесят, с лицом испещренным багровыми шишками, в рыжем парике, увенчанном лаврами, в шелковой епанче, едва накинутой на плеча, и в башмаках с розовыми бантами. Он держал в левой руке лиру из папки. Это был мариенбургский школьный мастер Дихтерлихт, принявший на себя карикатурный вид бога поэзии. Чтобы не умереть со смеху, глядя на него, надобно было застаться всею немецкою флегмой и всем модным современным пристрастием к Олимпу на образец французский. Наш Аполлон, широко размахнувшись рукою, потом ударив себя в грудь и, наконец, по струнам лиры, отчего она согнулась, не издав из себя звука, с глазами горящими, как у беснующегося, произнес громогласно с полсотни стихов. В них

изобразил, как он, беседея на Парнасе[233] с девятью сестрами, изумлен был нечаянною суматохою на земле и, узнав, что причиною тому рождение прекрасной баронской дочери, спешил сам принести ей поздравления от всего Геликона[234]. В его стихах было то, чего б нехитрому уму не выдумать и в век.

Тут были:

*В борьбе миры с мирами,
С звездами грозный сонм комет,
Пространства бездн времен с ве-
ками,
С луною солнце – с мраком свет.*

Тут клокотали пропасти горящи, грохотали громы всезрящи, буревали гласы, клики, вой... и многое множество подобных этим описаний, которые нетрудно отыскать в знаменитых современных поэмах. Рукоплескания (и, прибавляет насмешливая хроника, шиканье студентов) задушили последний стих. Восхищенный этою наградою, Аполлон, со слезами умиления, поправил на себе парик и подал новорожденной тетрадку в золотой обложке. Луиза приняла усердную дань его и, желая скрыть, хоть несколько, свое замеша-

тельство от приторных похвал, которыми ее осыпали, перевернула блестящую обложку и устремила на заглавие тетради глаза; но, видя, что это творение не относилось к ней, спешила с усмешкою передать его вблизи стоявшему Глику и сказала ему:

– Не к вам ли ближе это идет, господин пастор?

При этом вопросе Аполлон выпучил глаза и открыл рот.

Пастор, будто по предчувствию, дрожащими руками ухватился за тетрадь и, лишь только взглянул на первые слова заглавия, обратился с гневом к Дихтерлихту:

– Господин Аполлон! похитив у царя Адмета[235] его овец, не вздумали ли вы прибрать к своим рукам и мое достояние?

– Ваше достояние, господин пастор! ваше?.. – произнес, горько усмехаясь, карикатурный бог. – Не благоугодно ли вам шуткою произвесть смехотворение в сем почтеннейшем обществе? Аполлон всегда готов отвечать Минерве.

– Какое неслыханное нахальство! – воскликнул пастор. – Говорю вам не шутя, что вы

украли мое сочинение.

– О! когда так, то я объявляю всенародно, что это моя собственность, родное дитя мое: я, я, сударь, его отец и права на него не отдам никому! Право это готов защищать пером, лирою, законом и кровью моею, столь громко ныне вопиющею.

– Наглец неблагодарный! – кричал Глик, не помня себя от гнева. – Дерзость невероятная в летописях мира! Как? воспользоваться моим добродушием; бесстыдно похитить плоды многолетних трудов моих! К суду вашему обращаюсь, именитое дворянство лифляндское! Имея в виду одно ваше благо, благо Лифляндии, я соорудил это творение, готовился посвятить его вам, и вдруг... Вступитесь за собственное свое дело, господа! Одно заглавие скажет вам...

– Это проект адреса королю о возвращении прав лифляндскому рыцарству и земству, – сказал кто-то, прочтя из-за плеч пастора заглавие спорного сочинения.

– Адрес! адрес! – повторили в толпе.

– О правах, давно забытых, – произнес кто-то.

– Втоптаных в грязь до того, что нельзя уж различить на них ни одной буквы, – прибавил другой.

– Следственно, вы признаете, милостивые государи, что адрес, мною... – мог только сказать пастор, как перебил его речь стоявший возле него дворянин, у которого редукциею отнята была большая часть имения.

– Без голоса нет права, – сказал он иронически, – а наш голос давно заглушен воинским боем, или, лучше сказать, мы служим только барабанною кожею для возвещения маршей и торжеств нового Александра до тех пор, пока станет ее.

– Теперь-то и время подать адрес, – произнес умилительно Глик.

– Время! – воскликнул кто-то. – Да разве вы не знаете, господин пастор, что лучшее время говорить о правах наступит, когда они кровью и огнем напишутся на стенах наших домов и слезами жен и детей наших вытравятся на железе наших цепей!

– Тише, тише, господа! – перебил насмешливо студент, закручивая усы и побренчивая шпагою. – Здесь есть шведские офицеры.

– Благородный воин никогда не берется за ремесло доносчика, – возразил с негодованием один шведский драгунский офицер, покачивая со стороны на сторону свою жесткую лосиную перчатку, – но всегда готов укоротить языки, оскорбляющие честь его государя.

– Аминь, аминь! – кричал пастор.

– Неприличное место выбрали, господа, для диспута, – говорили несколько лифляндских офицеров и дворян, благоразумнее других. – Не худо заметить, что мы, провозглашая о правах, нарушили священные права гостеприимства и потеряли всякое уважение к прекрасному полу; не худо также вспомнить, что мы одного государя подданные, одной матери дети.

– Разве одной злой мачехи! – кричали многие.

Продолжали спорить и тихомолком назначали поединки. Заметно было, что волнение, произведенное между посетителями, было приготовлено. Для утишения поднявшейся бури принуждены были наконец послать депутатов к баронессе, все еще занятой дипло-

матической беседой с ученым путешественником Зибенбюргером, очаровавшим ее совершенно. Многие женщины от страха разбежались по комнатам; другие, боясь попасть навстречу баронессе, следственно, из огня в полымя, остались на своих местах. Луиза, стоя на иголках, искала себе опоры в милой Кете, но не могла найти ее кругом себя; пригожие Флора и Помона дожидались с трепетом сердечным, когда Аполлон прикажет им начать свое приветствие новорожденной; народ, вдыхая в себя запах съестных припасов и вина, роптал, что бестолковые господа так долго искушают их терпение.

Что происходило в это время с самим Аполлоном? Подойдя к пастору Глику и успев пробежать глазами первый листок чудесной тетради, он, видимо, обомлел, начал оглядываться, пересмотрел еще раз тетрадь, ощупал ее, ощупал себе голову и сказал с сердцем:

– Если в это дело сам лукавый не вмешался, то я не знаю, что подумать о перемене моего «Похвального Слова дочери баронской» на адрес «Его величеству и благодетелю нашему, королю шведскому».

Явилась на террасу баронесса Зегевольд, и с ее появлением раздор утих, как в «Энеиде» [236] взбунтовавшее море с прикриком на него Нептуна. Не подавая вида, что знает о бывшем неблагопристойном шуме, она шепнула Никласзону, чтобы он подвинул вперед богинь. Флора первая из них подошла к Луизе и, поднося ей цветы, сказала:

– Прими сии плоды...

– Плоды? Какие плоды? – перебил сердито Аполлон.

– Меня так учил господин Бир, – отвечала смущенная и оробевшая Флора.

– Да вы кто такая? – спросил грозным голосом бог песнопения.

– Каролинхен, к вашим услугам, – отвечала опять простодушно девушка, приседая.

При такой видимой неудаче Аполлон шлепнул свою лиру о пол, схватил себя обеими руками за парик и, стиснув с ним лавровый венец, вопил:

– Чтобы всех Флор и Помон побрал лукавый вместе с моим «Похвальным Словом»! Чтобы земля разверзлась и поглотила меня и позор мой! О зависть! о злоба человеческая!

вы достигли своей цели. Иду, удалюсь, спешу, бегу от этих ужасных для меня мест. Тасс! темница была твой Капитолий[237]. Гомер, о ты, слепец хиосский[238], ты умер странником. И я, и я, – радуйтесь, зоилы[239]! – униженный перед почтеннейшим обществом лифляндских дворян, перед целым синклитом ученых, направляю стопы мои в изгнание. Но знайте, за меня потомство! Оно мститель мой и грозный судия моих врагов.

Выговоря это, Аполлон, в измятом лавровом венке, с епанчой на плечах, продрался сквозь толпу зрителей и слушателей, устремился с террасы, раздвинул с жестокостью толпу, окружавшую его на дворе, поколотил некоторых ротозеев и насмешников и бежал из Гельмета. Ни увещания, ни просьбы баронессы, ни усилия амтмана его удержать не имели никакого успеха. (Рассказывали после, что поселяне, встретившие его в таком наряде за несколько миль от Гельмета, почли его за сумасшедшего и представили в суд и что он только приближению русских обязан был освобождением своим из когтей судейских.)

Флора и Помона, которых роли Бир из рас-

сеяния действительно перемешал, скрылись; и хотя сентиментальная Аделаида Горнгаузен, в фижмах и на высоких каблуках, готовилась предстать в виде пастушки, держа на голубых лентах двух барашков, но и та, побоявшись участи, постигшей ее подруг, решилась не показываться. Таким образом был испорчен праздник тщеславной владетельницы Гельмета. Сильно досадовала она, но старалась скрыть это чувство.

Оставалось Луизе принять сельскую свадьбу. По данному амтманом знаку показался издали свадебный поезд. Впереди трусил верхом волыночник, наигрывая на своем инструменте нестройные песни, в которых движения его лошадки делали разные вариации. Его сопровождали два дружка с шпагами наголо (которыми должны были открыть вход в дом новобрачного, нарубив крест на двери, после чего следовало им, по обряду, воткнуть орудия в балку прямо над местом, где он сиделся). За музыкантом и дружками, верхами ж на бойкой лошадке, ехали разряженные: жених и, позади его, боком, на той же лошади, невеста, ухватившись за кушак его пра-

вой рукой. Две медные монеты, вложенные в расщеп палки, которую он держал в руке, должны были служить ему пропуском в дом брака. Невеста бросала красные ленты по дороге, особенно на перекрестках, где хоронились некрещенные дети. Многочисленный верховой поезд из крестьян, жен их, сыновей, работников и служанок довершал процессию. На дворе толпы народные, раздвинувшись, очистили для нее широкую улицу. Перед террасою весь поезд сошел с лошадей и прокричал новорожденной многие лета. В то же время дружки изо всей силы стучали шпагой об шпагу. Невеста и жених подошли к Луизе: первая была черноволосая красавица, второй – пригожий, статный молодец. Лишь только крестьянская девушка хотела поднести своей молодой госпоже пучок полевых цветов и сказать по-своему приветствие, Луиза, всмотревшись на нее, бросилась ее обнимать. Невеста была – Катерина Рабе. Жених подошел к Луизе; взглянув на него, она побледнела. Черты слишком знакомы! Глаза ее в первый миг признали было его за Густава; но сердце тотчас отвергло это обольщение и

сказало ей, что это не кто иной, как роковой Адольф. Действительно, жених-крестьянин был истинный жених Луизин, барон Адольф Траутфеттер. Как все это случилось? Каким образом девица Рабе, нежная, догадливая, знавшая все задушевные тайны своей подруги, могла согласиться быть орудием для нанесения ей такого нечаянного и жестокого удара? Что заставило вдруг приехать из армии Адольфа, доселе с необыкновенным упрямством отдалявшего от себя всякий случай к посещению Лифляндии? Мы это сейчас узнаем, сделав с ним маленькое путешествие.

Глава десятая

Еще неожиданные гости

Неприятель кутит, гуляет... а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него, как снег на голову...

Слова Суворова

В то самое время, как меч и огонь неприятелей поедали собственные владения Карла XII, чужие царства падали к его стопам и подносили ему богатые контрибуции. Столица Польши одиннадцатого мая приняла в свои стены победителя и ожидала себе от него нового короля. Важные головы занялись тогда политикой, военная молодежь – веселостями в кругу обольстительных полек. Можно догадаться, что Адольф не пропускал ни одного редута. Раз вечером, возвратившись очень рано домой, он сидел, раздосадованный, в своей квартире и записывал в памятной книжке следующий приговор: «Польская нация непостоянна!» Такое определение характеру целого народа вылилось у него из души по случаю, что одна прелестная варшавянка, опутавшая

его сетями своих черно-огненных глаз и наступившая на сердце его прекрасной ножкой (мелькавшей в танцах, как проворная рыбка в своей стихии), сама впоследствии оказалась к нему равнодушной, сулила ему целое небо и вдруг предпочла бешеного мазуриста. Едва dokonчил он свой приговор, ужасный для народа и особенно для известной ему особы, как трабант загремел у его двери огромными шпорами и объявил приказ короля немедленно явиться к его величеству. Некогда ему было думать, зачем. От самого короля узнал он, что отправляется курьером к Шлиппенбаху с известием о новых победах и обещаниями скоро соединиться с лифляндским корпусом в Москве. Вместе с этим поручением велено Адольфу, до нового приказа, остаться на родине своей при генерал-вахтмейстере: так умела все мастерски уладить дипломатика баронесса Зегевольд. Отпуская Траутфеттера, король сказал, что они не надолго расстанутся. Неверность польки все еще сверлила сердце Адольфа, как бурав; образ Луизы начал представляться ему в том оболстительном виде, в каком изобразил ее Гу-

став; поручение короля было исполнено милостей, и Адольф в ту же ночь распрощался с Варшавою.

Курьер северного героя, которого одно имя бичевало кровь владык и народов, не ехал, а летел. Все шевелилось скорее там, где он являлся, – и люди, и лошади.

– Помилуй, паночке! – говорили польские извозчики почтовым смотрителям, почесывая одною рукой голову, другою прикладываясь к поле их кафтана. – То и дело кричит: рушай да рушай! коней хоть сейчас веди на живодерню.

– Цыц, бисова собака! – бывал ответ смотрителя. – Разве ты не знаешь, что офицер великого короля шведского, нашего пана и отца, делает нам честь скакать на наших лошадях, как ему заблагорассудится? Благодарю его милость, что он не впряг тебя самого и не вцепил тебе сотни бизунов[240], собачий сын!

Красноречивые убеждения шведского палаша разогревали и флегму немецкого почтальона. То печально посматривая на бездыханную трубку, у груди его покоившуюся, то умильно кивая шинкам, мимо его мелькав-

шим, посылал он мысленно к черту шведских офицеров, не позволявших ему ни курить, ни выпить шнапсу, и между тем чаще и сильнее похлопывал бичом над спинами своих тощих лошадей-дромадеров.

– Не Траутфеттер, а Доннерветтер надобно бы ему прозываться, – говорили сквозь зубы немецкие станционные смотрители, подавая рюмку водки бедному страдальцу почтальону, и со всею придворного вежливостию спешили отправить гостя со двора.

Провожаемый такими приветствиями, Адольф прискакал на четвертые сутки в Ригу; узнав, что Шлиппенбах находится в Пернове, отправился туда, передал ему от короля бумаги, и, желая удивить своим нечаянным приездом баронессу и невесту, которая, по мнению его, должна была умирать от нетерпения его видеть, полетел в Гельмет. Здесь у корчмы остановился он, заметив свадебный поезд. Пристальный взгляд на лица крестьян, необыкновенно развязных, и другой взгляд на милостивых крестьяночек, шушукавших промеж себя и лукаво на него поглядывавших, объяснили ему сейчас, что эта свадебная

процессия была одна шутка баронессиных гостей.

Желая скрыть свое настоящее имя, он выдал себя за трабантского офицера Кикбуша, только что вчера прибывшего из армии королевской с известиями к генерал-вахтмейстеру о новых победах и теперь, по исполнении своего дела, возвращающегося в армию; присовокупил, что между тем ему дано от генерала поручение заехать по дороге в Гельмет и доложить баронессе о немедленном приезде его превосходительства; что он остановлен у корчмы видом необыкновенной толпы, угадал тайну актеров и просит позволения участвовать в их шутке. Офицеры и студенты, представлявшие чухонцев, охотно согласились принять Адольфа в свой поезд; а как офицер, игравший жениха, был чрезвычайно услужлив, то, с позволения девицы Рабе, уступил Адольфу свою роль, прибавив, что в народном празднике первое место принадлежит вестнику народного торжества. Таким-то образом явился Адольф в виде крестьянского жениха перед своею невестою; таким-то образом подруга ее сама представила Луизе того,

которого эта, может быть, никогда не желала бы видеть. Каково же было изумление и ужас Катерины Рабе, когда Луиза, при взгляде на мнимого Кикбуша, побледнела, когда трабантский офицер, бывший до того чрезвычайно смелый и ловкий, смутился, произнес крестьянское приветствие новорожденной, и, наконец, когда он подошел к баронессе Зегевольд и вручил ей письмо.

– Рука приятеля моего Пипера! – вскричала баронесса, взглянув на адрес; потом вгляделась пристально в посланника и бросилась его обнимать, приговаривая задыхающимся от удовольствия голосом: – Адольф! милый Адольф! этой радости я не ожидала.

– Адольф Траутфеттер! – раздалось в толпе гостей.

Фюренгоф, внутренне желавший племяннику провалиться сквозь землю, спешил, однако ж, прижать его к своему сердцу. После первых жарких лобызаний и приветствий со всех сторон Адольф просился переодеться и явиться в настоящем своем виде. Кто бы не сказал, смотря на него: Антиной[241] в одежде военной! Но для Луизы он был все равно

что прекрасная статуя, хотя ей дан исподтишка строжайший приказ обходиться с ним как с милым женихом.

– Ты должна его любить, – прибавлено к этому грозному наказу. – Смотри, чего ему недостает? Он все имеет: ум, прекрасную наружность и богатство. Ты была бы ворона, если б и без моих наставлений упустила такой клад! Да что ж ты ничего не говоришь?

– Буду стараться исполнить волю вашу, – отвечала Луиза, опираясь ледяною рукою об руку своей милой Кете.

С другой стороны, влюбчивый Адольф, сравнивая свою невесту с теми женщинами, которыми он пленялся так часто в каждом немецком и польском городке, на марше Карловых побед, разом вычеркнул их всех не только из сердца, даже из памяти своей, и поклялся жить отныне для единственной, избранной ему в подруги самую судьбою. «Она сейчас узнала меня: это добрый знак! – думал он. – И меня испугалась; это что значит?.. Ничего худого! Как не испугать это робкое, прелестное творение появлением нежданного жениха, который, того и гляди, будет муж ее!

Сердце мое и ласки матери говорят мне, что мы в дальний ящик откладывать свадьбы не станем».

Желая скорее описать свои новые чувства двоюродному брату, он искал его между гостей, но, к удивлению своему не найдя его, спросил у одного из своих молодых соотечественников о причине этого отсутствия. Вопрошаемый, бывший дальний родственник баронессе, объяснил, что она отказала Густаву от дому за неловкое представление им роли жениха, даже до забвения будто бы приличия.

– Это было в отсутствие маменьки, – продолжал вестовщик, – невеста заметила ошибку и вольное обхождение посетителя, рассердилась и рассказала все матери и...

– И загорелся сыр-бор! – сказал, смеясь, Адольф. – Ну, право, я не узнаю в этом деле моего двоюродного братца, скромного, стыдливого, как девушка! А все я виноват, – продолжал уже про себя Адольф, – невольный мученик! навел я тебя на след сердитого зверя моими наставлениями и погубил тебя; но этому скоро пособить можно. Мой верный Сози

будет у меня шафером на свадьбе, и мы тогда заключим мировую с баронессою.

Рассуждения эти были прерваны необыкновенным криком на дворе. Адольф оглянулся и увидел, что народ сделал решительное нападение на съестные припасы. В один миг столы были очищены и бык с золотыми рогами исчез. Всех долее покрасовалась круглая шляпа с цветными лентами на маковке столба, намазанного салом, и всех более насмешили усилия чухонцев достигнуть ее; наконец и она сорвана при громких восклицаниях. Чернь веселилась потом, как обыкновенно веселится. Лишь только гости возвратились во внутренность дома, атман возвестил о приезде его превосходительства генерал-вахтмейстера.

– Его превосходительство! – перенеслось из одной комнаты в другую. Кроме нескольких собеседников, в том числе и Красного носа, все засуетилось в гостиной, все встало с мест своих, чтобы встретить его превосходительство. Зибенбюргер остался преспокойно в креслах, как сидел: коварная усмешка пробежала по его губам; движения его, доселе сво-

бодные, сделались напоказ небрежными. Фюренгоф, при вести о прибытии главного начальника шведских войск, задрожал от страха; вынул свои золотые, луковкою, часы из кармана и сказал:

– До двух часов остался еще час?

– Да! – отвечал хладнокровно Красный нос. – Впрочем, если указательная стрелка и заврется, есть средства ее остановить.

Ответ этот был так же хорошо понят, как и напоминание времени, и рингенский барон, оправившись несколько от испуга и приосанившись, спешил засвидетельствовать свое глубочайшее почтение прибывшему генералу.

Вошел мелкорослый мужчина, погруженный в огромный парик, в лосиные перчатки и сапоги с раструбами до того, что из-под этих предметов едва заметен был человек.

– Здравствуйте, мои милые лифляндцы! Как можется? Каково поживаете? – произнес он, не сгибаясь и протягивая руку или, лучше сказать, перчатку встречавшим его низкими поклонами. – Все спокойно, все хорошо небось по милости нашего короля и нас? А?

Через нашего вестника вы именно слышали уже о новых победах его величества?

– Честь и слава ему на тысячелетия! – воскликнули два или три голоса, между тем как все молчали.

– Может быть, в эту самую минуту, как я с вами говорю, новый польский король на коленах принимает венец из рук победителя. Каково, *meine Kindchen!*[242] Надобно ожидать еще великих происшествий. Кто знает? Сегодня в Варшаве, завтра в Москве; сегодня Августа долой; завтра, может быть, ждет та же участь Алексеевича.

– Последний поупрямее и тяжел на подъем, – сказал кто-то из толпы. Генерал, казалось, не слышал этих слов: обратившись к медику Блументросту, ударил большою перчаткою по руке его и произнес ласково:

– А, мой любезный медикус! Довольны ли вы моею бумажкой? Ну, есть ли заказы? Вы меня понимаете? Я говорил о вас профессору анатомии в Пернове: да вот он сам здесь. – Потом, не дав Блументросту отвечать, продолжал, кивая Фюренгофу: – А, господин рингенский королек! к вам приехал племянничек,

женишок, молодец хоть куда, любимец его величества: все эти звания требуют... понимаете ли меня? (Здесь генерал показал двумя пальцами одной руки по ладони другой, будто считал деньги.) Мы люди военные; ржавчину счищаем мастерски со всякого металла. Ха-ха-ха! (На все эти приветствия Фюренгоф униженно кланялся.) А это что за урод? – спросил Шлиппенбах Фюренгофа на ухо, показывая огромным перстом на Зибенбюргера, небрежно раскинувшегося в креслах.

– А-а! ваше превосходительство... Гм!... это... а, а... как бы вам доложить, ваше превосходительство... – проговорил, запинаясь, рингенский барон, проклиная мысленно приятеля своего Никласона, поставившего его в такое затруднение особою Зибенбюргера.

– Вы крепки на все, – сказал маленький генерал, махнув своею огромной лосиной рукавицей, которая раструбами едва не зацепила за нос Фюренгофа; обратился к баронессе и спросил у ней вполголоса: – Скажите мне, маменька! откуда выкопали вы этого уродца?

– Ах, мой почтеннейший генерал-вахтмейстер! – отвечала баронесса. – Ради бога гово-

рите потише, чтобы не оскорбить этого великого человека. Барон Фюренгоф сделал мне честь привезти его ко мне.

– Гм! потом?

– Если б вы знали, что это за сокровище! Он доктор Падуанского университета, корреспондент разных принцев...

– Конечно, и шпион их.

– Физик...

– Не сомневаюсь.

– Математик...

– Когда марширует.

– Астролог...

– Может быть, подагрик и предугадывает погоду; наверно, еще и алхимист: без того не терся бы около него наш барон. Вернее всего, какой-нибудь шарлатан, который показывает истину не по-старинному, на дне кладезя, а на дне кошелька, ха-ха-ха! как ваш стригун, русский козел Андреас Дионисиус.

– Да, мой козел, – возразила баронесса с сердцем, но все-таки вполголоса, – проблеял мне вчера то, что вашему соловью шведскому никогда не удастся пропеть. Знайте... однако ж я вам не скажу этой тайны до тех пор, пока

вы не дадите мне честного слова довести до его величества мое усердие, мою неограниченную преданность, мои жертвы.

– Вы уже недоверчивы ко мне, милая мамаша? – сказал Шлиппенбах, нежно грозясь на нее огромным пальцем своей перчатки.

– Услуга так важна...

– Повинуюсь. Честное слово шведского офицера, что я исполню ваше желание.

– Теперь вы, наша армия, Лифляндия спасены! – сказала шепотом баронесса и пригласила было генерала в другую комнату, чтобы передать ему важную тайну; но когда он решительно объявил, что голова его ничего не варит при тощем желудке, тогда она присовокупила: – Будь по-вашему, только не кайтесь после. Между тем позвольте мне представить вам ученого путешественника. Господин доктор Зибенбюргер! господин генерал-вахтмейстер и главный начальник в Лифляндии желает иметь честь с вами ознакомиться.

Шлиппенбах, не вставая со стула, протянул было руку Красному носу; с своей стороны этот едва покачнулся телом вперед, кивнул и сказал равнодушно:

– Очень рад!

– Очень рад! – повторил Шлиппенбах голо-
сом оскорбленного самолюбия, привыкшего,
чтобы все падало перед ним, и неожиданно
пораженного неуважением иностранца. Опу-
стив руку, столь явно отвергнутую, он покрас-
нел до белка глаз и присовокупил насмешли-
во: – Вы едете, конечно, других посмотреть и
себя показать.

– Вы не ошиблись, – отвечал хладнокровно
Красный нос, – составляя не последний ориги-
нал в физическом и нравственном мире, я
люблю занимать собою исполинов в этом ми-
ре! люблю сам наблюдать их; но до мелких
уродцев мое внимание никогда не унижа-
лось.

– Господин доктор едет из Московии, – под-
хватила баронесса, желая облегчить путь пи-
люле, стоявшей в горле генерала. – Он был
несколько времени при дворе тамошнем и в
лагере Шереметева; видел и нашего приятеля
Паткуля, которого изобразил мне так живо,
как бы с ним никогда не расставался.

– Следственно, он присоединился там к по-
рядочному зверинцу, – сказал с горькой

усмешкой маленький генерал.

– Не полному! – возразил спокойно Красный нос. – Дорогою имею случай дополнять недостающие экземпляры.

Шлиппенбах опять принял посылку по адресу, надулся, как клещ, думал отвечать повоенному; но, рассудив, что не найдет своего счета с таким смелым словодуэлистом, у которого орудия не выбьешь из рук, и что неприлично было бы ему, генералу шведскому, унизиться до ссоры с неизвестным путешественником, отложил свое мщение до отъезда из Гельмета, старался принять веселый вид и спустил тон речи пониже:

– Так вы удостоились лицезрения Паткуля, господин доктор? Что вы о нем разумеете?

– Что я о нем разумею? На это отвечать трудно при шведском генерале, подданном государя, которого он враг, и среди общества лифляндских дворян, которых права он защищал – как слышно было – так горячо и так безрассудно.

– Горячо, может быть, – возразил кто-то из гостей твердым голосом, – но благородно и не безрассудно!

– Лифляндия должна гордиться таким патриотом, и кто думает противное, недостойн имени благородного сына ее, – присовокупил граф Л-д[243] (тот самый, который в царствование Екатерины I был ее любимым камергером и впоследствии времени, играя важную политическую роль в России, исходатайствовал своим соотечественникам права, за которые пострадал Паткуль).

– Кто смеет спорить с патриотизмом некоторых лифляндцев? – сказал насмешливо Шлиппенбах. – Надобно плотину слишком твердую, чтобы удержать разлив его, который, мне кажется, найдет скоро путь и в Московию.

– В этом случае, ваше превосходительство, крепко ошибаетесь, – сказал граф Л-д. – Между нами нет ни одного изменника своему государю: лифляндцы доказывали и доказывают ему преданность свою, проливая свою кровь, жертвуя имуществом и жизнью даже и тогда, когда отечество не видит в том для себя пользы. Не в Россию, а разве из России вторгнется к нам бурный поток, и, конечно, щепками вашего отряда не остановишь его и

погибели нашей!

– Новое, не слыханное доселе красноречие! Щепки! великие жертвы! бурный поток! погибель Лифляндии! Какие громкие имена, граф! Мне, право, смешно слышать их, особенно от вас, в разговоре о таком ничтожном предмете, каков Паткуль. Скоро и очень скоро избавим мы Лифляндию, этого великодушного пеликана[244], от великих, тяжких жертв ее, перенеся театр войны подальше от растерзанного шведами отечества вашего.

– Ничтожный предмет? Не думаю, – сказал граф Л-д.

– Может быть, я ошибаюсь в названии: ничтожный, это неприлично сказано об изменнике, переметчике, бунтовщике. (При этих словах Красный нос сильно повернулся на креслах.) Кажется, теперь настоящее имя ему приискано.

– Ваше превосходительство, назвав его порядочным именем, оскорбили бы верноподанных его величества, – сказал один из гостей.

– Ни дать ни взять, ваше превосходительство вылили его в настоящую форму, – приба-

вил другой, низко стибаясь.

– Приговор вашего превосходительства есть приговор потомства, – присовокупил третий, потирая себе ладони.

– Вот истинные сыны отечества! – воскликнул генерал.

– Гм! Низкие льстецы! – произнес громогласно Бир.

Шлиппенбах оглянулся, искал, кто это произнес; но дерптские студенты загородили библиотекаря.

Граф Л-д презрительно посмотрел на низкопоклонников и сказал:

– Я давеча наименовал уже этих господ, и пусть один из них осмелится когда-либо назваться при мне лифляндским дворянином. Еще могли б они сохранить благородное приличие хоть молчанием!.. Кто вынуждал, кто пытал у них собственный их позор? Преданность государю, скажут они. Преданность!.. Пускай доказывают они ее, идучи на смерть за него, и не боятся так же смело идти на смерть за истину! Клеветники и низкие люди всегда худые подданные, так же как и худые сыны отечества. И кто ж, в угодность

мелкой власти, называет презренными именами того, который пожертвовал собою для защиты их собственных прав, выгод, благосостояния? Не те ли самые, которые называли его некогда своим благодетелем, спасителем, вторым отцом? Едва не лобызали они тогда краев его одежды, едва не к божеству его причли и не ставили ему алтарей! А теперь, когда он для них не может идти в другой раз под плаху, теперь... Нет, я не могу быть с вами вместе; мне душно здесь! – Сказав это, граф Л-д взял шляпу, извинился перед баронессою и вышел; за ним последовало несколько дворян.

– Что скажете вы об этом, маменька? – спросил Шлиппенбах баронессу.

– Я враг Паткулю, не языком, а делом, – отвечала дипломатка. – Впрочем, вы знаете, что я люблю политические споры. Не из возмущенного ли моря выплывают самые драгоценные перлы? Ловите их, ловите, почтеннейший генерал, как я это делаю, и простите благородной откровенности моих соотечественников, этих добрых детей природы, любящих своего государя, право, не хуже шве-

дов.

– Прекрасно! – воскликнуло множество голосов. – Благодарим нашу защитницу.

Приметно было, что баронесса отдыхала на лаврах, между тем как маленькому генералу, повелителю Лифляндии, подсыпались со всех сторон тернии. Казалось, что при новом толчке, данном его самолюбию, он должен был разразиться на собеседников громовым ударом; напротив того, в нем оказался неожиданный перелом: с крошечного лба сбежали тучи, его обвивавшие; на лице проглянуло насмешливое удовольствие, и он, рукоплеская, примешал к восклицаниям собеседников и свое:

– Вот я это люблю, *meine Kindchen!* Спорьте всегда в любви и преданности к королю своему. Продолжайте, господа, анатомировать Паткуля, который нам многим сделал глубокие операции; но между тем не забудьте, маменька, что для нас, солдат, есть лагерные часы обедать, выпить рюмку и спать. За кем далее черед? Да, что скажет нам почтеннейший мариенбургский патриарх?

Проговорив это, Шлиппенбах прислонился

затылком к высокому задку стула, воткнул стоймя огромную перчатку в широкие раструбы своего сапога, как бы делал ее вместо себя соглядатаем и судьей беседы, сщурил глаза, будто собирался дремать, взглянул караульным полуглазом на Фюренгофа и Красного носа, захохотал вдруг, подозвал к себе рукою Адольфа и шепнул ему на ухо:

– Дядя ваш обманут: он привез к нам шпиона. Не правда ли, – продолжал генерал вслух, – дядя ваш не догадался, что он потерял свою перчатку, именно правую?..

Фюренгоф засуетился было искать свою перчатку, но повелитель Лифляндии дал ему знак, чтобы он оставался на своем месте, и, зевая, сказал Глику:

– Мы ждем вашего голоса.

Пастор, который по первому вызову успел только поправить на себе парик, выпрямиться и кашлянуть, по второму вызову произнес довольно протяжно:

– Хотя позднеенько меня спрашивают, может быть, тогда, когда все голоса собраны, когда кормчие разговора довели его до Геркулесовых столпов, да не посмеет никто идти да-

лее; однако ж дерзнем на челноке наших понятий пуститься хоть по водам, обозренным моими высокопочтенными собеседниками. Igitur[245], скажу об Иогане Рейнгольде Паткуле, лифляндце родом, сердцем и делами, бывшем изгнаннике, ныне генерал-кригс-комиссаре московитского монарха, гения-творца своего государства, вождя своего народа ко храму просвещения – вождя, прибавить надобно, шествующего стопами Гомеровых героев.

– Хватающегося за все и ничего не совершившего, – сказала баронесса.

Катерина Рабе, услышав из другой комнаты тонким своим слухом, что воспитатель ее говорит о московитском царе, привстала со стула, подошла на цыпочках ближе к разговаривавшим и низала на сердце каждое слово, сказанное о Петре.

– Неправда! – возразил пастор, одушевленный необыкновенным восторгом. – Он много, очень много сотворил. У Алексеевича нет колеблющихся начинаний, нет попыток: мысль его есть уже исполнение; она верна, как взгляд стрелка, не знавшего никогда промаха.

Стоит ему завидеть цель, и, как бы далека ни была, она достигнута. Другие садят желудь и ждут с нетерпением годы, чтобы дуб вырос: он из чужих пределов могучею рукой исторгает вековые дубы, глубоко врывает на почве благословенной, и дубы вековые быстро принимаются и готовы осенить Московию.

– Придет молодой шведский завоеватель, – перебила опять баронесса, – несколькими ударами грозного меча обсечет ветви великого дерева московитского, и что от него тогда останется? Безобразный столб для смеха проходящих!

– Я сказал, высокородная госпожа баронесса, я сказал, что древо просвещения посажено не руками мальчишек-верхоглядов, а врыто глубоко в землю рукою могучею. Отсеките ветви, срубите самый ствол, появятся через несколько времени отпрыски, которые некогда будут также дубы. Поверьте мне, на исполнском твердом пути Алексеевича ничто его не остановит. Скорее не ручаюсь, чтобы пылкий, воинственный дух молодого героя, всемилостивейшего нашего государя и господина, – но дело не в том – не ручаюсь, говорю я,

чтобы дух этот не занес шведского Ахиллеса [246] в ошибки невозвратимые, которые послужат к большему величию Петра. Впрочем, да не оскорбится верноподданнический слух вашего превосходительства и ваш, господа высокоименитые лифляндцы и шведы, если скажу вам по чувству истины: пылкость характера не есть добродетель в царях; она скорее в них погрешность. Обдуманная твердость, ничего не начинающая без цели, никогда не полагающаяся на счастье, одним словом, Минерва в полном вооружении – прошу заметить, в полном... – вот что составляет истинное достоинство государей и благоденствие вверенных им народов. А твердостью такую московитский государь обладает в высшей степени. Еще осмелюсь прибавить... присокупить, кстати или некстати... в последнем случае, вы меня извините... нигде не покидает Карла мысль о славе, для которой он, кажется... мнится мне... так мне сдается... готов все забыть; нигде не покидает Алексеевича мысль о благе отечества. Алексеевич в Вене, в Стокгольме, в Париже будет всегда близок своего народа. Отважный Карл, занеся но-

гу в Московию...

– Дело не в том, отец Плиний из Веттина! [247] – перебил Шлиппенбах, потягиваясь и передразнивая пастора в любимой его поговорке, – дело не о вашем возлюбленном Алексеевиче, которого новый толчок шведским прикладом, сакрамент, подобный нарвскому, отобьет от кукольных его затей. Мы спрашивали вашего мнения насчет беглеца Паткуля.

– Виноват, господин генерал-вахтмейстер! виноват, я несколько отдалился от заданной темы. Что касается до высокоименитого Иогана Рейнгольда Паткуля, то я должен предупредить о следующем. Знаменитые юристы гальские, в том числе сам Христиан Томазиус [248], это солнце правоведения, и, наконец, лейпцигская судебная палата решили до меня чудесный казус, постигший именованную особу, то есть: имел ли право верноподданный его величества желать сохранить себе жизнь и честь, отнимаемые у него высшим приговором, и предложить свое служение другому государю и стране? был ли приговор шведского суда справедлив и прочее? Галь, Лейпциг, Томазиус решительно оправдали

его на немецком и латинском языках в известной дедукции, изданной in quarto[249] прошлого, тысяча семьсот первого года февраля пятнадцатого дня. После того мы, сидящие на последней ступени храма Фемидина [250], какое посмеем сделать определение? Разве примолвим: головы, подобные Паткулевой, надо государям беречь, а не рубить. Правда, нелишним будет еще упомянуть, что в пятом и восьмом пунктах известного адреса он не имел аттенции к юриспруденции, и сожалеть надо, что он не посоветовался с людьми знающими. Вот, например, если позволите, я докажу из конспекта моего...

Здесь пастор вынул из бокового кармана тетрадь в золотой обложке и хотел было почерпнуть в ней свидетельство доводам своим; но генерал, махнув повелительно рукою, сказал:

– До другого времени, отец-юриспрудент и оратор из Веттина! Сакрамент, маменька, лагерный час обеда пробил!

– До обеда я имею еще важное дело вам передать, – возразила баронесса, – оно касается, как я сказала давеча...

– Прошу уволить, высокопочтенная баронесса! – перебил генерал. – Мы поедим, попьем, поспим и тогда примемся за важные дела. Но если для лучшего аппетита необходимо привести в движение механизм языков, то попытаемся заставить говорить вашего почтенного свата. Гм! например, господин барон Фюренгоф, что бы вы, добрый лифляндец и верноподданный его величества, что бы вы сделали, встретив изменника Паткуля (генерал посмотрел на Красного носа) в таком месте, где бы он мог быть пойман и предан в руки правосудия?

На вопрос Шлиппенбаха язык Фюренгофа прозвучал подобно колокольчику, сжатому посторонним телом:

– А-а, господа!.. что до меня... то я, конечно... вы знаете мою преданность его величеству... но я не знаю, известно ли вашему превосходительству, что он... хотя... но он...

– Кто он? – спросил резко Шлиппенбах.

– Как доложить вашему превосходительству, не смею...

– Вы, дядюшка, хотите сказать, что Паткуль ваш родственник, – подхватил Адольф, –

и не имеете духа выговорить это.

– А-а, Адольф, любезный друг, так же как и тебе; но ты знаешь, что я плохой оратор, и ты помог бы мне, когда бы объявил свое мнение, свои чувства.

– Вы меня вызываете к ответу, и я дам его, – сказал с твердостью Адольф. – Солдатский ответ короток. Если я, как рядовой воин шведской армии, встречу Паткуля посреди неприятелей, то не пощажу о него благородной стали. Уничтожить жесточайшего врага моего законного государя почти тогда особенно для себя честью. Но, – прибавил Траутфеттер с особенным чувством, – если б я нашел его беззащитным, укрывающимся в отечестве, где бы ни было, то я пал бы на грудь моего благодетеля и второго отца, оросил бы ее слезами благодарности, и горе тому, кто осмелился бы наложить на него руку свою!

– Зараза везде проникла! – воскликнул со вздохом Шлиппенбах. – Тяжкие, горькие времена!

– Благородный молодой человек! – сказал в то же время Зибенбюргер со слезами на глазах. – Кто в эти минуты не желал бы быть

Паткулем, чтобы обнять вас? Жаль, что возвращаюсь из Московии, а не еду в нее; а то с каким удовольствием рассказал бы я ему, что он имеет еще в Лифляндии соотечественников, друзей и родного.

Все с каким-то недоумением обратили взоры на путешественника, принимавшего такое живое участие в родственных и гражданских связях Паткуля.

– Что ж? можно, не ехавши в Московию, видеться с генералом московитским, – сказал значительным голосом Шлиппенбах, коварно посматривая на Красного носа. – Говорят, что он здесь...

– Как здесь? – спросил Адольф, изменившись в лице.

Фюренгоф при этих словах был ни жив ни мертв; колена его ходили туда и сюда. Он колебался уже открыть генералу тайну своего спутника и представить его живьем; но Паткуля спасло новое восклицание Шлиппенбаха.

– Да, он скрывается в Лифляндии, – отвечал с таинственным видом генерал, – однако ж, несмотря, что ученые шпионы его следят

меня даже на празднике моих знакомых, надеюсь скоро дойти до логовища этого красного зверя.

Баронесса перемигнулась с Зибенбюргером и сказала таинственным голосом:

– У кого есть верный маршрут, сделанный по некоторому астрологическому наведению, до некоторой резиденции в глуши лесной... не правда ли, господин доктор... тот может не надеяться, а исполнить?

– Увидим, увидим, кому скорее удастся, – воскликнул Шлиппенбах, – а для приступа к нашим поискам...

Красный нос подошел к открытому окну, и почти в тот же миг раздалось на дворе среди шума народного:

– Генерал, господин генерал-вахтмейстер! ради бога! дело важное имею до тебя.

На этот возглас Шлиппенбах бросился на террасу; гости вылились за ним. Баронесса, приметно смешавшись, искала около себя Никласзона; но верного ее секретаря давно не было не только в доме, даже в Гельмете; он умел заранее убраться от опасности. Дипломатка догадывалась, что не кто иной взывает

к генералу, как преданный ему швед, Вольдемар из Выборга. Сведения о скором выходе русских из лагеря, благодарность Пипера, милостивое внимание самого государя – все похищено у ней в одну минуту. Пользуясь общою суматохою, произведенною любопытством, Адольф бросился к Зибенбюргеру, схватил его за руку, отозвал в другую комнату и торопливо сказал ему вполголоса:

– Вы Паткуль! Голос второго отца, при первом его звуке, отозвался в моем сердце. Бегите, за вами примечают. Фюренгофу сделают допрос, и вы пропали. Кто знает? через несколько минут я только шведский подданный!

Выговоря это, Адольф бросился назад и смешался с толпою на террасе. Зибенбюргер, или Паткуль (читатели, вероятно, давно догадались, что это одно и то же лицо), имел только время пожать руку Адольфу, пробрался через внутренние комнаты и задним крыльцом в сад. Тут он услышал в кустах тихий голос:

– Ау, ау, Красный нос!

Он пренебрег этим насмешливым зовом, углубился в сад; но, забыв расположение его,

ошибся дорогами, отбился к северной стороне, воротился и опять пришел к дому. На дворе была необыкновенная тревога. Не думая долго, побежал он прямо на восточную сторону, но тут заградил ему путь крутой овраг.

– Боже! я пропал! – воскликнул он.

– Ау, ау, Красный нос! – опять раздалось около него.

– Леший ли ты или человек, волею или неволею, ты проведешь меня к восточной калитке, – закричал Паткуль, вынул шпагу из ножен и устремился на куст, откуда слышался голос.

– За мною, я твой проводник! – сказал кто-то, выпрыгнув из куста, как заяц. Это был рыжеволосый мальчик, Мартышка.

Паткуль, по сделанному ему описанию, тотчас узнал племянника Фрицева, вздохнул свободнее и ухватился за Ариаднину нить [251], ему так кстати предлагаемую. Мартышка, махая ему рукой, указывал путь между деревьями и кустами, по камням через ручей Тарваст и мигом довел его до восточной калитки. У ней с нетерпением и страхом дожидался верный служитель его, Фриц, держа

двух оседланных бойких лошадей, лучших, какие были когда-либо на конюшне баронессинной.

– Слава богу, вы здесь и спасены! – сказал верный служитель, помогая Паткулю садиться на лошадь.

– Я отмщен, добрый мой Фриц, и месть моя откликнется в сердце Карла. С меня довольно! – отвечал Рейнгольд, вынул из кармана лоскут бумаги и, написав что-то на ней, вручил ее рыжеволосому вместе с крупной серебряною монетою. Забыть наградить ею было бы опасно: месть неминуемо последовала бы за этим забвением.

Маленькому проводнику поручено отдать эту бумагу генералу Шлиппенбаху, – шпоры вонзены в бока лошадей – и скоро перелески к стороне Пекгофа скрыли Паткуля и его конюшего, кончившего уже свою роль в Гельмете. Через минуты две, три всякая погоня за ними была бы напрасна.

Обратимся к террасе.

– Вольдемар, Вольдемар, чего ты хочешь от меня? – кричал генерал-вахтмейстер гуслисту, который, продираясь сквозь толпу, выби-

вался вместе с тем из рук двух дюжих служителей, его удерживавших.

– Генерал, меня не допускают до тебя! – вопил умоляющим голосом Вольдемар.

– Мошенники! плуты! – продолжал кричать Шлиппенбах. – Отпустите его, или я велю повесить вас на первом гелметском дереве!

Угрозы генерала немедленно подействовали, как удар из ружья над ястребами, делящими свою добычу; освобожденный пленник прорезал волны народные и взбежал на террасу. Величаво, пламенными глазами посмотрел он вокруг себя; тряся головой, закинул назад черные кудри, иронически усмехнулся (в этой усмешке, во всей наружности его боролись благородные чувства с притворством) и сказал Шлиппенбаху:

– С того времени, как ты приехал, ищущий к тебе пробраться, но меня не допускали до тебя по чьему-то приказанию. Ты ничего не знаешь. Русские в Сагнице.

Слова эти разлились по толпе, окружавшей генерал-вахтмейстера, подобно электричеству громового удара; многие смотрели

друг на друга и, слыша беду, уж оглушенные уведомлением о ней, еще ей не верили.

– Русские в Сагнице? – вскричал Шлиппенбах. – Что ты говоришь, несчастный? Если ты сказал мне неправду, то завтра ж велю тебя повесить на первом дереве.

– Нет, не отдам я костей своих здешним воронам. Лежать им на стороне другой! – возразил Вольдемар, одушевленный необыкновенным чувством. Грудь его сильно волновалась. – Говорю тебе: русские в Сагнице. Того и жди гонца с этим известием; но помни, что я первый принес его тебе.

Генерал, нахмурившись, позвал вестника за собой в ближайшую комнату и сделал знак рукою, чтобы никто за ним не следовал. Недолго продолжалась потаенная беседа. Когда он показался вновь обществу, маленькое, сухощавое лицо его, казалось, вытянулось на целую половину; однако ж, стараясь призвать на него спокойствие, он сказал собравшимся около него и выжидавшим его слов, как решения оракула:

– Мой добрый швед пересолил своим усердием. При проверке выходит, что татары взду-

мали похрабриться и выползли из своего нейгаузенского разбойнического притона. Шереметев только что собирается надеть львиную кожу! Впрочем, удивляюсь, почему не допускали до меня верного моего шведа.

Сказав это, Шлиппенбах повел мышачьими глазами своими вокруг себя и, не найдя Красного носа, приказал нескольким дюжим офицерам открыть его в доме во что бы ни стало. Досада его была ужасная, когда ему доложили, что ученый путешественник скрылся внезапно невидимкою, вероятно помощью волшебства. Сделан был допрос Фюренгофу. На этот раз рингенский барон, рассчитав так верно, как свои проценты, что приближением русских исполняются обещания нового его патрона, обладая уже драгоценным охранным листом и надеясь впредь великих и богатых милостей от родственника своего, генерал-кригскомиссара московитского государя, укрепился духом против девятого вала, на него хлынувшего. Приосанившись, он отвечал с твердостью, что если, паче всякого чаяния, был он обманут сведениями, доставленными ему из Лейпцига, о господине Зибен-

бюргере, то не считает себя ни в чем виноватым; но что, впрочем, его превосходительство сам мог ошибиться в ученом путешественнике, принимая его за шпиона Паткулева; он же, с своей стороны, видел в нем любезного и умного собеседника, неприятного только для тех, которые не любят истины и близоруки. Что ж касается до внезапного отъезда Зибенбюргера, то Фюренгоф приписывал его разным оскорблениям, будто бы ему сделанным.

Баронесса, обиженная требованиями от нее отчета в ее поступках, решительно заступилась за рингенского барона. Таким образом, в общей перебранке отыгрался Фюренгоф и поспешил было заранее уплестись из Гельмета, над которым стояла такая грозная туча; но, вспомнив, что он лишился на поле битвы перчатки, воротился искать ее. Адольф заметил это: дал ему свою пару новых перчаток и едва не вытолкнул его из дому.

Через несколько минут Мартышка, пользуясь приказом впускать к генералу всех, кому нужно было с ним переговорить, подал ему записку следующего содержания:

«Господин генерал-вахтмейстер швед-

ский! благодарю вас: вы дали мне случай поторжествовать именем покорного вашего слуги над вами и королем шведским. Поблагодарите от меня и хозяйку Гельмета, почтеннейшую дипломатку двора шведского, за лестный прием, мне оказанный и мною неожиданный. Ласки ее так обольстили меня, что я назначаю у ней мою главную квартиру на двадцать девятое и тридцатое нынешнего месяца. Что ж касается до ваших мне личных оскорблений, то мы сочтемся в них завтра на чистом поле.

Генерал-кригскомиссар его царского величества

И. Рейнгольд Паткуль.

Писано в Гельмете 16/28 июля 1702».

Шлиппенбах, прочтя эту записку, едва не заскрежетал зубами, подал ее неучтиво баронессе и примолвил иронически:

– Плоды вашей дипломатики!

Баронесса, в свою очередь читая сладкое послание, изменялась беспрестанно в лице: то белела, как полотно, то краснела, как сукно алое. Но, скоро оправившись от первого впечатления, она разодрала записку в мелкие

лоскутки и произнесла с гордостью и твердо:

– Плоды вашей беспечности, вашей лени, господин генерал-вахтмейстер! Вы проспали мои заботы и надежды и ваше доброе имя. Дело важное, которое я хотела вам втайне передать, есть известие, сообщенное вам верным вашим шведом: может быть, слаще было вам услышать это известие при свидетелях. Впрочем, величие души познается в трудных обстоятельствах. Кто не умеет поставить себя выше своего состояния, тот недостойн быть даже – женщиною! Амтман! – продолжала она, обратившись к своему управителю. – Поставь перед въездом в Гельмет виселицу и прибей к ней вывеску с надписью крупными буквами: *«Главная квартира Иогана Рейнгольда Паткуля»*. Через час приди получить от меня новые приказания. Если достанется когда Гельмет москвитам, то он достанется им дорого: пусть помнят они, что госпожа его – лифляндка Зегевольд. Народу позволь веселиться, сколько хочет: завтра мы употребим его в дело.

С последним словом она важно поклонилась обществу и тихими, твердыми шагами

выступила в другие комнаты.

– Кто дал тебе эту бумажку? – спросил генерал рыжего мальчика, трясаясь от гнева.

Огненный низко поклонился, почесал себе голову, утер нос рукавом кафтана и сказал, протяжно выговаривая слова:

– Какой-то господин с большим носом, будто клевал все черешню. Он сажился у ворот на лошадку, ну вот, ведать, на вороненькую, белоножку, с господской конюшни, что грива такая большая, как у тебя на голове.

– Говори дело, дурак!

– Вот уж и дурак! Хе-хе-хе... тли... Красный нос сидел браво на лошадке, как деревянный солдат, дал мне грамотку и сказал: отнеси, умница, эту грамотку маленькому дурному офицеру, которого хуже нет, в больших сапогах и в больших рукавицах, и попроси с него за работу.

– Подожди, я дам!.. потом?

– Потом я все искал маленького дурного офицера в больших сапогах и в больших рукавицах, нашел тебя... тли... Господин пригожий, пожалуй за работу.

– Из ада, что ли, ты, бесенок, вынырнул

ныне с другими бесами? – закричал генерал, топая маленькими ногами в больших сапогах. – В которую сторону поехал Красный нос?

– Я... не виноват, господин хороший... я вот сейчас тебе скажу. Кажется, как бы тебе не солгать... да, он поскакал прямо на Оверлак, ну, туда, где живет офицер, что уморил было барышню... тли... – Тут мальчик, играя шпагою стоявшего возле него офицера, запел жалобно:

*Горько, горько пела пташечка,
Сизобокая синичка...*

Шлиппенбах отдал приказания пуститься в погоню за Красным носом (настоящего имени его он не открывал) и собрал около себя военный совет; между тем Мартышка продолжал распевать:

*Ты сходи, послушь, сестрица,
Что за песенку поет
Сизобокая синица.
Ах! поет синичка песню:
Братец, тебе на войну!*

– Братец, тебе на войну! – повторил он, прихлипывая и кивая генералу; как вьюн,

проскользнул между слушателями своими и скрылся; только на дворе слышно было еще, как он распевал:

*Курляндцы вялые ребята,
Все крадутся ползком в кустах.
Лифляндцы молодцы стрелять;
Подстрелили раз курляндца,
За ворону принимая.
Ха-ха-ха! ха-ха-ха!*

В военном совете, после многих разногласий, едва было решено собрать шведские войска при Гуммельсгофе и дать там отпор набегу русских, когда к гельметскому двору приискал шведский офицер, так сказать, на шпорах и шпаге, ибо измученное животное, в котором он еще возбуждал ими жизнь, пало, лишь только он успел слезть с него. Случай этот принят был за худое предвестие для шведов. Гонец подтвердил слова Вольдемара.

Надо было видеть суматоху, произведенную между гостями, слугами их и жителями Гельмета известием о приближении русских.

– Лошадь такого-то! Карету такого-то! одноколку! колымагу! – кричали все в разные голоса.

Кучера толкали друг друга, второпях брались за чужих лошадей; лошади были расседланы, подпруги и уздечки порваны у иных, у других постромки экипажей подрезаны, сбруя разбросана и перемешана. Госпожи ахали, метались в разные стороны, плакали, ломали себе руки (падать в обморок было некогда); господа сами бегали в конюшни и по задним дворам, чтобы помочь служителям оседлать лошадей, выгородить экипажи и сделать разные низкие работы, за которые, в другое время, не взяли бы тысячей.

Медик Блументрост, до этого времени тщателью отдалявшийся от знакомства с мариенбургским пастором, предложил ему теперь свой экипаж, который, по стечению благоприятных обстоятельств, стоял у самой террасы во всей готовности. За неимением лучшего способа перенестись в Мариенбург предложение медика, этого соседа *Долины мертвецов*, было принято с удовольствием. Луиза и Катерина Рабе, прощаясь, плакали, как дети.

— Кто знает, — говорили они, — когда мы увидимся?.. Может быть, никогда!

Пастор поставил уже ногу на подножку

экипажа, чтобы сесть в него; но, подумав, что баронесса чертит, может быть, план защиты Гельмета, приложил палец ко лбу, спустил ногу и воротился назад, чтобы подать дипломатке свои советы. Но так как она не приняла его и приказала ему сказать, что умеет обойтись без советников, то Глик решился отомстить ей немедленным отъездом.

Наконец Гельмет опустел, и представителями великого праздника, которым хотели удивить всю Лифляндию, остались одни пьяные латыши.

– Госпожа позволила нам веселиться, – кричали они, – после того не боимся не только московитов, самого черта!

Куда девались Вольдемар и слепец? Преданный генерал-вахтмейстеру швед поскакал вслед за ним, а товарищ его нашел приют, как обещано было, в комнате Адама Бира.

До свидания в будущей части, друзья мои! Праздник баронессин меня так замучил, что я – насилу досказал.

Конец второй части

Примечания

1

Гермейстер – глава рыцарских орденов меченосцев и Тевтонского в Ливонии (нем.).

[^^^]

Густав-Адольф (Густав II Адольф; 1592–1632) – шведский король; во время господства Швеции в Прибалтике способствовал ее просвещению, создал университет в Дерпте, пользовался симпатиями лифляндского дворянства.

[^^^]

Христина, шведская королева (1632–1654), блестяще образованная женщина, изучившая семь языков. Для современников многое в ее жизни было загадочным: переход из лютеранства в католичество и отречение от короны в молодом еще возрасте в пользу двоюродного брата Карла XI. После отречения от короны Христина жила в основном в Италии, покровительствуя художникам и ученым.

[^^^]

4

Редукция – изъятие дворянских имений в Лифляндии, проводившееся шведским правительством с 1655 г., но затянувшееся из-за непрерывных войн до конца 1670–1680 гг.

[^^^]

5

Миротворец Европы – Александр I.

[^^^]

6

Редукция и ликвидация имений – изъятие у феодальной лифляндской аристократии правительством шведского короля Карла XI перешедших в ее руки государственных земель.

[^^^]

7

Перун – у восточных славян бог грома и молнии, бог земледелия, податель дождя.

[^^^]

Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660–1707) – лифляндский дворянин, возглавивший в 1689–1694 гг. движение за восстановление прав и привилегий местного дворянства и отмену редукации.

[^^^]

Ему было с небольшим двадцать лет.

[^^^]

Бельт – Балтийское море; Большой и Малый Бельт – название проливов, ведущих в Балтийское море.

[^^^]

В 1692 г. лифляндское дворянство избрало комиссию в составе четырех человек для защиты интересов Лифляндии перед шведским королем. В эту комиссию входил Паткуль, он же написал прошение шведскому королю об отмене редукации.

[^^^]

Грамота царя Иоанна Васильевича к Ягану,
королю Свейскому. 1573/7081 января 6/18.
Смотри Древнюю Вивлиофику.

[^^^]

Сражение при Эрестфере (местечко близ Дерпта), в котором шведские войска потерпели поражение 29 декабря 1701 г., имело грандиозный моральный эффект.

[^^^]

То есть Карла XII: Лажечников намекает на шведский герб, изображавший льва с короной на голове.

[^^^]

Автор сопоставляет Шереметева с полководцами, прославившимися осторожностью и осмотрительностью. Фабий Максим Квинт (ум. в 203 г. до н. э.) – римский полководец, за его излюбленный тактический прием изматывания противника прозванный современниками Кунктатором (Медлителем).

[^^^]

Август II Сильный – курфюрст саксонский и польский король (1697–1706 и 1709–1733), союзник Петра I в Северной войне. Разбитый Карлом XII, Август отрекся от короны, но в 1709 г. был вновь восстановлен на польском престоле Петром I.

[^^^]

Генерал-вахтмейстер – один из высших воинских чинов шведской армии.

[^^^]

Палладиум – оплот, щит, защита (лат.).

[^^^]

Автор имеет в виду вторую жену Петра I – будущую императрицу Екатерину I (1684–1727), принимавшую участие в Прутском походе 1711 г. По сообщению ряда историков, она подкупила великого визиря, отдав ему свои драгоценности, и тем самым способствовала заключению необходимого для России мирного договора с турецким султаном.

[^^^]

Мариенбург – по-латышки Алуксне.

[^^^]

Верровский уезд с главным городом Верро
(ныне – Выру).

[^^^]

Империял (фр.) – верх дорожной кареты с местами для пассажиров.

[^^^]

Синий мундир – форма шведских войск.

[^^^]

Цейгмейстер (цейхмейстер) – военный офицерский чин в артиллерии (нем.).

[^^^]

Рейтар – кавалерист. Полки рейтар были учреждены в России со второй четверти XVII в. и просуществовали до военной реформы Петра I. В рейтарах служили мелкие дворяне; личный состав рейтарских полков на одну треть состоял из иностранцев.

[^^^]

Черт возьми (от нем. Donnerwetter).

[^^^]

Глику, вместе с рижским суперинтендентом Фишером, обязана Лифляндия переводом Библии на латышский, начатым в 1680 г. и конченным в восемь лет.

[^^^]

Фискальный судья, фискал – в петровское время название прокурора, стряпчего.

[^^^]

Минерва – римская богиня мудрости (миф.).

[^^^]

Амтман – управляющий именем; начальник округа; вообще должностное лицо (нем.).

[^^^]

Так величали себя прежде лифляндские дворяне; Карл XI им это запретил.

Отцы отечества, защитники справедливости! (лат.)

[^^^]

В Лифляндии места имеют иногда по три и четыре названия: немецкое, латышское, чухонское и русское.

[^^^]

И доныне показывают на этом болоте три камня, под которыми лежит прах русских витязей. Гуммельсгофские крестьяне водили меня на место, где будто бы похоронен какой-то римский рыцарь.

[^^^]

Купидон – бог любви у римлян, то же, что и Амур; у греков – Эрот (Эрос).

[^^^]

Бедуин – араб-кочевник.

[^^^]

Грации – богини красоты в Древнем Риме, то же, что Хариты в Греции.

[^^^]

Ювенал – римский сатирик – обличитель пороков (род. в 60-х гг., ум. после 127 г.).

[^^^]

Пуффендорф Самуил (Пуфендорф Самуэль)
(1632–1694) – знаменитый немецкий юрист и историк.

[^^^]

Планисферия – название старинного прибора для решения задач о времени восхода и захода светил, их долготы и высоты и т. д.

[^^^]

Шведский лев – имеется в виду шведский король Карл XII (на гербе Швеции – изображение льва).

[^^^]

Квинт Курций – римский историк (I в. н. э.).

[^^^]

Эзоп – полулегендарный древнегреческий баснописец VI–V вв. до н. э., родом из Фригии, вольноотпущенник.

[^^^]

Знаменитую школу (лат.).

[^^^]

Ландкарта – географическая карта (нем.).

[^^^]

Аргенида – героиня одноименного романа английского писателя Джона Баркляя (1582–1621).

[^^^]

Глик (Глюк, Эрнст) – пастор, ученый-филолог
(род. в 1652 или 1655 г., ум. в 1705 г.).

[^^^]

Кант (от кантата) – музыкальное произведение, торжественное по своему характеру; исполнялось певцами-солистами, а также хором в сопровождении оркестра.

[^^^]

Ликург – легендарный законодатель Спарты, по преданию живший в IX в. до н. э.

[^^^]

Солон – знаменитый афинский мудрец, законодатель и поэт.

[^^^]

50

Мессия – помазанник, обещанный Библией;
искупитель.

[^^^]

Катерина Рабе. – Так называют в романе Мар-
ту Скавронскую, ставшую впоследствии же-
ной Петра I, а после его смерти – императри-
цей Екатериной I (1725–1727).

[^^^]

Вестготландия – область в Швеции.

[^^^]

Мегера – олицетворение гнева и мстительности (греч. миф.). В переносном смысле: злая, сварливая женщина.

[^^^]

Автор подразумевает Амура, невидимого супруга Душеньки, героини одноименной повести в стихах И. Ф. Богдановича (1743–1803), в основу которой был положен миф о любви Психеи и Амура.

[^^^]

55

Толцѣте, и отверзетсѣ – стучите, и откроетсѣ
(старослав.).

[^^^]

Имеется в виду библейское предание о злом духе, давшем вкусить первой женщине Еве яблоко с древа познания добра и зла.

[^^^]

Аквилон – северный, северо-восточный ветер
(лат.).

[^^^]

Оракул – прорицатель воли божества у древних греков.

[^^^]

Епанча – длинный, широкий плащ; короткая
суконная накидка у военных, введенная Пет-
ром I.

[^^^]

Ватман – грубое латышского изделия сукно.

[^^^]

Швейцары – здесь: швейцарцы.

[^^^]

Куверт – здесь: конверт.

[^^^]

Чушка – кожаная кобура для пистолета, прикрепляемая к передней луке седла.

[^^^]

Сарра и Ревекка – имена женщин, прародительниц древнееврейских родов в Библии.

[^^^]

Фортеция (лат.) – крепость.

[^^^]

Векша – белка.

[^^^]

«Потерянный рай» – знаменитая поэма английского поэта и общественного деятеля Джона Мильтона (1608–1674).

[^^^]

Персть (церковнослав.) – прах, пыль.

[^^^]

Трабанты (драбанты) – телохранители.

[^^^]

Фузеи – кольца.

[^^^]

Кокля – музыкальный инструмент, бывший в употреблении у лифляндцев в древние времена.

[^^^]

Его преосвященство (ит.).

[^^^]

Багульник – очень горькое и вредное растение: *ledum palustre*. См. *Etat de la Livonie, par le C. de Bray* («Государство Ливонии» де Брейя).

[^^^]

Без подготовки, импровизированную (лат.).

[^^^]

Диверсия – военный маневр, применяемый для отвлечения противника.

[^^^]

Буцефал – дикий конь, укрощенный Александром Македонским и служивший ему. Вообще – необъезженная норовистая лошадь.

[^^^]

Посессор – владетель, обладатель (фр.).

[^^^]

Княжнин Яков Борисович (1742–1791) – известный русский драматург екатерининского времени.

[^^^]

1265 года.

[^^^]

1472 года.

[^^^]

1502 года.

[^^^]

1562 года.

[^^^]

Гельмет находится от Дерпта к юго-западу в шестидесяти пяти верстах; поворот на него с Рижской дороги от Рингена или, проехав от станции Куйкац, несколько верст вправо. Последняя дорога тем приятнее, что на перепутье находится Пекгоф, где среди мрачного леса сооружен великолепный памятник фельд-маршалу Барклаю де Толли.

[^^^]

Аркадия – область в Греции, изображавшаяся с древнейших времен в поэтических произведениях как идиллическая страна патриархальной простоты и мирного процветания счастливых пастухов и пастушек.

[^^^]

Эдем – рай (евр. миф.). Едемский (эдемский) – райский.

[^^^]

Лоррен Клод (1600–1682) – французский живописец-пейзажист.

[^^^]

Родонаследственным.

[^^^]

Фортуна – римская богиня счастья, случая и удачи.

[^^^]

Речь идет об Анне Иоанновне Монс (?—1714), дочери мастера в Немецкой слободе под Москвою, фаворитке Петра I.

[^^^]

Графиня Кенигсмарк (Мария Аврора; 1668–1728) – любовница польского короля Августа II. В 1702 г. она ездила в главную квартиру Карла XII в Курляндию с рядом дипломатических поручений от Августа.

[^^^]

Денисов Андрей (1674–1730) – глава раскола в петровское время, основатель крупнейшей старообрядческой общины в Олонецком крае.

[^^^]

Ересиарх – основатель или глава ереси, то есть расхождения с господствующей церковью.

[^^^]

Выгорецкий скит, или Выговская пустынь – известная старообрядческая община на реке Выге в Заонежье, основанная в 1695 г. А. Денисовым и просуществовавшая около 160 лет.

[^^^]

Общества раскольничьи.

[^^^]

Не исполняющие в точности правил старо-
верческих.

[^^^]

Смотри «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках», изданное протоиереем Андреем Иоанновым, 1799, стр. 115.

[^^^]

Как у королевы Швеции (фр.).

[^^^]

Баторий Стефан (1533–1586) – польский король.

[^^^]

Ростовые обороты – дача денег под проценты.

[^^^]

Мирт – южное вечнозеленое дерево или кустарник с душистыми белыми цветами. Мирт считался посвященным богине Венере.

[^^^]

Гименей – бог бракосочетания (греч. миф.).

[^^^]

Плутус (Плутос) – бог богатства (греч. миф.).

[^^^]

Фрейлиной (фр.).

[^^^]

Панегирик – в Древней Греции похвальное слово; позже – неумеренная восторженная похвала (греч.).

[^^^]

Магистр – глава рыцарского ордена.

[^^^]

Кoadъютор – помощник епископа.

[^^^]

Кабалистика (каббалистика) – от древнеевропейского слова – предание; религиозное объяснение мира с помощью символического толкования священных текстов.

[^^^]

Монтезума (Монтецума) – вождь ацтеков, возглавлявших союз индейских племен, населявших территорию Мексики. Сожжен испанскими колонизаторами в 1520 г.

[^^^]

Эпикур (341–270 до н. э.) – греческий философ-материалист, борец против религиозных суеверий.

[^^^]

Зенон – греческий философ (V в. до н. э.).

[^^^]

Набоб (от арабского слова на'иб – наместник) – в Индии титул правителя областей, отколовшихся от империи Великих Моголов. В XVIII в. набобами называли вернувшихся в Англию разбогатевших высших служащих Ост-Индской компании.

[^^^]

Кастелян – смотритель крепости, замка в
Средние века.

[^^^]

Робронд (роброн) – старинное дамское платье с кринолином.

[^^^]

Фижмы – старинная женская юбка на китовом усе.

[^^^]

Травник – гербарий.

[^^^]

Так-то вступают инкогнито в Рим!

[^^^]

Вулкан – бог огня и кузнечного ремесла в Древнем Риме; имел очень некрасивую наружность; женой его была богиня красоты Венера.

[^^^]

Карбонарий (ит.) – буквально – «угольщик». Член тайного революционного общества, основанного в Италии в начале XIX в.

[^^^]

Названия распространенных в Лифляндии насекомых и растений.

[^^^]

О боже! – Иуммаль, во времена идолопоклонства латышей, был верховным их божеством.

[^^^]

Письма этого мы не могли отыскать в фамильных бумагах Траутфеттера.

[^^^]

Сози – имя раба в комедии «Амфитрион» римского драматурга Плавта.

[^^^]

123

Доброе утро.

[^^^]

Шелег – неходячая монетка, бляшка.

[^^^]

Цимбалы – многострунный ударный инструмент, на котором играют, ударяя по струнам палочками.

[^^^]

Волунтер (волонтер) – доброволец (фр.).

[^^^]

Ертаульный (ертуальный) воевода – командующий легкими авангардными войсками в Московском государстве.

[^^^]

Кропотов, Полуектов, Лима, М. М. Голицын, Карпов, Мурзенко, Назимов – имена русских офицеров взяты Лажечниковым из Журнала Петра I, сочинений Голикова и других книг, где перечисляются офицеры, отличившиеся в Гуммельсгофском сражении (1702).

[^^^]

Мундшенк – придворный служитель, заведующий напитками (нем.).

[^^^]

Ассессор – заседатель, судебное должностное
лицо (лат.).

[^^^]

Щепотник – то есть молящийся щепотью (тремя сложенными вместе пальцами), а не двухперстно, как раскольники.

[^^^]

Никонианцы – так называли раскольники приверженцев господствующей православной церкви (по имени патриарха Никона).

[^^^]

Бородовая квитанция – право ношения бороды при Петре I оплачивалось специальной пошлиной, на которую выдавалась квитанция.

[^^^]

Фарисеи – в древней Иудее зажиточные слои населения, отличавшиеся ханжеским религиозным благочестием; в переносном смысле лицемеры.

[^^^]

Крин – лилия; сельный крин – полевая лилия.

[^^^]

Весь этот разговор взят почти слово в слово из старообрядческих актов, изданных в свет.

[^^^]

Морельщиками, или филипповцами, назывались члены одной из раскольничьих сект; приверженцы этой секты особенно часто прибегали к самосожжению.

[^^^]

Беспоповщина (беспоповцы) – одно из двух больших течений в расколе, сторонники которого, отвергая священников, посвященных в сан после 1656 г. – времени реформы Никона, – обходились без священнослужителей.

[^^^]

Голиаф – по библейской легенде, великан громадной физической силы.

[^^^]

Мое дорогое дитя! (искаж. нем.)

[^^^]

Прощайте, господин Паткуль! (фр. – нем.)

[^^^]

О да! о да! хорошо! хорошо! (нем.)

[^^^]

Алонжевый парик – длинный парик.

[^^^]

Аполог – притча, басня (греч.).

[^^^]

Урчайки – ручейки.

[^^^]

Колывань – Ревель (ныне – Таллин).

[^^^]

Фараоновы люди – имеется в виду библейское предание, по которому преследовавшие бежавших из Египта евреев войска фараона потонули в море.

[^^^]

Ефимки – русское название немецкой монеты – талера, употреблявшееся до половины XVIII в. Выпущенные графами Шлик в Иоахимстале еще в XII в. талеры назывались иохимами, отсюда и русское название «ефимки».

[^^^]

Носки вниз (нем.).

[^^^]

О горе! (от нем. O, Schmerz)

[^^^]

Терпуг – стальной брусок с насечкой, нечто вроде напильника.

[^^^]

Коральки – коралловые шарики.

[^^^]

Маркитантка – торговка при армии.

[^^^]

Сивиллы – легендарные женщины-пророчицы в Древней Греции и Риме (миф.).

[^^^]

Профос – начальник, должностное лицо.

[^^^]

Мое дитятко (нем.).

[^^^]

Гордон Александр – родом шотландец, полковник, позже генерал русской службы при Петре I (ум. в 1752 г.).

[^^^]

Колет – воинский мундир.

[^^^]

Карафин – графин.

[^^^]

Братина – сосуд для вина и пива.

[^^^]

Рене Анжуйский (1408–1480) – король Неаполя, Сицилии и граф Прованский. Двор короля Рене был средоточием искусства и поэзии своего времени.

[^^^]

Дож – выборный глава республики в Венеции и Генуе.

[^^^]

Исполать – слава (греч.).

[^^^]

Ордер-де-баталія – боевое построение.

[^^^]

Дискурс – разговор, речь (фр.).

[^^^]

Регимент – полк (нем.).

[^^^]

Аллиенция – строй, боевой порядок.

[^^^]

Виктория – победа (лат.).

[^^^]

Консеквенция – последовательность, следствие, результат (лат.).

[^^^]

Сукцес – успех (искаж. фр.).

[^^^]

Конфиденция – доверие, секрет.

[^^^]

Присловие – короткая речь с особым смыслом; вставляемая в разговор пословица, поговорка; худая молва о ком-нибудь или чем-нибудь.

[^^^]

Действительно, это звание существовало в старинной русской армии: так назывались молодые дворяне, впервые поступившие на государственную службу. Однако автор романа придает слову «новик» несколько неточное толкование: оно означало скорее «новобранец», а не «паж», как у Лажечникова.

[^^^]

Стряпчие так назывались потому, что они в церемониях носили за государем стряпню: под этим именем разумели вообще государеву шапку, рукавицы, платок и посох; они же обували, одевали и чесали его. Достоинством равнялись они с нынешними камер-юнкерами.

[^^^]

Хорошенького любимчика? (фр.)

[^^^]

Доведь – шашка, прошедшая в дамки.

[^^^]

Милославские – дворянский род, из которого происходила мать царевны Софьи, Мария Милославская. Князья Хованские. – Подразумеваются князь Иван Андреевич Хованский и его сын, ярые приверженцы царевны Софьи, в 1682 г. были казнены за участие в заговоре.

[^^^]

Василиск – род ящериц, которых суеверные люди считали воплощением нечистой силы.

[^^^]

Мальтийский командорский крест – высший орден мальтийских рыцарей.

[^^^]

Образ этот, писанный на гробовой доске преподобного, взят был из Троицкого монастыря и обносим во всех походах шведской войны. См. Историческое Описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры.

[^^^]

Аттенция – внимание, заботливость (фр.).

[^^^]

Это сокровище (нем.).

[^^^]

Кучер? (нем.)

[^^^]

Действительно, чудо! (нем.)

[^^^]

Ей-богу (нем.).

[^^^]

Бесприкладный – беспримерный.

[^^^]

Шафиров Петр Павлович (1669–1739) – известный дипломат петровского времени, в 1717–1722 гг. – вице-президент коллегии иностранных дел.

[^^^]

Боур Родион Христианович (1667–1717) – сподвижник Петра, кавалерийский генерал, служивший в молодости в шведском войске и перешедший на сторону русских в сражении под Нарвой в 1700 г.

[^^^]

С позволения сказать (нем.).

[^^^]

Озеро Пейпус – Чудское озеро.

[^^^]

Прециозный – лишенный простоты, вычурный, манерный (фр.).

[^^^]

Это буквальный перевод латышской песни. Лиго – все равно что наша Ладо. Слово это часто употребляется латышами в песнях их, особенно в тех, которые они поют на Иванов день.

[^^^]

Толмач – переводчик, посредник при разговоре.

[^^^]

Язык означал в тогдaшнее время человека, который мог доставить сведения о состоянии неприятельского войска, о местах, им занимаемых, и тому подобном; это был род шпиона. Известно, по преданию, что впоследствии времени, именно в царствование Анны Иоанновны, преступники были называемы языками, когда им следовало указать на участников их преступлений или оговаривать кого в этом участии. Для таковой цели язык был водим по городу, и на кого он указывал, тот забираем был под стражу. Обыкновенно при вести, что он идет, запирались лавки и народ, стараясь укрыться от встречи с ужасным оговорителем и крича: «Языка, Языка ведут!» — бежал опрометью, кто куда попал.

[^^^]

Побудок – утренняя военная зоря, возвещаема трубама или барабанным боем.

[^^^]

Кравчий – придворный чин прислуживающего за царским столом.

[^^^]

Пандора – в греческой мифологии первая женщина, сотворенная богами и открывшая из любопытства сосуд, в котором Зевс заключил людские пороки. Иносказательно: «Пандорин сосуд» –местилище несчастий, бед.

[^^^]

Так звали проводников.

[^^^]

Нептун – бог морей в Древнем Риме.

[^^^]

Диана – богиня луны и охоты в Древнем Риме (то же, что Артемида в Греции).

[^^^]

Флора – богиня юности, цветов и удовольствия у римлян.

[^^^]

Шлафрок – домашний халат.

[^^^]

Рунтом (рундом) – кругом.

[^^^]

Солон – знаменитый афинский мудрец, законодатель и поэт.

[^^^]

Ландрат – заседатель, присутствующий в коллегиях Эстляндии и Лифляндии, охраняющих права и имущество дворян.

[^^^]

Вельзевул – дьявол, сатана.

[^^^]

Геба – богиня юности (греч. миф.).

[^^^]

Венгржино – венгерское вино.

[^^^]

Старшина в деревне у латышей называется по-нашему старостою, у чухонцев (или эстов) – кубиасом.

[^^^]

Эвст (Эвикшта) – река в Латвии, правый приток Западной Двины.

[^^^]

Помона – римская богиня плодов.

[^^^]

Действительно, я имею подобный перевод.
В списке с него не убавил и не прибавил я
иоты.

[^^^]

Тезоименитый – имеющий то же имя, тетка.

[^^^]

Лестовки – раскольничьи четки.

[^^^]

В правилах раскольников сказано: «Растящих власы и носящих малахаи (начетверо разрезанные шапки) и шляпы запрещать и в моление не пущать».

[^^^]

Подручники – род подушек, которые кладут раскольники во время земных поклонов на пол, под руки.

[^^^]

Каптырь – род капюшона в монашеской одежде раскольников.

[^^^]

Хотя монах говорил с Никласзоном по-немецки, но я старался в переводе Авраамовой речи удержать его выговор русского языка. – Авраам также лицо историческое.

[^^^]

Лайма – богиня счастья, которую латыши нередко и теперь поминают при желании кому добра.

[^^^]

Имеется в виду осуждение на казнь римским консулом Брутом Луцием Юнием (ум. в 509 г. до н. э.) собственных сыновей за участие в заговоре.

[^^^]

Курций Марк (ум. в 362 г. до н. э.) – римский юноша, который, по преданию, бросился в пропасть для спасения родного города.

[^^^]

Перигорский пирог – лакомое французское кушанье.

[^^^]

Леда – греческая царевна, которой овладел Зевс, приняв образ лебедя. Леда снесла яйцо, из него вышла на свет прекрасная Елена. Выражение: «с яиц Леды» («ab ovo») означает – с самого начала.

[^^^]

Язон – греческий герой, возглавивший поход аргонавтов (по имени корабля «Арго») за золотым руном (миф.).

[^^^]

Псалом XXXVI.

[^^^]

Берлина – четырехместная закрытая коляска.

[^^^]

Вперед! вперед! (от нем. Vorwärts)

[^^^]

Церера – в Риме богиня плодородия и земледелия; то же, что Деметра в Греции (миф.).

[^^^]

Под статью (фр.).

[^^^]

230

Солитер – крупный бриллиант (фр.).

[^^^]

Гофрат – надворный советник; вообще – почетный титул.

[^^^]

Глаголи – буквы.

[^^^]

Парнас – гора в Греции, на которой обитали покровитель искусства бог Аполлон и девять сестер – муз (миф.).

[^^^]

Геликон – гора в Древней Греции, считавшаяся обителищем муз – покровительниц искусств (миф.).

[^^^]

Адмет – царь в Древней Греции, у которого Аполлон за совершенное им преступление был присужден богами пасти стада (греч. миф.).

[^^^]

«Энеида» – прославленная поэма римского поэта Вергилия (70–19 до н. э.).

[^^^]

Капитолий – холм в Риме, на котором расположены дворцы, музеи; в древности крепость, где помещались храмы Юпитеру, Юноне и Минерве.

[^^^]

Хиосский слепец – древнегреческий поэт Гомер, легендарный автор «Илиады» и «Одиссеи».

[^^^]

Зоил – оратор, философ, литературный критик родом из Фракии, живший в IV в. до н. э. Имя Зоила стало впоследствии нарицательным, как имя завистливого, мелочного и язвительного критика.

[^^^]

Бизун (польск.) – плеть, кнут.

[^^^]

Антиной – юноша, отличавшийся редкой красотой, любимец императора Адриана (ум. в 130 г.).

[^^^]

Ребятуски! (нем.)

[^^^]

Граф Л-д – Густав Рейнгольд Иоганн Левенвольде, лифляндский дворянин, фаворит Екатерины I, получивший от нее титул графа, звание камергера.

[^^^]

Пеликан – птица из семейства веслоногих. По легенде, разрывает себе грудь, чтобы накормить птенцов своей кровью.

[^^^]

Итак (лат.).

[^^^]

Ахиллес – герой Троянской войны.

[^^^]

Шлиппенбах иронически сопоставляет Глика со знаменитым древнеримским писателем и государственным деятелем, блестящим оратором Плинием Младшим (ок. 62 – ок. 114).

[^^^]

Томазиус Христиан (Томазий) (1655–1728) – немецкий философ и юрист.

[^^^]

В четверть бумажного листа (лат.).

[^^^]

Фемида – богиня права и законного порядка; как символ беспристрастия изображалась с повязкой на глазах (греч. миф.).

[^^^]

Ариаднина нить – клубок ниток, который дала греческому герою Тесею Ариадна, дочь царя Миноса, для того, чтобы он мог выбраться из лабиринта (греч. миф.).

[^^^]